

Сергей Заплавный



ТОМСК ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

Сергей Заплавный

ТОМСК ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

Томск 2017

ББК
УДК

Всего за 57 лет (1582–1639) казаки-первопроходцы передвинули границы Московского государства от Уральских гор до берегов Тихого океана. Это была великая эпопея вхождения сибирских земель и народов в состав России. Строительство и становление Томска стали одной из ярких страниц этой эпопеи.

Документально-художественное повествование Сергея Заплавного «Томск изначальный» позволяет увидеть то время в реальных лицах и красках. Его дополняет вторая часть – томские сказания, литературно реконструированные автором.

Третий раздел книги объединил жанры двух первых – историческое повествование и народные сказания, быль и небыль, романый охват событий и фольклорную конструкцию. Такую форму подсказал автору большой русский писатель-сибиряк Валентин Распутин. Его памяти и посвящена эта часть «Томска изначального».

Специальная фотосъемка Игоря Крамаренко.

Рисунки Анатолия Заплавного.

Часть первая

ГОРОД НА РЕКЕ ЧИСТОВОДНОЙ

НА ОСТРИЕ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Семнадцатый век начался для России природным бедствием. Все лето 1601 года не переставая лили дожди. Затем грянули преждевременные морозы. Страна осталась без нового хлеба, без семян. В следующем году, как значится в «Русском хронографе», из-за сильных холодов вновь «не добыши люди хлеба». Это породило лютую спекуляцию старыми запасами. В 1603 году большинство полей остались незасеянными. Начался повальный голод, эпидемии, бунты. Россия, которая, по свидетельству современников, в первые годы царствования «выборного государя» Бориса Годунова (1598–1600) «цвела всеми благами», вдруг превратилась в «гнездо раздоров».

Давняя болезнь, преклонный возраст, ставшее неожиданно тяжким бремя власти подточили силы Годунова. Восемнадцать лет правил он страной — сначала именем блаженного шурина Федора Иоанновича, затем своим. Немало «достохвальных дел» успел он «управить» за эти годы — патриаршество на Москве учредил, превратив ее в Третий Рим, шведов под Нарвой разгромил, вернул России Ивангород и Копорье, одолел крымского хана Казы-Гирея, перемирие с Речью Посполитой на двадцать лет заключил, ближнюю Сибирь накрепко обустроил, торговлю и книгопечатание заметно расширил, столицу водопроводом и другими техническими новшествами «удивил», многие славные города-крепости поставил и среди них Воронеж, Ливны, Елец, Белгород, Оскол, Курск, а в Сибири — Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Тару, Обдорск, Салехард, Нарым, Мангазей, Кетск... Но разве в погибельную пору хорошее помнится? Его обычно прошлые обиды и текущие напасти затмевают.

Так случилось и на этот раз. Откачнулся народ от «злосчастного» царя, не сумевшего остановить свалившиеся на Россию несчастья, с каждым годом все громче и громче роптать на него стал. Вновь пошли гулять по стране слухи, будто царевич Дмитрий, сын Иоанна Грозного, вовсе не погиб в Угличе ребенком, а чудом

уцелел от ножа злоумышленников, подосланных Годуновым. Где ныне царевич, под каким именем скрывается, никому не ведомо. Оно и к лучшему: меньше знаешь, целее будешь. Важно другое — непоколебимо верить, что он жив, что в нужный час объявится и сгонит с престола Рюриковичей «худородного Бориску», даст всем спокойствие и благоденствие.

Ждали. Верили. И не напрасно: царевич и правда объявился. Его загадочная история рисовалась так: сначала он прятался от ищек Годунова у добрых людей, потом в монастырях, куда его взяли «для бедности и сиротства», а когда его наконец выследили, вынужден был бежать в польско-литовские земли. Там его законные права готовы признать не только вольные казаки, Литва и Корона Польская, но и весь честной люд, которому Годунов давно «испротивел». Даст бог, царевич над Годуновым верх возьмет. Вот тогда и воспрянет народ телом и духом.

Весть о появлении «восставшего из мертвых» царевича Дмитрия оглушила Годунова, вызвала гнев и ужас. Больше всего на свете он любил сына-подростка, ненаглядного Федора, ему надеялся передать царский скипетр. И вдруг на тебе — какой-то самозванец выскочил как черт из преисподней и покушается не только на власть самого Годунова, но и на будущее сына. Если вовремя не остановить его, много бед может наделать. Ох, много! Россия, как сухой хворост, от малейшей искры вспыхнуть готова. Что, если это и есть та искра?

Справившись с первым потрясением, Годунов велел доложить ему все, что удалось узнать о личности самозванца. Слушал жадно, стараясь не упустить ни одной мелочи.

Картина в общих чертах рисовалась такая: имя царевича Дмитрия «положил на себя» некто Юшка (то есть Юрий) Отрепьев. Предки его выехали на Русь из Литвы и осели в Галиче и Угличе. Отец, стрелецкий сотник, зарезан по пьяной драке в Немецкой слободе на Кукуе. Рано оставшись без отца, Юшка «домашним образом» постиг грамоту, и притом весьма успешно. Благодаря родственным связям попал на службу сначала к Михаилу Романову, затем к Борису Черкасскому, а это наипервейшие супротивники Годунова. Спят и во сне видят на троне одного из бояр «царского корени». В конце 1600 года вместе с другими заговорщиками Романов и Черкасский были схвачены. Их «ближних» слуг тоже

похватали. Измучив пытками, предали опале. Но Юшке Отрепьеву удалось скрыться. Тогда-то и надел он монашеский куколь, стал смиренным чернецом Григорием. Верные люди помогли попасть ему в наипервейший на Руси кремлевский Чудов монастырь. Ну а дальше Отрепьев своими талантами выдвинулся. Быстроумен, на язык боек, каллиграфическое письмо в совершенстве освоил. За то и взяли его на патриарший двор — книги переписывать, каноны святым слагать. Видя такое «досужество», патриарх Иов на «сидения» боярской думы стал его «имать», так что о кремлевской жизни самозванец не понаслышке знает. Такой и за царевича вполне сойти может. Не зря же поляки и литва за него уцепились. Им только повод дай в великорусские пределы залезть, все, что плохо лежит, к рукам прибрать. Они и козла воющего ради своей выгоды серафимом признают...

Так вот, всего за несколько лет вызрела, пошла вширь и вглубь первая русская смута. Разлад между народом и правителями дошел до крайности. Низы жаждали доброго царя, а значит, справедливости. Верхи никак не могли поделить власть, корыстовались, местничали, то есть считались чинами и титулами, а не умом и способностями. А голод между тем опустошал города и селения, ожесточал нравы, рушил былые скрепы в народе. Дошло до того, что люди перестали слышать друг друга, понимать, что происходит, отдались на волю сокрушающих порядок и нравы стихий.

ПОСЛАННИК РУССКОГО ЦАРЯ

Драматично развивались события и на просторах Сибири. В то время как народы Нижнего и Среднего Приобья приняли российское подданство, стали частью Московского государства, южное Зауралье продолжало страдать от раздробленности и межнациональных усобиц. Сюда за легкой добычей приходили бухарцы, кыргызы, черные и белые калмыки и другие степняки-кочевники. Они забирали скот, пушнину, невольников, обкладывали мирные малочисленные племена непосильной данью. Вместо того чтобы объединиться в противостоянии набегчикам, «лучшие люди» сибирских племен множили личную вражду. Большинство из них слепила та же алчность и жажда власти, что поразила и российскую знать. Лишь немногие были готовы во имя общих интересов поступиться личными.

Одним из таких людей был бикмурза (иначе говоря, большой князь) татарского племени эушта Тоян. Его охотничьи угодья и рыбные ловли находились в низовьях реки Тоом (в русском звучании Томь, Тома). По соседству располагались владения его ближних и дальних родичей — Басандая, Еваги, Тигильдея, Енюги и Ашкинея. Но узы их родства давно подточила взаимная неприязнь, желание одних потеснить других. Тоян пробовал образумить соплеменников. «Обидами считаться — единство потеряем, — говорил он. — Даже собаки, завидев волка, забывают о вражде между собой. А мы — люди. Опомнитесь!» Ему возражали: «В один сапог две ноги не затолкаешь. Каждый должен идти своей дорогой».

Тогда-то и пожаловал в Эушту посланник русского царя тобольский послужилец Василий Тырков. Одарив Тояна серебряными ковшами и одеждами, тисненными чепраками с бисером, он вручил ему ярлык «за государственной красною печатью». А говорилось в том ярлыке, что «царь и великий князь Борис Федорович всея Руси» зовет Эушту в подданство и обещает ей «ласку и привет, и великое бережение». Затем Тырков поведал о том, как сорок пять лет назад правитель Сибирского ханства Едигер отправил своих доверенных людей Тягрула и Панчаду к тогдашнему

русскому царю Иоанну Грозному просить, чтобы тот «всю землю Сибирскую взял во свое имя и от сторон ото всех заступил». Почему он это сделал? Да потому, что сын бухарского хана Муртазы Кучум, потомок Чингисхана, замыслил захватить его земли. Так уж получилось, что Кучум-хан опередил Грозного, согласившись взять Едигера «под свою высокую царскую руку». Наскочив на Сибирское ханство хорошо вооруженным бухарско-ногайско-башкирским полчищем, он убил Едигера и его сопровителя Бекбулата, обложил поклонявшихся идолам татар и остяков* непосильной данью, в мусульманскую веру против их воли загал. Но через время справедливость восторжествовала. Набежал из-за Камня (Урала) атаман Ермак с малым казачьим войском, разгромил кучумову ставку на берегу Иртыша да и стал Сибирь к Москве склонять, как Едигер того хотел. Ясак** посулил малый, не то что алман*** Кучум-хана, обхождение справедливое. Потянулись к нему люди, дружить стали, даже родниться дочерьми с атаманом захотели. И пусть погиб на Вагае от коварства Кучум-хана Ермак Тимофеев, не погибло его дело. Годы разбедняют, но они же и соединяют. Не сразу и не вся, но ведь встала Сибирь за спину Москвы, русскими городами да острогами укрепились. Правду сказать, не так велики они пока, далеко друг от друга отстоят, но за линию, которую они образуют, степняки опасаются заступать. Силу чувствуют. Но одной лишь голой силой не удержишься. Ее дружкой постоянно подкреплять следует, взаимной пользой и единомыслием. Умные люди говорят: горы не сойдутся, а народы сходятся. Лучше идти вместе, чем искать дорогу одному...

Тырков говорил просто, но с достоинством. Он не чурался пословиц и иносказаний, которые так любят произносить посланцы могущественных владык, но и не злоупотреблял ими. Его речь отличалась искренним дружелюбием, открытостью и прямоотой. Над его словами хотелось думать.

Вот и стал Тоян расспрашивать тобольского посланца о Московском государстве, о его делах и порядках, о царе Борисе Федо-

ровиче, красной печатью которого скреплен писанный в стольном граде Сибири ярлык.

Тырков охотно отвечал. Его рассказ изобиловал яркими красками, вызывающими невольный трепет и почтительное удивление. Особо впечатляюще обрисовал он «светлодушного, милостивого и нищелюбивого» царя Бориса. По его словам выходило, что Годунов в Сибирь «всю душу вложил». Если челом ему ударить, то и на Томи защитная крепость скоро стоять будет. За спиною Москвы не пропадешь! До первопрестольной, конечно, не ближний свет — сто дней пути, не меньше, но это не беда. Государевы обозы туда круглый год ходят. Выбирай любой. Обозные казаки тебя и сопроводят, и охранят, и обратно вернуться помогут. Было бы желание.

Отбыл восвояси Тырков, и остался Тоян наедине со своими раздумьями. Доводы посланца «сибирской Москвы» (Тобольска) показались ему убедительными. Он и сам давно понял, что Эуште необходим сильный союзник. Но кого послать к русскому царю? Наиболее верные ему старейшины крепки умом и опытом, но ветхи годами — дальнего пути им не выдержать. А у людей помоложе нет умения вести столь ответственные переговоры. Правильней всего ехать самому, но в отсутствие Тояна мурзы-соперники могут перекроить Эушту, а его самого от власти отрешить. Так плохо и так не лучше. Надо еще хорошенько все обдумать. Когда спешить, ноги за полы кафтана цепляются.

Три года думал Тоян. И лишь на четвертый принял окончательное решение. Оставив вместо себя сына-наследника Таная, он отправился сначала в Тобольск, затем с попутным обозом, везущим «ясачную казну», в Москву. Откуда ему было знать, что там уже полыхнула опустошительная Смута и царь Борис, которого так искренно превозносил Василий Тырков, теряет остатки своего могущества? Старики говорят: не прислоняйся к юрте, которая готова упасть. Так-то оно так, но как быть, если Тоян уже прислонился?

«Не о чем жалеть, — тут же успокоил себя он. — Моя юрта тоже вот-вот повалится. Если падать, так падать вместе. Не зря говорится: спустив стрелу, не пробуй повернуть ее назад — в себя попадешь. Кто одолел половину горы, должен одолеть и гору».

* От слова «ас-ях», что значит «обские люди»; к ним относились кеты, ханты, селькупы.

** Подушная подать, которая взималась только с трудоспособных мужчин; по сегодняшним меркам — налог.

*** Дань.

Каждый день пути Тоян отмечал зарубкой на передке своей кибитки. Где по тайге путь обоза шел, он вырезал елку, через степь — цветок, где сходились темный лес и луга — стрелу, где тайга поднималась на Каменный пояс, а затем спускалась с него — ежа, а светлый лес отмечал изображением листа березы. Никогда не покидал Тоян своего городка дальше, чем на пятнадцать зарубок, а на этот раз уже в шесть раз больше сделал, но конца-края пути все еще не видно. Не вмещает душа таких просторов, одиноко ей в них, тревожно, но и сладостно вместе с тем, ново. Владеть столькими землями может только обладатель великого царства. Как он встретит Тояна, допустит ли к себе? Судя по всему, много у него сейчас бед и врагов. Но это и понятно: чем больше властелин, тем больше сил приходится отдавать ему для удержания власти...

Но как бы долог ни был выбранный по подсказке судьбы путь, рано или поздно он кончается. Окончился и этот.

ЧЕЛОБИТИЕ

Москва поразила Тояна своим великолепием. Обилие золотых глав уйдок, называемых здесь церквями, бесконечность белых и красных крепостных стен, широта дорог, разнообразие проездных башен, защитные рвы и подъемные мосты, чередой зеленых, лазурных и даже серебряных крыш, единство камня и резного дерева... Но среди этого великолепия не было радости. Люди проходили понуро, точно опасаясь друг друга. Их было немного. Зато много стражников и ворон.

В покоях Казанского и Мещерского дворца Тояна ждала обильная еда, баня в широкой кадке и мягкое ложе. После дальней дороги оно показалось теплым облаком на втором небе. Тоян погрузился в него, радуясь тому, что достиг Москвы, пусть даже такой хмурой и непонятной.

Утром к нему пожаловал большой кремлевский дьяк Нечай Федоров с толмачом (переводчиком). Приложил руку к груди:

— Приветствую тебя, добротимый Тоян. Пусть высоким будет для тебя небо! Здоровы ли кони и души моих друзей?

— Благодарю тебя, высокопочтенный Нечай, — с достоинством ответил Тоян. — Дорога кончилась. Мы здоровы. Ты встретил нас у порога, как подобает хорошему хозяину. Мы рады тебе. Пусть и над тобой небо будет высоким!

Расспросив Тояна о дороге, о его беседах с тобольским воеводою Андреем Голицыным и письменным головою Василием Тырковым, Нечай Федоров подтвердил обещанную ими готовность Москвы во всем благоволить и споспешествовать Эуште. Более того, дьяк сообщил, что государь о прибытии Тояна знает и готов принять его, как только высокие дела ему это позволят. А когда это случится, будет сказано особо.

Тоян — человек терпения и выдержки. Он приготовился ждать столько, сколько потребуется. Но Борис Годунов, удрученный свалившимися на него несчастьями, переходом многих бояр и дворян-перевертней под знамена Ажедмитрия Гришки Отрепьева, решил встречу с эуштинским князем не откладывать. Ведь это уже не первый челобитец от коренной Сибири, готовый по своему почину за спину Москвы стать. В прежние годы вот так же

явился к нему просить подданства властитель кодских остяков (хантов) с нижней Оби Ичигей Алачѐв. Но тот в светлое для России время к ней приложился, а Тоян в смутное припожаловал. Значит, и принять его следует по-особому, не мешкая. Лучше всего в Грановитой палате Кремля. Не всякий иноземный гость такой чести удостоивается, только высшие сановники, посланцы королей, цесаревичей и прочих западных владык. Вот и надо показать недругам Годунова, что ныне Москва по-прежнему сильна, ведь присоединиться к ней желают все новые и новые племена и народы с не менее могущественного, чем Запад, Востока.

Чтобы усилить значимость предстоящего челообития, Годунов велел позвать на него не только ближних бояр и думных дьяков, но и послов из других стран и заморских купцов. Пусть видят, что русский царь силен и могуч, что нипочем ему любая смута...

В назначенный час Нечай Федоров доставил Тояна в Большую Грановитую палату и велел ждать.

Осмотрелся Тоян. С высоких выкругленных сводов смотрели на него изображения людей, диковинных птиц, зверей, растений. Заметив изучающий взгляд князя, Нечай Федоров начал объяснять ему, что это история рода человеческого, положенная в красках, и что взята она из святых христианских писаний, а рядом запечатлена история Московского государства в его правителях, начиная от Владимира Великого до сегодняшнего государя Бориса Годунова.

Рассматривая красочное изображение того, с кем ему вот-вот предстоит встретиться, Тоян поневоле оробел: очень уж величав русский царь, благолепен — на голове двурядная, надстроенная одна над другой шапка (Нечай назвал ее шапкой Мономаха), в руках царский скипетр, а сам он облачен в сияющие золотом одеяния. Таков ли он в жизни, как выглядит на этой диковинной для всякого сибирского человека росписи?..

Не успел князь исполниться обычными своими выдержкой и спокойствием, дверь в соседнюю залу распахнулась, и дворцовый глашатай торжественно объявил:

— Томские земли князь Тоян Эушта сын Эрмашетов с поклоном к великому царю всея Руси Борису Федоровичу!

В сопровождении Нечая и своей свиты из соплеменников Тоян вступил в Золотую Грановитую палату. Посреди нее возвышался

слепающий золотом царский трон. Стены и своды за ним украшены изображениями нежной отроковицы, цветущего юноши, зрелого мужа и убеленного сединами старца, а над ними воспарили небесные существа с трубами. Если вдуматься, то эти фигуры символизируют весну, лето, осень, зиму и ветры судеб, меняющие вместе с ними землю и время. Но Тояну не до разгадок символов стало. Он впился взглядом в царскую корону с боевыми часами и двуглавым орлом, парящим над тронном в скрещении рисованных ветров. Нечай Федоров успел рассказать ему, что обозначает эта необычная птица. Единство страны, глядящей одновременно на запад и на восток, — вот что. Она словно соединяла огромную Россию и маленькую Эушту, тревожное настоящее и обнадеживающее будущее.

Тоян перевел взгляд на московского царя. Его лицо дышало силой и уверенностью, но под его внешним благолепием угадывался немалый возраст, усталость и предательское нездоровье.

Преклонившись, Тоян облобызал царские одежды и отступил в сторону, давая место соплеменникам. Они понесли к подножию трона богатые поминки — связки соболей, куниц, горностаев, степных лисиц, лосиные кожи и другие подарки. Казалось, им конца не будет.

Собравшиеся в Золотой Грановитой палате иноземцы и царедворцы оценивающе следили за тем, сколь ценны и многочисленны дары сибирского князя, привезенные в поклон московскому государю. По ним было принято судить, как высок и представительен гость, на какой прием рассчитывает.

Тоян держался с почтительным достоинством. Его поминки, а затем кратко, но мудро изложенная просьба принять Эушту под «высокую царскую руку московского повелителя» произвели на всех благоприятное впечатление.

Отличился красноречием и возбужденный удачно складывающейся церемонией Борис Годунов. В ответ он пообещал Тояну взять его народ в подданство, поставить на Томи город со всеми устройствами, а ясака на городские службы с Эушты не взимать. Более того, всех, кто похочет служить Москве, царь велит верстать в казаки без всяких условий. Остальным воля вольная. Руси не только воины нужны, но и охотники, и рыбаки, и скотоводы, и проводники по сибирским землям. Дающий крепнет

от берущего, а берущий – ответно. И заключил:

– Прими напоследок мое ответное пожалование, князь. Оно достойно тебя и нашего уговора.

И потекли к Тояну дорогие одежды, ткани, серебряные кубки. Годунов знал, что, увидев такое, иноземные купцы и послы поразятся его щедрости. Вот и пусть удивляются. Москва она на то и Москва, чтобы даже в шаткие времена, при голоде и неустойстве, не скупиться.

ЦАРСКАЯ ГРАМОТА

Государевым именем царские грамоты пишутся, да не государями составляются. Для этого у них особые люди есть, такие как второй дьяк Казанского и Мещерского дворца Нечай Федоров (по сегодняшним меркам – замминистра по делам Поволжья, Урала и Сибири) и его подьячие Андрюшка Иванов и Алешка Шапилов.

Город срубить – дело нешуточное. Эвон она где, Тома-река, в дальних таежных местах за Обью. От ближних острогов до нее еще идти и идти, одолевая сотни глухих верст. Помощи от тамошних служилых людей ждать не приходится. В Кетском и Нарымском острогах их и по трех десятков не наберется. Одна надежда на Сургут. Там нынче чуть не двести казаков и стрельцов службу несут, а сверх того гулящих людей, беглых и хожалых собралось немало. Из них полсотни и забрать не грех. Остальных по пути в Сибирь заверстать придется – не гнать же их и необходимые припасы из Москвы. Это и дорого, и надсадно. А случится нехватка в послужильцах, на прочие сибирские крепости их разложить можно, а в Тюмени взять посланные прежде в запас «пищаль скорострельную, а к ней 200 ядер железных да 200 ядер свинцовых, да 10 пуд зелья (так в ту пору назывался порох), 10 пуд свинцу, да 2 человек пушкарей». С миру по нитке – голому рубаха. Да и Онжа Алачёв, нынешний князь кодских остяков (хантыйское княжество в низовьях Оби), младший брат достославного Ичигея Алачёва, наверняка помочь не откажется. Одно плохо, Сургут от Эушты вдвое дальше находится, чем Нарым и Кетск.

Тут-то и пришла составителям царской грамоты спасительная мысль: а что, если именно в Сургуте старое плотбище расширить, построить на нем дощаники для казаков, плоскодонные кочи для грузов, маневренные струги для дозорных людей и походного начальства, а как лед на Оби вскроется, двинуться по ней судовой ратью в земли эушты.

Продумав все до мелочей, усадил Нечай Федоров своих подьячих за писание грамоты. Начиналась она обычным для таких бумаг посылом:

«От царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси в Сибирь, в Сургутский город, Федору Васильевичу Головину да голове Гавриле Писемскому...»

Дальше говорилось: «...Бил нам челом Томские земли князек Тоян чтоб нашему царьскому величеству его Тояна пожаловати, велети ему быти под нашею высокою рукою и велели бы в вотчине его в Томи поставити город. А место де в Томи ужоже и пашенных людей устроить мочно, а ясных де у него людей триста человек».

Немалое место в грамоте заняло описание окрестных земель, которыми владели киргизский князь Номча, арецкий Биней, телеутский Абак, умацкий Четья, кузнецкие Базарак и Дайдуга, мелесский Изсек. Затем следовало указание привести Тояна в Сургуте «к шерти* и, напою, и накормя», отпустить к себе в Томскую волость, а с ним послать «немногих людей для того, чтоб им тех мест, где поставити город, и всяких угодий рассмотреть всякими обычаями и где на городовое дело имати лес, и сколь далеко, и какой лес, и на которой реке, и сколь велика река, и сколько пашенных мест, и какова земля, и что каких угодий, и вперед тут городу стояти мочно ль, и как приводити наши хлебные запасы, и какие люди около Томские волости живут, и сколь далеко. Да как наши служивые люди, проводя его, придут в Сургут, и вы б об том всех тех служивых людей расспрося накрепко, отписали, и роспись подлинную дороге и чертеж прислали к нам, к Москве. И велели отписку и роспись и чертеж отдать в приказе Казанского и Мещерского двора дьяку нашему Нечаю Федоровичю и мы о том о всем велели свой царский указ учинити. Писана на Москве лета 7112-го генваря в 20 день».

Россия в ту пору вела счет годам «от сотворения мира». Этим и объясняется малопонятная ныне дата написания наказной грамоты на поставление Томского города. В конце XVII века, а точнее говоря, в 7208 году, пережив еще 64 голодных года, 19 эпидемий, 15 великих пожаров и церковный раскол, держава Российская по указу Петра I перешла на летоисчисление «от Рождества Хри-

стова». Согласно Библии, Спаситель родился в 5508 году. После вычета этого числа из прежней календарной даты бывшая дата получила иное выражение: 20 января 1604 года по старому стилю (1 февраля – по новому).

Приложил свою руку к наказной грамоте Борис Годунов, и по скакали с ней в Сургут гонцы, не зная ни сна, ни отдыха. Следом Нечай Федоров Тояна и его соплеменников отправил, а с ними отрядец казаков, стрельцов и мастеров строительного дела. Они везли денежную казну, плотницкую снасть, ружья, одежду и другие необходимые припасы.

Обратный путь торопил Тояна. Родная сторона звала его. Не зря говорится: человек лишь у себя на родине человек, цветы лишь на своей поляне цветы.

* Присяга на верность.

КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ

Разрастаясь по пути как снежный ком, отрядец, посланный Нечаем Федоровым, достиг наконец Сургута. Немало новобранцев добавилось к нему в Верхотурье, Туринске и других «югорских» крепостях. Следом стали подходить тюменские, тобольские, березовские казаки, татары и остяки из окрестных становищ. Их распределяли по десяткам, полусотням, сотням и тут же отправляли на обское плотбище – суда для дальнего плавания ладить. А распоряжались всем этим «кипением дел» назначенные воеводами Томской волости Гаврила Писемский и Василий Тырков. Один до этого сургутским письменным головой служил, другой – тобольским.

Узнав, что их с Тырковым дороги вновь сошлись, обрадовался Тоян, но и огорчился вместе с тем. Никак не мог он в толк взять, почему Тырков назначен вторым, а не первым томским воеводой? Разве не он путь в Эушту проложил и помог ей с Москвой сблизиться? Разве письменный голова главного на Сибири города Тобольска не главнее письменного головы Сургута? Разве Тырков не сын боярский, а бояре не самые знатные и родовитые люди России? Вопросы, вопросы, вопросы...

Недоумение Тояна понять можно. То, что он успел узнать о Тыркове и Писемском, говорило в пользу первого. Но узнал он далеко не все. Да и трудно ему было разобраться в хитросплетениях царских назначений. Он-то думал, что сын боярский и сын боярина – одно и то же. Ан нет. Сын боярский – всего лишь чин, а сын боярина – родовитость. Этим прежде всего и разнились томские воеводы.

Тырков выбился наверх из казачьих низов. Службу начинал на Урале. Сначала Лозьминский острожек ставил (1590), потом Пельмскую крепость (1593). Там особо и отличился. Отбивая нападение вогулов (манси), пленил «на бою» Таганая, сына пельмского князя Аблегерима. Его же и отправили с пленником в Москву. Дальний путь сначала примирил, а потом и сблизил недавних противников. Тырков сумел втолковать вогуличу, что Россия не враг уральским народам, а их первейший защит-

ник и союзник, так что лучше с нею дружить, а не ссориться. Те из «лучших людей» прилежащих к России племен и народов, кого она принимает в подданство, сохраняют не только свои титулы, но и новые земли в награду получают. Вот Таганай и решил проверить, так ли это на самом деле. Оказалось, так. В Москве, окрестившись, он титул русского князя и «волоостишку» неподалеку от Верхотурья получил. А Тыркову за храбрость и умение вести дела с инородцами был пожалован чин сына боярского, иными словами, чин боярского слуги, исполняющего особые поручения – военные, посольские, распорядительные. Тут-то и показал Тырков свои способности. Объездив всю «ближнюю Сибирь», научился говорить на языках татар и остяков, в их миропорядок и обычаи вник, за что и получил должность тобольского письменного головы.

У Писемского опыт и заслуги другие. В юные годы он служил при дворе царя Федора Иоанновича жильцом (был и такой чин) и выслужил за это титул выборного дворянина Тульского уезда с окладом в 600 четвертей (по сегодняшним меркам свыше 300 гектаров плодороднейших земель). Это дало ему право писаться не только по имени, но и по отчеству – с «вич» на конце, как и подобает людям высокого звания. В Сибирь он прибыл сразу на должность сургутского казачьего письменного головы, и служить ему было расписано два года. Они пролетели быстро. Дальше Писемского ожидало либо возвращение в родные края, либо перемещение по службе в той же должности, но поближе к Москве, либо повышение. Вот его и повысили.

Повысили и Тыркова, но, учитывая его происхождение, на ступень ниже. Об этом свидетельствуют такие строки из другой царской грамоты в Сибирь: «государь царь и великий князь Борис Федорович всея Руси велел голове Гаврилу Ивановичю Писемскому да Василью Тыркову быть на своей государевой службе вверх по Обе реке на Томе в Томской волости...» Один именуется по имени-отчеству, другой только по имени.

Ни Писемского, ни Тыркова такой расклад не удивил, они оба остались им довольны. Писемский потому, что «в товарищах» с ним на Тому пойдет опытный и авторитетный «голова», а Тырков потому, что не в пример другим знатым «временщикам» Писемский умом и духом крепок, успел к Сибири сердцем

прикипеть, необходимость ее для России почувствовать. При таком соначальнике и вторым человеком походить можно...

Еще Тоян удивился, почему присягать на верность Москве ему определено в Сургуте, а не в главном сибирском городе Тобольске.

Василий Тырков, с которым его сближало давнее знакомство, и объяснил:

— У нас правило: на какой город государь для пользы дела укажет, тот нынче и главный. А он в своей грамоте на Сургут указал. Нынче здесь послужильцы большинства обских крепостей на томское дело собрались да лучших сибирских людей немало. Гордись, князь, что по твоему челобитию все это случилось.

— По моему челобитию, да по твоему совету, — сказал Тоян. — Я рад, что мы теперь вместе, воевода...

Посмотреть, как Тоян будет давать клятву Москве, собрался весь Сургут. А посмотреть было на что. Посреди Троицкой площади выстроились в два ряда казаки. С одной стороны — сургутские, с другой — заверстанные на томское ставление. Меж ними на лобном месте мордой на запад раскинута была шкура матерого медведя. Под звуки барабанов и звон литавр от съезжей избы* к лобному месту прошествовали сургутский воевода Федор Головин со своими людьми, а от гостиного двора — Гаврила Писемский и Василий Тырков со своими. Затем появился Тоян с соплеменниками. По виду он ни стар, ни молод, ни худ, ни дороден, лицо скуластое, обветренное. Полгода в дороге провел, а по нему этого и не скажешь.

Помедлив для порядка, Тоян снял шапку и пал на колени, но так пал, что ни один мускул на его смуглом лице не дрогнул, а прямая спина еще прямее стала.

Из сургутского ряда выступил вперед дюжий казак. В руке у него обнаженная сабля. Навстречу ему из томского ряда шагнул другой казак. Он вздел на конец вскинутой сабли краек свежеспеченного ржаного хлеба, бережно присыпал его солью. И вознеслась та сабля с хлебом над головой Тояна.

Тем временем сургутский дьяк развернул утвержденную для

* Воеводская канцелярия.

таких случаев шертеприводную запись.

— Повторяй за мной, — сверху вниз глянул он на простоволосого Тояна. — Аз, Тоян Эушта сын Эрмашетов...

— Аз, Тоян Эушта сын Эрмашетов... — эхом откликнулся тот.

— ...даю шерть государю своему, царю и великому князю Борису Федоровичу...

Тоян без запинки повторил и эти слова. Дальняя дорога всему научила, без толмача обошелся.

Дальше пошла государева титла. Ее Тояну можно не повторять, но дьяку вычитать надо. Вот он и воодушевился, заликовал голосом, воссиял лицом:

— ...всея Руси самодержцу, Владимирскому, Московскому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханскому, царю Сибирскому...

— Сибирскому... — зашептали казаки, радуясь, что есть и о них упоминание.

Забыли на время, что родом-то они из других пределов. Вымичи, сысоличичи, пермичи, зыряне, талдемская мордва, вотяки, чувашки, устюжане, усольцы, двиняне, вожане, пустоозерцы, каргопольцы, уроженцы московских, литовских и прочих мест...

— ...государю Псковскому и великому князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому...

Собравшиеся слушали чтеца заворуженно, представляя при этом, как велика Русская земля.

— ...государю и великому князю Нова-города, Низовские земли, Черниговскому, Рязанскому, Полоцкому, Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Обдорскому, Кондинскому и иных многих государств государю и обладателю...

Когда царская титла закончилась, сургутский дьяк выразительно глянул на Тояна, давая понять, что дальше снова нужно повторять каждое слово:

— ...по своей бусурманской вере, на том, что быть мне, Тояну Эуште, под его государевой высокой рукой...

Про бусурманскую веру Тоян повторять не стал. Самолюбив очень! Пришлось дьяку проглотить эту вольность.

— ...и ему, великому государю, служить и прямить и добра хотети во всем, и на Томском ставлении быти верным помочником его доверенным воеводам Гавриле Писемскому и Василею Тыркову...

Писемский и Тырков согласно переголянулись.

Клятва была длинной и торжественной. В ней говорилось:

— ...а буде мы, эуштинские люди, и я, Тоян Эушта, не учнем великому государю служить и прямить и во всем добра хотети, то нам бы, за нашу неправду, рыбы в воде, и зверя в поле, и птицы не добыти, и чтоб нам, за нашу неправду, с женами и детьми и со всеми своими людьми помереть голодной смертью; и как по земле пойдем или поедем, и нас бы земля поглотила, а как по воде поедem, и нас бы вода потопила. Шертую на том, на всем, великому государю, как в сей записи писано...

Тут казак протянул Тояну хлеб на кончике сабли. Тоян снял его, откусал и сказал, обращаясь к воеводе Федору Головину:

— А не учну я государю своему и великому князю Борису Федоровичу всея Русию служить, как сказал, и буди на мне огненный меч, и побий меня государевы хлеб и соль, и ссеки мою голову эта вострая сабля.

— Аминь! — заключил воевода Головин.

Его дьяк поднес Тояну запись — рукоприложиться. Тоян с достоинством нарисовал в указанном месте родовое клеймо и, надев меховую шапку, легко поднялся с колен.

— Ну, вот мы и под общей державой, — шагнул к нему Василий Тырков. — В земле наши деды-прадеды лежат, из земли всякое слово слышат. Как скажется, так и откликнется. Верно я говорю, Тоян Эрмашетович?

— Ищешь мира, ищи друзей, — растроганно ответил тот. — Нашел друга, значит, брата нашел.

ЖАЛОВАННОЕ СЛОВО

Судоходство на сибирских реках начиналось в те годы на Николае Вешнего, сразу после ледохода. Ведь святитель и чудотворец Николай считался еще и хранителем на водах, «спутником путешествующих», как говорилось в церковных песнопениях, «и на море сущим правителем». Из этого следует, что «судовая рать» Писемского и Тыркова двинулась вверх по Оби не ранее 9 мая по старому стилю.

Идти пришлось против течения. Обь (по-татарски Умар) и впрямь разлилась, как море. Ее неоглядная ширь, взмученная песками и глинами (в переводе с зырянского обва — снежная вода), даже в солнечную погоду казалась серой пустыней, отливающей свинцом. Тым и другие могучие притоки, вытекающие из болотистых урманов, пронизывали ее темно-коричневыми, чайного цвета струями, и те стремительно растворялись в непроглядных пучинах.

Часто задувал встречный или боковой ветер, то и дело обрушивались на флотилию проливные дожди, и тогда казаки на стругах и плоскодонных дощаниках, а люди Онжи Алачёва на шатких каяках, спустив паруса, брались за весла или шли с бечевой по берегу, сокращая путь по узким протокам.

Для описания этого «судоходного пошествия» более всего подходит старорусский слог — своего рода белые стихи. К ним и обратимся. Ведь Россия — это вечное движение, вечная дорога.

Не стоит на месте сибирский путь.
То водой, то по суху движется.
Ни конца ему и ни края нет,
Ни спокойствия и ни отдыха.

По колени уж ноги оттоптаны
На дорожных ухабах и рытвинах.
Изработаны руки до самых плеч
На обской работе на вёсельной.

Но бывает, ветер плеснет в паруса,
 Но бывает, силы удвоятся.
 И воспрянет душа, полетит, запоет
 Впереди усталых дощаников.

А до места дружине еще плыть и плыть.
 А за ним путь-дорога новая.
 И куда она поведет потом,
 Не узнать, не увидеть заранее.

Не гулять казаки забрались сюда.
 Их держава в Сибирь отправила.
 И велела хранить дорогу дорог,
 И велела крепить дорогу дорог,
 И велела ширить дорогу дорог,
 Чтоб корнями она разрасталась,
 Языками новыми полнилась.
 И упрямо вперед за собой вела
 В Беловодское царство незнаемое.

Пестрый, измотанный небывало трудным походом караван под началом Писемского и Тыркова появился на Томи четыре с лишним недели спустя. Миновав «островное царство» Ашкинея, земли Тигильдея, Енюги и Еваги, суда приблизились к летнему Тоянову городку, а точнее сказать, к череде юрт, поставленных на левом низменном берегу Томи. За юртами начинались зеленые луга, на которых паслись невысокие мохнатые кони эушты. Еще дальше возвышалась обрывистая гряда, густо поросшая высоким желтоствольным сосняком. Лишь Тырков знал, что в этом сосняке укрывается зимний Тоянов городок, укрепленный поставленным на земляном валу частоколом*. Место для томской крепости, которое высмотрел несколько лет назад Тырков, находилось на противоположном берегу Томи. Туда и направил он флотилию.

По опыту Тырков знал, что город лучше всего ставить на вы-

* Район с. Тимирязевского; севернее Дачного городка, где до середины прошлого века находилась татарская деревня Верхняя Эушта.

сокой горе при слиянии двух или нескольких рек. Именно так поставлены Туринский острог, Тюмень, Тобольск и Сургут. Слава богу, в землях эушты недостатка в подобных горах не было. Одна поднималась над двумя речками, возле которых ставили обычно свои походные шатры приходившие за данью с верховий Чулыма и Енисея кыргызы Алтысарского княжества (не случайно эти речки называются Большой и Малой Киргизками), другая – в устье Ушайки (по преданию, здесь жил то ли охотник, то ли мурза Ушай), третья – в устье речки, где находился укрепленный городок мурзы Басандая (отсюда сегодняшнее ее название Басандайка). Тырков выбрал «знатной вышины пригорок» в устье Ушайки. Он был неприступен с трех сторон, к тому же находился во владениях Тояна, а не соперничающих с ним сородичей...

Не только остяки, но и сибирские татары, в том числе томские татары-эуштинцы, издавна обожествляли реки, возле которых жили. Они считали их своими повелительницами, центрами мироздания, дорогами в страну предков. Но ведь праславянское слово «руса» тоже означает «река», а понятие «русь» вполне можно прочесть как «люди рек, речной народ». Тот же корень легко различим в таких словах, как «русский», «Русь», «Русия», «Россия» или, скажем, «русло», «роса»...

Многоликий и многонациональный отряд Писемского и Тыркова включал в себя не только русских, но и запорожцев, поляков, литву (это название распространялось в ту пору и на белорусов), чувашей, мордву, остяков, татар и еще целый ряд народностей России, и все они восприняли зарождающуюся в горах Кузнецкого Алатау реку Тоом – Тому – Томь как родную сестру тех рек, на которых выросли и которые свято хранили в своем сердце. Ее ключевой чистоты горные воды, впадая в замутненную песками, глинами, болотными стоками, протекающую по Западно-Сибирской низменности Обь, казались темными. Отсюда и ее название: «Тоом» значит «темная», а правильное сказать, «прозрачная, чистоводная река». На дне ее сквозь толщу воды видны были то дымчатые аметисты, то желтые цитрины или зеленые порфиры, яшма, похожие на горный хрусталь апатиты и другие драгоценные и полудрагоценные (по сегодняшним меркам) камни. Они пронизывали глубины Томи своим текучим таинственным светом. Можно представить, как поразил этот свет посланцев Мо-

сквы и белогорских остяков.

История не сохранила точной даты, когда на «песках» в устье Ушайки под высоким «крепким холмом» высадились первостроители Томска, но можно с уверенностью сказать, что произошло это с 6 по 10 июня 1604 года.

В царском наказе, который нагнал Писемского и Тыркова перед самым отплытием в земли Тояна Эушты, говорилось:

«...А пришед в Томскую волость, поставить сторожи и караулы для бережения, и велети... Гаврилу и Василью и служивым людям быть в цветном платье, а как к ним томские князья и мурзы и татаровя и всякие люди придут и Гаврилу говорить томским людям... жалованное слово, что царское величество их жаловал, велел в Томской волости для обережения город поставити и велел де их во всем беречи, чтоб им насильства никоторого не было... и братьев и дядей и племянников и друзей отовсюду призывали и волости полнили... а которые будет новые люди учнут прилежать в новый Томский город, ино к тем и новым людям береженье и ласку держати, чтоб их приучить и поити их и кормити, государевы запасы и сукна им давати смотря по их служению...»

Томские воеводы так и сделали.

Однако далеко не все начальные люди «нижнетомских земель» пожелали услышать из их уст «жалованное слово» московского государя, а тем более «стать под его высокую царскую руку». По примеру мурзы Басандая несколько его сторонников уклонились от встречи с «орусами». Басандай внушил им, что лучше платить алман (дань) владыкам восточных степей и гор, похожих на эуштинцев обликом и обычаями, чем попасть под палу «чужих людей» с той стороны, куда заходит солнце.

Однако отсутствие Басандая и его сторонников не помешало Писемскому и Тыркову склонить на свою сторону большинство мужчин и «лучших людей» Эушты.

Бог тронцу любит. В Москве Тоян челом царю Борису ударил, в Сургуте от имени своего народа клятву на верность Русии дал. Пришло время сделать третий, решающий шаг — на пожалование Москвы живым делом ответить. А, по словам томских воевод, дело теперь у всех одно — общими силами крепость на Ушаевом бугре устроить и жить дальше в помощи и согласии. Под началом у Писемского и Тыркова до двух сот казаков и стрельцов да сотня

остяков, что Онжа Алачев в Эушту привел. Если Тоян свою сотню к отряду строителей прибавит, к осени крепость будет стоять крепко и нерушимо.

— Да будет так, — ответил Тоян. — Не соединив пальцев, иголку не ухватишь.

На том и порешили.

ТОМСКОЕ СТАВЛЕНИЕ

Первые укрепления в Сибири рубились острогом, то есть обносились высоким (в три-четыре человеческих роста) частоколом заостренных сверху бревен «на брусняных иглах с отногои и выпуски». Он защищал служилых и промышленных людей с семьями и работниками от нападения немирных племен.

Но шло время. Укрепления стали строиться более надежно и основательно — «стены в клетку с башни, а в клетках прорублены двери, ходить по городу». Иными словами, из прямоугольных срубов (городен) сооружались соединенные наугольными башнями ограждения в один, а то и в два яруса. Это называлось «город городить». Такой вид укрепления как нельзя лучше подходил для военного гарнизона и воеводского начальства.

Затем города стали строиться в одной связке с острогом. Их было принято рубить в четыре, а с острогом — в шесть или восемь углов, реже полукругом. Чтобы вписать такую крепость в выбранную для этого местность, ее углы нередко приходилось скашивать, удлиняя одни стены, укорачивая другие.

Так случилось и с Томским городом (ударение в слове «Томской» делалось на последнем слоге). «Знатной величины пригорок», который приглядел Василий Тырков, оканчивался мысом над Ушай-ре (рекой Ушайкой). Будто споткнувшись о нее, мыс поворачивал на юго-восток и вклинивался в болотистую пойму Ушайки (район, получивший название Болото). На этом неприступном с запада, юга и востока клине и решено было «вскинуть» город. А с севера его закроет «передняя городовая стена», она же «задняя острожная».

Прикинув объем предстоящих работ, Писемский и Тырков засомневались: «На строительство острога этим летом времени может и не хватить. Да и надобности в посадке пока нет. Дай бог, с городом до осени управиться и от киргизов оборониться, ежели они за данью к Тоюну придут. А там видно будет».

Вместе с уставщиками над плотниками Степаном Ложниковым, Денисом Кручинкой и Назаром Заевым воеводы наметили точное местоположение стен, башен, других сооружений «горо-

да-скоростроя». И началась слаженная, прошибающая до седьмого пота «государева работа». Одни в тайгу посланы — «лес ронити легкий, чтоб скорее город зделати». Другие его конными волокушами на «городовое место» затаскивают. Третьи из «мелких и крупных» лесин делают бревна разной длины или вытесывают из них плахи, доски, перекладины. Четвертые канавы для подстенных клетей роют. Пятые эти самые клетки сбивают и, уложив в землю, засыпают глиной, старательно утрамбовывают тяжелыми пестами. Затем — венец к венцу, звено к звену — начинают ставить встык срубы-городни, напоминающие деревенские избы, но без окон и дверей. Для нижних рядов выбирают бревна потолще, посмолистей, так, чтобы углы их сходились то комлем, то вершиной.

И вот уже над крутыми склонами мыса, как по волшебству, вырастают высокие бревенчатые стены с житницами в срубах, с земляными (пороховыми) погребами, амбарами и складами для хранения съестных припасов, казны, военного имущества и прочих надобностей, караульными избами, а над ними возводятся боевые галереи, крытые двускатными кровлями в два теса с зубцами на свесе.

Одновременно сооружаются три дозорные наугольные башни. Они гораздо выше и внушительней городских стен, в сцепке с которыми и образуют крепость. На рамах из толстых бревен в нижних срубах умельцы складывают печи из красной глины, ставят спальные лавки, просекают дымовые и волоковые окна, конопатят стены мхом, чтобы дольше хранили тепло, делают межэтажные перекрытия, наполненные землей. Это жилецкие клетки для служилых людей, десятников и другого казачьего начальства. Во втором ярусе на уровне груди сруб они делают шире, «с выпуском», так, чтобы между верхней и нижней его частью образовалась щель. Это облам для ведения подошвенного боя. В третьем ярусе сооружается «раскат» для пушки или тяжелой пищали. Подняться сюда можно только по внутренним или приставным лестницам. А венчают наугольные башни остроугольные четырехскатные крыши с дозорными беседками.

Однако не с них началось строительство Томского города, а с воротной башни. В нижней ее части казаки-градоделы изладили широкий проезд для возов и конников, в средней (вместо

облама и пушечной площадки) – звонницу с шатровым верхом, а на его шпиле высоко в небо подняли искусно вырезанного из дерева и обитого белым железом двуглавого орла – герб государства Московского. Пусть все видят и помнят, что Русия одновременно на запад и на восток глядит, земли и народы объединяя.

Рядом с воротной башней врублена в переднюю городовую стену съезжая (приказная) изба (в ней разместятся воеводская канцелярия и архив), а возле дозорной башни со стороны Песков (берег Томи у впадения в нее Ушайки) начали расти воеводские хоромы. Крыши их сначала прокладываются слоем бересты, предохраняющей дерево от гнили и сырости, а после украшаются чешуйчатым осиновым лемехом. Любо-дорого посмотреть.

Город рос не по дням, а по часам. Общая длина его стен составила 97 сажен (по сегодняшним меркам 202 метра). Не город, а городок, в котором не очень-то разгуляешься. Зато под острог застолбили более двух десятин (свыше четырех гектаров) – будет где переселенцам развернуться, крепкие корни на новом месте пустить.

Работы всем хватало – и казакам, и остякам из кодского Белогорья, и татарам-эуштинцам, – всякому по его силам и умению.

Одновременно с возведением башен и городских стен артель казаков-чистодеревщиков начала сооружать церковь, как это вменялось воеводам по царскому наказу:

«А поставя город, а по городу наряд и пушечные запасы к казне устроя и караулы в городе поставя крепкие, поставить в городе храм во имя Живоначальныя Троицы да придел страстотерпцы Христовы Бориса и Глеба, а другой – Феодора Стратилата...»

Церкви в Сибири в то время ставили обычно умельцы из Заволочья (так назывался Русский Север, расположенный по берегам Двины, Онеги и других «тамошних рек»). Их сооружения были просты по конструкции, но при этом величавы и «духотподъемны»: высокий подклет с уходящим в небо ребристым шатром, увенчанным небольшой серебристой главой с крестом. Когда позволяло время, церковь рубилась в пять глав, более основательно, да еще и со звонницей.

Как выглядела первая томская церковь, мы не знаем – описания ее не сохранилось. Одно точно: возводилась она в кратчайшие сроки, а значит, в упрощенном варианте, затем не раз достраива-

лась и видоизменялась. Более ста лет окормляла она православных горожан, и главной ее святыней все эти годы была икона Живоначальной Троицы, списанная с доски святорусского иконника Андрея Рублева. Ее прислал в дар «новгороду» Борис Годунов – да будет она покровительницей всем, кто верой и правдой служит отечеству, ширит и охраняет его границы, соединяет пространства и народы!

Восстановить последовательность и логику тех стародавних событий, оживить их воображением, не выходящим, однако, за рамки исторической действительности, помогают нам не только царские указы и грамоты, но и разного рода отписки, челобитные служилых и посадских людей местному и московскому начальству, окладные, верстальные, разборные, переписные книги, послужные списки и прописи, проезжие памяти и другие, бесценные для любого краеведа свидетельства. Более того, они позволяют назвать поименно довольно значительную часть первостроителей Томска, составить представление о том, откуда они родом, чем занимались прежде, какие заслуги имели.

Самые сложные плотницкие работы уставщики над плотниками доверили, конечно же, казакам и стрельцам, которые уже ставили другие сибирские крепости, а потому имели необходимый опыт. Наилучшим образом показали себя в деле уроженец Яренской волости Потаня Маслов, ярославец Ивашка Пеплинский, новгородец Михалка Куркин, крапивинец Ивашка Лаврентьев, вологодцы Семка Лурохонцев и Мишка Астраханцев, уроженец Великих Лук Сенька Аркатьев, выходцы из Москвы и Подмосковья Иевлейка Карбышев, Пашка Истомин, Демка Бурыха, Кирилка Медведчиков, Ивашка Кырнаев, Федька Бардаков, Савка Лудяк, Ивашка Коломин и другие умельцы, строившие Сургут. (Каждое имя в этом ряду – своеобразная характеристика человека и его малой родины, не правда ли?) Тот же Сургут, а после Нарым и Кетск ставил Прошка Вершинин; на строительстве Березова отличались Андрюшка Гутов, Амоска Мангазеин, Илейка Березовский, Стенька Бедрин, а Тобольск рубили Федька Толмачев и Гришка Баташков... Было у кого поучиться новичкам, набранным в Москве, а затем на Урале и в Сибири. Среди них – Митрошка Вяткин, Климушка Костромитин, Андрюшка Губа, Омелька Соломатин, Свиридка и Гаврюшка Спиридоновы, Ивашка Згибнев, Петруня

Кожевников, Степашка Бурундуков, Наумка Петлин, Меркурий Попов, Ивашка Пущин, Якимка Стрелковский, Конон Терсков, Куземка Голещихин, Корпушка Володимирец, Тришка Тузик, Васька и Артюшка Завьяловы – уроженцы Вятки, Костромы, Соли-Камской, Вологды, Мезени, Рязани, Устюга Великого, Галича и других городов державы. Можно без преувеличения сказать, что Томск строила вся Россия, что тогдашние казаки были не только прекрасными воинами и землепроходцами, но и непревзойденными мастерами строительного дела.

Особое место в их ряду занял человек с самой распространенной на Руси фамилией – Гаврила Иванов. Прежде чем попасть на Томское ставление, он, по его словам, «служил... на поле 20 лет у Ермака в станице и с ыными атаманы. И как с Ермаком Сибирь взяли, и Кучума царя с куреня збили, и царство сибирское... взяли» (а случилось это в 1582 году), ставил Тюмень (1586), Тобольск (1587), Пелым (1593), Тару (1594), участвовал в окончательном разгроме Кучум-хана на реке Ирмень (близ сегодняшнего Новосибирска, 1598). С таким вот послужным списком и прибыл на Тому – «городовую крепость» ставить, молодых казаков уму-разуму учить.

Другой яркой фигурой «томского похода» был ближайший помощник Писемского и Тыркова Дружина Юрьев. Восемью годами раньше «за многие выслуги, бои и раны» его произвели в атаманы тюменских конных казаков, а теперь он стал атаманом томской «судовой и градостроительной рати». Имя Дружины Юрьева пользовалось заслуженным уважением, о чем свидетельствуют упоминания о нем во многих деловых бумагах той поры.

А вот еще одна непростая судьба. Уроженец местечка Лебедянь (ныне город в Липецкой области) Алешка Трубачев еще мальчонкой был угнан ногайцами «в туретчину». Оттуда продан невольником в Бухару. Повзрослев, бежал из плена, но неудачно. В Барабинской степи его схватили черные калмыки (западные монголы-ойраты; другое название – джунгары) и вновь продали бухарцам. Второй побег оказался более удачным. Алешка добрался до Ямыш-озера, где местные жители и служилые люди первых сибирских городов добывали соль. Здесь он попал к казакам разъезжей станицы-караула, а затем в царь-град Сибири Тобольск. Там и заверстался в казаки. Из Тобольска его отправили «на городовое поставление в Томы». С тех пор и до конца жизни Трубачев сна-

чала служил, а затем крестьянствовал в ставшем для него родным Притомье.

Это были люди крепкой породы – выносливые, жизнелюбивые, прямодушные, готовые воевать, если придется, но лучше дружиться, как дружился до них с «сибирцами» атаман Ермак и его дружина.

ДЕНЬ ГОРОДА

Томск строился всего три месяца и двадцать дней – срок поистине удивительный. Не следует забывать и того, что на пути к нему лежали горы и болота, реки и таежные урманы – тысячи километров по земле и воде. Что вело сюда томскую дружину? Что одушевляло? Что давало силы преодолевать, казалось бы, непреодолимое? Не только же слепое послушание царю и воеводам, не только щедрое вознаграждение, обещанное за труды на дальней стороне, и уж, конечно, не жажда покорять инородцев. Думается, простые и бесхитростные души большинства первостроителей завораживали бескрайние просторы, вечное движение, походное братство, радость тяжелой, но красивой работы, а еще мечта о заветном Беловодье, где царят согласие и справедливость, иными словами, божья благодать. В ней, в этой благодати, и нуждался русский, а шире сказать, всероссийский человек...

Тяжелый груз лег на плечи Писемского и Тыркова. Город построить – полдела. Вторая половина – общий язык с местными народами найти, «терпением и лаской» их к Москве «прилепить». В государевом наказе «Гаврилу с Васильем» на это сделан особый упор: «С бедных людей, кому ясаков платить не мочно, по сыску имать ясаков не велено, чтоб им нужды не было. И они б, сибирские земли всякие люди, жили в царском жалованье, в покое и тишине без всякого сумления. И промыслы всякими промышляли и государю и пр. служили и прямили... И братьев и дядей и племянников и друзей отовсюду призывали, и волости полнили... Кто из служилых людей, приходя к ним в волости для ясаку, избидели... и воеводы про то не сыскивали и обороны не давали, и сами воеводы какое насильство и продажу чинили, ясак имали не по государеву указу вавое – и государь и пр. пожаловал, велел на тех людей давать суд и от продаж оборону велел им учинить...»

Конечно, все это не более чем благие пожелания. В самой системе назначения воевод и их ближайших помощников был заложен механизм для злоупотреблений. Царского жалования они не получали. Но им разрешалось брать определенный процент с таможенных и судебных сборов, находить другие способы для «прокормления». Вот они их и находили. Поборы с подчиненных,

казнокрадство, притеснение инородцев – наиболее распространенные из них.

У новорожденного города не было еще ни казны, ни суда, ни таможни, да и Томская волость включала пока лишь земли Эушты. Басандай и часть других мурз, сородичей Тояна, не спешили «под царскую высокую руку». Не в их интересах было отдавать то, чем они сами кормились.

С Эушты, как мы помним, Борис Годунов распорядился ясака до его особого указания не брать, но для остальных земель Притомья ясак был все же расписан. Как Писемскому и Тыркову в таком случае поступить?

Вот и отправили они сборщиков ясака на Обь и Чулым к остякам и татарам. Несколько месяцев спустя кетский воевода Постник Бельский обрушился на них за это гневным посланием:

«...И вы, господине, делаете не по государеву указу, что в Чюлым и Киргиссы ясашников посылаете и ясак государев велите имати, а Чюлым и Киргиссы прежде сего ясак давали в Кецкий острог. И в наказе у меня написано: которые волости и горотки прежде давали государев ясак в Кецкий острог, и с тех ясашных людей велено имать в Кецком остроге по старому. И вы поступаете напрасно в мой присуд, и мне о том писать государю. А будем, даст бог, на Москве и увидим царские очи, и мне бить челом на вас о бесчестии...»

Прямо скажем, претензии справедливые. Но для нас эта «отписка» не только ключ к нередкой среди воевод распри. В ней указана дата окончания строительства Томского города. Других письменных свидетельств, увы, не сохранилось. Так что читаемся повнимательней в приветственное слово, которым начинается эта весьма недружелюбная грамота:

«Господину Гавриле Ивановичю да Василью Фомичю Постник Бельский челом бьет. Писали есте ко мне с стрельцом с Сидорком Иевлевым: 112-го году по государя царя и великого князя Бориса Федоровича наказу город в Томской волости зделали со всеми крепостьми сентября в 27 день...» (10 октября по новому стилю).

Три с половиной столетия спустя именно эту дату томиичи стали отмечать как день рождения города. Но в 2000 году депутаты Томской городской думы и мэрия решили, что день основания города – тоже не менее памятное событие. По их мнению, для

массовых мероприятий начало лета больше подходит, нежели холодная осень. Томск заложен 7 июня. Вот пусть этот день и станет для него праздничным.

Еще одно решение городская власть приняла в юбилейном для Томска и области 2014 году. Днем города вновь стал сентябрь-листопадник, правда, со сдвигом в более благоприятные для общественных торжеств дни – 13 и 14 сентября.

Допустим ли такой сдвиг? Давайте подумаем.

В царском наказе сказано:

«А как в Томской волости город поставят и совсем укрепят, и ясячных людей под государеву руку приведут, и заклады поемлют – и им (Гаврилу с Васильем) тобольских и тюменских и березовских служилых людей и юртовских татар и остяков отпустить из нового Томского города по домам по росписи, чтоб им в новом городе не зазимовать, а с собою оставив в новом городе всяких людей по росписи их».

В общих чертах город был построен к середине сентября. Казалось бы, самое время казаков из других крепостей и кодских остяков по местам их службы и жительства разослать, а с ними сибирским воеводам, в том числе Постнику Бельскому, весть о поставлении Томского города отправить. Так было принято – постоянно сноситься с соседями по текущим делам, последние новости с ними обсуждать, а то и затяжные тяжбы друг с другом вести. Для этого у каждого под рукой было сразу несколько посыльных, таких, как, к примеру, томский стрелец Сидорка Иевлев, упомянутый в отписке кетского воеводы. Круглый год, в жару и стужу, ясную погоду и ненастье мерили они таежные версты с грамотами, отписками и прочими спешными бумагами начальных людей. А тут – на тебе! – редкая возможность отправить все, что накопилось, рекой, попутно, всем получателям сразу. Не беда, что в Томской крепости еще многое не доделано. Об этом в грамотах сибирским воеводам, а больше того в приказ Казанского и Мещерского дворца Нечаю Федорову писать не следует. Ведь он не к кому-нибудь, а к самому «государю царю» с полученной вестью поспешит. Следовательно, весть эта непременно радостной должна быть, полновесной. А недоделки и после устранить можно. Посторонние люди в «томском углу» нескоро появятся, стало быть, опасаться «чужого догляда» не приходится.

Но Писемский и Тырков решили обустройство крепости на потом не откладывать. Силами расписанных на томскую службу казаков и стрельцов сделать это они не надеялись. Другое дело – всем отрядом, прибывшим на Томь в начале июня. За лето он сдружился, приобрел опыт слаженной работы, проникся чувством ее значимости, желанием довести начатое дело до конца. Вот и решили воеводы задержать «тобольских и тюменских и березовских служилых людей и юртовских татар и остяков» во главе с тюменским атаманом Дружиной Юрьевым до тех пор, когда судоходство на сибирских реках заканчивается. Пусть потрудятся, покажут свою силу и выносливость! По заслугам и проводы будут. Не зря говорится: «Вполплеча работа тяжела: оба подставишь – легче справишь».

В отписке Постника Бельского сказано, что город в Томской волости сделан «со всеми крепостями», то есть с острогом. А ведь поначалу у воевод не было уверенности, что они успеют его вместе с городом поставить. Значит, успели! Случилось это «сентября в 27 день». Но и дни 13–14 сентября не противоречат историческим обстоятельствам. Напротив, помогают лучше понять их, зримо представить, как все было в действительности...

«Последней водой» выступила из Томска «судовая рать» Дружины Юрьева. Проводить ее пришли не только казаки «томской службы», но и многие эуштинцы. Интересно им было поглядеть и послушать, что скажут те, кто умеет говорить, помолчать с теми, кто умеет молчать, или сделать прощальный подарок тем, к кому за время совместной работы успели привязаться душой. Многим еще не раз предстояло встретиться на бескрайних сибирских просторах, по-братски разделить радости и печали, потери и обретения.

Красноречив русский человек в минуты расставаний, порывист, чистосердечен. Именно такими видятся мне томские воеводы, оказавшиеся в центре внимания. Потеряв вдруг всякую начальственность, они растворяются в толпе отплывающих, становятся ее частью.

Иное дело Тоян Эрмашетов и Онжа Алачëв. Они сдержанны, немногословны, неразговорчивы. Один желает отплывающим белой дороги (счастливого пути), а остающимся высокого чистого неба. Другой его речь умело подхватывает:

«Медный гусь нас в родные места зовет. Пора песню отплытия слушать».

И тотчас рядом с ним появляется арэхта-ку (человек-песня). Так принято у его народа: сопровождать важное событие песней.

Вот слова одной из них:

«Откочуем к родному очагу, но часть себя здесь оставим. Пусть полюбуется новым стойбищем на большой темной реке дочь солнца Челынды нэ. Пусть стрелой несутся по течению наши каюки, похожие на чюнд и четыр – речных коней и жеребят. Нас ждет много забот в земле прародителей. Поспешим туда, как спешат дети в жилище, где их ждут родные»...

Так и слышится, как, отчаливая от высокого берега на Песках, в ответ обским людям казаки на разные голоса, «с причитаниями» заводят старинную народную песню, добавляя в нее свои слова и чувства:

Из-под ели река текла, ели-ели-ю!
Подошла она под крутую гору, ели-ели-ю!
На восходе красна солнышка, ели-ели-ю!
На зачине зари утренней, ели-ели-ю!

Под башни-то под дозорные, ели-ели-ю!
Под крепость нерушимую, ели-ели-ю!
Под город новоставленный,
По весне его еще не было, ели-ели-ю!

А теперь стоит, улыбается, ели-ели-ю!
Ты прости-прощай, красна горушка!
Ты прости-прощай, служба здешняя,
Наострили мы веслы ходкие,
На все стороны поклонились.

Говорит тут один на прощание:
«Ты докуль будешь плавать, ели-ели-ю!
Докуль дороги будешь топтать?»
«Я дотуль буду плавать, ели-ели-ю!

Дотуль дороги топтать,
Покуль всю Сибирь не изведаю.
Покуль из-под ели река течет,
Покуль мне поется: ели-ели-ю!..»

Вот и все. Одна служба кончилась, началась другая.

ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ

Разноплеменное население Западной Сибири не превышало в то время двухсот тысяч человек. Это треть населения нынешнего Томска, далеко не самого крупного на такой огромной территории. От поселения до поселения, или, как принято было говорить, от дыма до дыма, иной раз приходилось добираться не днями, а неделями. Численность «сибирцев», проживающих в юртах, стойбищах, городках, улусах, определялась обычно количеством работоспособных мужчин-добытчиков. Оно и понятно: их жены, дети, престарелые родители трудились на семью и поэтому подушными податями не облагались. А счет велся именно этим податям.

Как следует из царской грамоты, под началом у Тояна было «триста человек». Следовательно, вместе с семьями — не более полутора тысяч. Даже если к этому числу прибавить всех без исключения людей Басандая, Еваги, Тигильдея, Енюги и Ашкинея, нижнее Притомье того времени трудно будет назвать многонаселенным. Правильнее сравнить его с песчинкой, затерявшейся на обочине огромной дороги, которая шла через мирные и «немирные земли». Зимой эту дорогу покрывали «снеги великие», весной и осенью «зыбели и ржавцы», поэтому енисейские киргизы из Алтысарского или Езерского улусов являлись в Эушту за алмазом в летнюю пору, когда тепло, сухо и земля щедро плодоносит.

На этот раз, узнав, что оруссы по челобитию Тояна строят на Ушаевом бугре «двойную крепость», верховный предводитель енисейских киргизов Немек велел своим ближним князьям Номче и Коре не мешать им в этом. Ссориться с Москвой из-за какой-то Эушты неразумно, рассудил он. У киргизов и без нее недругов хватало. Прежде всего черные калмыки (джунгары) контайши Хара-Хулы (другое написание Кара-Кула). Кто знает, может, скоро с оруссами против них придется объединиться. А то, что с Эушты нынче не взято, пусть алтысарцы с кизылов, басагаров, ачинцев, аргунов, шустов, камларов и других чулымских кыштымов (данников) доберут.

Все лето Писемский и Тырков ждали баранты (набега), но его не последовало. Это означало, что енисейские киргизы выжидают.

Переговоры с ними вести можно. И не только с ними, но и с белыми калмыками (телеутами) зайсана Абака, кочующими в междуречье Иртыша и Оби. У них тот же, что и у енисейских киргизов, главный соперник — джунгары.

В переводе с монгольского джунгар — это левое крыло войска. Во времена Чингисхана в него ставили самых сильных и бесстрашных воинов. Отсюда и пошло название ханств тербен-ойратов — джунгарские. Позже джунгары получили прозвище черные калмыки (колмаки).

Телеуты гораздо миролюбивее их. От джунгар они отличались не только характером, но и внешностью. Отсюда и пошло — белые калмыки (колмаки).

Взвесив все за и против, Писемский и Тырков направили в Большой Улус к Абаку посольский отрядец во главе со служилым литвином Иваном Поступинским и конным казаком Баженой Костянтиновым. Положение у Абака было незавидное — с одной стороны Хара-Хула его теснит, с другой — Казахская орда, а между ними «мунгальцы» Алтын-хана норовят свою часть зависимых племен у Абака отхватить. Самое время ему за спину Москвы стать. Да и в царском наказе ясно сказано: «...И в дальние землицы и волости, и в Чаты, и в киргизы, и в орды, и в телеуты, и к кузнецам к князькам и мурзам, и к ясачным людям посылать служилых людей — литву и стрельцов и казаков добрых и просужих (опытных), а с ними толмачей с государевым жалованьем...»

Послы вернулись с известием, что людей у Абака пять тысяч человек, что дружить с Москвой он готов, а в Томской город обещал прибыть весной следующего года. Судя по всему, человек он осторожный, уклончивый, но при этом очень разумный и влиятельный. Мурза татар Тарлава — его зять, внук бывшего правителя Сибири Кучум-хана Аблайгирим — его дальний родич. Через посредничество Абака можно «прилучить» к Москве орчакского князя Кексежа, барабинского Когутея, калмыцкого Узения и других окрестных предводителей.

Ободренные первым успехом, Писемский и Тырков тотчас отправили послов в Чаты и Тудуманы (земли обских и барабинских татар, входящие ныне в Новосибирскую область).

Тогда же томские казаки вспахали и засеяли за Ушайкой «для опыту» первое хлебное поле, а выходцы из поморья и других

«рыбных мест» стали ловить «для общего прокорма» на удивление вкусную и тучную рыбу.

Еще зимой служилые люди заготовили впрок и перевезли к Ушайке десятка два кип (штабелей) строевого леса, а как потеплело, начали сооружать из него плотину с подъемным мостом и мельницу. Работа затянулась до конца лета. Да и как ей не затянуться, если казаков-плотников теперь в крепости раз-два и обчелся? Пока одни мельницу и плотину делают, другим поручено в девяти верстах от города малый монастырский острожек с церковью Пресвятой Богородицы (Казанской Божией Матери) срубить. Тут одному за троих успевать пришлось. Зато сразу видно: искусная работа, боголюбивая.

Поскольку задняя бугровая башня Томского города поставлена была над тем местом, где плотина с мельницей перекрывает Ушайку, ее стали называть Мельничной, а монастырский острожек — Усть-Киргизским Богородицким монастырем. Ведь поставлен он близ устья речки, возле которой енисейские киргизы разбивали свой стан, приходя на Томь за алманом.

Забегая вперед, следует сказать, что несколько лет спустя церковь Пресвятой Богородицы, срубленную на берегу Томи и Большой Киргизки, смыло половодьем. Ее пришлось ставить заново, но теперь подальше от своенравной воды. В 1658 году случилась новая беда — пожар. Монастырь выгорел дотла. И тогда старец Ефрем и схимонах Исайя заложили на Юрточной горе близ Мельничного пруда монастырь во имя Алексея человека Божия (1663). Туда и перебрались старцы с Усть-Киргизки...

Но это случится позже. А пока жизнь в Томском городе шла своим чередом — в строительных, посольских, караульных и других заботах. Каждый день был расписан от зари до зари. Каждое дело исполнялось добросовестно, без понуканий и уверток. Тут-то и аукнулся томским воеводам ясак, который они прошлым годом в «присуде» кетского воеводы Постника Бельского на Томской город «не по государеву указу» взяли.

Летом 7113 (1605) года посыльный доставил в Томской город новое послание кетского воеводы. Из него следовало, что двойной ясак, который взяли сначала томские, а следом кетские сборщики, вызвал возмущение остяцкой знати. Жена одного из князей донесла Бельскому, что он с другими такими же «мужиками»

задумал «как бы им кецких людей побивати... и Бог помиловал, что тех лутчих людей вскоре похватали... И князец Могуля сказал: присылали де к нам зимою Томской князец Басанда да киргисский князец Номзи Чюлымского князца Лагу... и велели де нам над Кецким острогом промышляти всяким промыслом, огнем зажигати... А у Томских, и у Киргисских, и у Обских и у всех земель, которые государев ясак платят в Томской город, умышление над Томским городом и над государевыми служилыми людьми, и хотят приходить к Томскому городу в деловую пору, как люди разойдутся на пашни и на рыбную ловлю... а тех людей по пашням и на рыбной ловле побивати, и куда которых служивых пошлют и их побивать... и нам де грозили: не возьмете де вы Кецкого острогу, и мы возьмем Томский город, да вас всех побьем, да и Кецкий острог возьмем... И женки приходя сказывают, что есть над Томском городом умышление... И тебе, господине, по государеву указу жить бережно, а про то проведывать накрепко про их умышление и шатость».

В этом послании обращает на себя внимание несколько взаимосвязанных моментов. Прежде всего, зачинщиками «шатости и умышления» против служилых людей Кетского острога и Томского города стали не «худые люди» (то есть остяки-добытчики), а «лучшие» (князья и их родичи, те, что кормятся чужими трудами). Среди них — томский князь Басанда, в котором без труда угадывается давний недруг Тояна и орусов мурза Басандай. Еще одно знакомое имя — Номзи. Это тот самый князь Номча, которого тайша енисейских киргизов Немек предостерег от набега на строившийся в землях Эушты город. Было и еще одно написание его имени — Нёчи, что значит «рыбешка». Как и в России, вражду, междоусобицы, войны в Сибири затевали алчные верхи, а страдали низы.

Жестоко расправился с заговорщиками бунта среди кетских остяков Постник Бельский. Десять самых знатных князей он велел бить кнутами.

Известие об этом разошлось далеко по округе, а затем вошло в исторические хроники. Томские воеводы в них не упоминаются. Значит, действовали они более сдержанно и осмотрительно. Значит, извлекали урок из прежних ошибок.

ВРЕМЯ САМОЗВАНЦЕВ

Тем временем ширилась, растекалась по Московскому государству опустошительная Смута. Всего через две недели после того памятного дня, с которого начинается история Томска, она вспыхнула с новой силой. 13 октября трехтысячное войско лжецаревича Гришки Отрепьева переступило рубежи русской державы. Состояло оно из польских и литовских жолнеров (солдат), гайдуков, панцирной шляхты, немецких и венгерских наемников, запорожских и реестровых (привилегированных польским правительством) казаков. К ним примкнули крестьяне, разоренные панями Польской и Литовской Руси, беглые холопы и (по словам летописцев того времени) «чернь, вертопрахи и висельники». Все это разноликое «полчище» сходу вломилось в столицу древних Ольговичей пограничный город Моравск. А Монастырский острог, находившийся поодаль, сам распахнул перед ним ворота.

И разнеслась по городам Северщины оглушительная весть: «Подымается наше красно солнышко, ворочается к нам Димитрий Иванович! Станем возле его стремени! За правду Бог и добрые люди, а без нее не житье, а вытье».

Хлебом-солью встретили Лжедмитрия в Чернигове, зато под Новгородом-Северским он потерпел сокрушительное поражение. Хотел было повернуть назад, но тут новый подарок: ключевой город всей северской украины (окраины) торговый Путивль признал Гришку Отрепьева царевичем Дмитрием. Сидя в Путивле, Самозванец стал слать издевательские «писули» Борису Годунову, называя его «старикашкой», сравнивая с бедной курицей, которая перед ястребом своих птенцов крыльями покрывает.

«А ты орла двуглавого, что на печати царской выбит, своим малодушием позоришь», — дразнил он престарелого монарха. — Чем Россию под мой гнев подставлять, выехал бы ты ко мне на поединок и сразился в честном бою».

Вскоре на сторону Лжедмитрия перешли Воронеж, Елец, Белгород, Оскол, Валуйки, Царев-Борисов, Северский Донец и другие степные города. Тут он себя и вовсе божьим избранником почувствовал.

«Народ темен, — радовался Самозванец. — Только скажи ему про справедливого государя да про всякие вольности, он сам готов себя захомутать, пустым обещаниям довериться. А верхи продажны. Помани их западными порядками и заморскими пряниками, вмиг перевернутся, на чужой лад служить будут. Ну а коли так, к Москве идти надо, на царство, пока судьба ко мне благосклонна, ставиться».

И он двинулся к Москве, собирая вокруг себя обиженных и обездоленных.

13 апреля 1605 года от Рождества Христова, ровно через пять месяцев после вступления Лжедмитрия на Русскую землю, скоропостижно скончался Борис Годунов. Невзгоды последних лет окончательно подточили его и без того уже изношенные силы. Не сумел он превозмочь «злосчастную судьбу». Чуть не треть государства Московского в эти годы под могильные кресты легла. Одних голод и злоупотребления хлебных перекупщиков замутили, другие в схватках с властью или иноземными наемниками пали, третьи в распутстве и разбоях сгинули. Тут и крепкое сердце надорвется.

Смерть Годунова ускорила торжество Лжедмитрия. В начале июня под праздничный перезвон колоколов он въехал в Кремль, чтобы потом одиннадцать месяцев «по воле народа» править обезлюдевшей Россией.

До Томского города эта весть дошла не раньше второй половины сентября 1605 года. Нет сомнения, что она вызвала здесь разноречивые толки, а возможно, и серьезные разногласия.

Но служба шла прежним чередом. Ведь Москва далеко. Там всякого люда видимо-невидимо. Каждый своей выгодой живет, на прочие веси и города свысока глядит. Что ей Сибирь? Лишь бы исправно присылала пушнину, белую и желтую рыбу, целебные коренья и прочие таяжные богатства да службу в дальних крепостях как положено несла. Остальное не ее забота. Кого надо, того Москва в цари и поставит. Для этого бояре и прочие досужие люди есть. Им видней, что и как должно быть...

По известиям, которые приходили из разных мест, нетрудно было понять, что в первопрестольной началась большая чистка. Сторонники покойного царя Бориса оказались в опале. На их место пришли новые люди со своими порядками. Для них плохо

всё, что и как делалось прежде. Главное для них – служить не государству, а себе самим, ни с какими запретами и призывами к справедливости не считаясь. Это тоже самозванцы, но более мелкого калибра – хваткие, двоедушные, без чести и совести.

Именно такие люди – Матвей Ржевский и Семен Бартенёв в мае 1606 года сменили первых томских воевод Писемского и Тыркова. Сохранилась челобитная (жалоба) казаков и стрельцов на их вопиющую, идущую вразрез с наказами Бориса Годунова вседозволенность. Вот небольшой отрывок из нее:

«Как ехали Матвей и Семен в Томской город Обью рекою с усть Иртыша, и едучи по Оби реке ясашных людей пытками пытали, и поминки (подарки) с них великие имали, и их грабили, лисицы, и собаки, и рыбу, и жир, чем они сыты бывают, имали насильством, и от того де в ясашных людях стала измена великая, и те в Томской город не приходят... А служивым де людям царское денежное и хлебное жалованье и оклады давали в кабалу... рублей по 10 и 20. Да в Томской город приходила из Киргиз Номчина жена бити челом государю царю, чтоб им киргисским людям быть под царской высокой рукой; и Матвей де и Семен с Номчины жены сняли грабежом шубу соболью, и за ту де шубу киргисский князец Номча воевал государевых ясашных людей Чюлымских волостей... Да от Матвеева ж де и от Семенова насильства и изгону побежали ис Томского города казаков 12 человек... Да в Томской же город приходил ис Черных колмаков лутчай князец Цызян бити челом государю чтоб им быть под царской высокою рукою и челом государю два коня добрых ударил, и Матвей де и Семен те кони взяли себе и послали к Руси по своим поместьям с своими людьми полем, мимо Томского города...»

Как говорится, новая метла чище, чем старая, метет.

Но не только об этом свидетельствует жалоба томских казаков и стрельцов. Она подтверждает, что Писемский и Тырков, не в пример Постнику Бельскому, отнеслись к кетским заговорщикам и впрямь сдержанно и осмотрительно. Одного из наиболее активных его участников, князя Алтысарского улуса Номчу, они сумели через посредников убедить в необходимости союза с Москвой. Более того, условились, опять же через посредников, о встрече. Однако, узнав, что томские воеводы сменились, осторожный Номча сам в Томской город не поехал, а послал вместо

себя жену. Тут-то и показали себя Ржевский с Бартенёвым. Одним махом они разрушили связи, которые их предшественники терпеливо и постепенно выстраивали не только с енисейскими киргизами и черными калмыками, но и с другими сибирскими народами.

Такое было время: одни строили, другие ломали; одни служили верой и правдой, другие позорили имя истинных сынов отечества.

Во всех православных храмах страны, в том числе в церкви во имя Живоначальной Троицы, покровительницы Томска, творилась тогда общая для «изболевшегося народа» молитва:

«Да устоит Русия от совращения и обмана, и расточатся самозванцы, сеющие смуту, и да бежит от лица ее ненавидящие ее, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут бесы от лица любящих Бога и родимую землю».

КОЛМАЦКИЙ ТОРГ

Гаврила Писемский вернулся в Москву летом 1606 года, уже после того, как Ажедмитрий Гришка Отрепьев был убит, раздет и брошен в грязь посреди главной торговой площади, названной впоследствии Красной, а царем стал Василий Шуйский. Присягнув на верность «законному государю», Писемский получил чин столичного дворянина и отправился воеводствовать в Алатырь на Волгу. Там он собирал ополчение и деньги для борьбы со вторым Ажедмитрием Богдашкой Шкловским, более известным как Тушинский вор, а затем и с третьим — Матюшкой Веревкиным.

Тогда же получил царское пожалование Онжа Алачёв. За то, что «в прошлом во 112-м году (7112) был он в Томском городе з Гаврилом с Писемским, а с ним было котских остяков 100 человек, город ставили и городовое дело делали», Онже дарованы были волостишки Васпуколок и Кулпуколок на нижней Оби «со всеми угоды и с ясаком». Больше того, после смерти старшего брата Ичигея к нему перешла власть над Кодским княжеством и «по их вере палыш болван (идол), чем он (Ичигей) княжил и Котскими остяки владел».

Остался в Сибири и Василий Тырков. В 1606 году он вернулся в Тобольск. Здесь его ждало новое назначение. Большой сибирский воевода Роман Троекуров отправил Тыркова «воевать» сына Кучум-хана Алея и его братьев Каная, Азима и Кубей-Мурата, разорявших крестьян и служилых людей Прииртышья и ближнего Приобья.

Из-за смены томских воевод не сдержал свое обещание прибыть по весне «к царскому пожалованию» не только киргизский князь Номча, но и зайсан (верховный предводитель) приобских телеутов Абак. Очень уж разбойно повели себя Ржевский и Бартенёв со своими подданными — вместо того чтобы найти с ними общий язык, «в ропоты вогнали». Можно представить, как они себя с другими сибирскими народами поведут. Лучше держаться от таких управителей подальше.

Лишь два года спустя, уже при следующих томских воеводах Василии Волынском и Михаиле Новосильцеве отношения с белыми калмыками вновь стали налаживаться. На этот раз в Боль-

шой улус на реке Мерети отправился посольский отрядец во главе с казаком Ивашкой Коломной. В товарищах с ним пошли Васька Мелентьев, Ивашка Петлин и эуштинский князь Тоян Эрмашетов.

Время было выбрано удачное. Войско джунгар Хара-Хулы увязло в столкновениях с Казахской ордой и латниками Алтын-хана монгольского. Не до выяснения отношений с телеутами им теперь. Вот и стали томские посланцы звать Абака в Томской город, чтобы там о союзе с Москвой договориться.

«Лучше всего ехать сразу, — убеждали они, — не откладывая. У нас так принято: долго рассуждай, да скоро делай!»

Но Абак заопасался, как бы его в Томском городе в заклад (под стражу) не взяли. Так правители многих народов делают, чтобы «измором» добиться того, к чему по согласию не смогли прийти.

Положение спас князь Тоян. Он согласился остаться у телеутов аманатом (заложником) до тех пор, пока Абак с сопровождающими его мурзами и другими «лучшими людьми» не вернется в Большой улус.

В марте 1609 года Абак прибыл в Томск и присягу на верность Москве дал. В свою очередь томские воеводы обязались оберегать его от «мунгальского Алтын-хана и Казахской орды», разрешили кочевать «блиско Томского города», «устроить за рекой колмацкий торг», а «ясаку за то не давать» (то есть торговать без пошлин). Вот как описал это событие томский дьяк:

«Обак приехал, с ним мурзы и лутчие люди челом ударили и поминки дали соболей да лисица красная. И воеводы ему сказали милостивое слово... Царсково жалованья дали Обаку князю: однорядку (долгополый кафтан без ворота), да рубашку золотую, да колпак, да сапоги, а мурзам по однорядке настрафильной и людем ево по однорядке рословской. Без ясака почали часто з базаром и лошадьми и с коровами приходить в Томской город, и лошадьми, и коровами служивые люди наполнились в Томском городе... Черные колмаки з белыми колмаками кочуют многие заодно... Обак и мурзы подкочевали со всем улусом за день до Томского города. Велели Обаку черных колмаков призывать. Черные колмаки воюютца с Алтынцарем и потому мало приходят».

Так на томской земле появились коровы алтайской породы.

Вскоре после «шерти» Абака на дальние пастбища Эушты напали воинственные кужегеты. Табуны коней и отары овец захва-

тили они, но далеко отогнать не успели. На пути их стал со своими воинами один из боевых князей Абака Изенбей. Пришлось кужегетам, бросив добычу, убратся восвояси. За такое «братство» томские воеводы наградили Изенбея однорядкой «из добрых сукон» и не менее «добрым» кафтаном.

Не раз потом казаки, эуштинцы и телеуты сообща будут сдерживать натиск енисейских киргизов и джунгар, а порой и сами в наступление переходить. Однако не раз и неприятелями станут. То воеводы своих обещаний не выполнят, чем оттолкнут от себя Абака. То Абак начнет лавировать, более выгодных союзников себе искать. Ему предстоит править «Телеутской землицей» еще двадцать пять лет, а потом столько же его сыну Коке. И все эти годы по «колмацкому торгу» на левом берегу Томи можно будет судить, в каких отношениях находятся горожане с телеутами. Если он ломится от людей и скота — дружат, если пуст — враждуют...

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАМИЛИИ

Разбирая архив Сибирского приказа за вторую половину XVII века, новосибирский ученый Б.П. Полевой буквально споткнулся об «историческую фамилию» — Василий Тырков.

«А что, если податель этой челобитной родственник одного из первых томских воевод? — обожгло его радостное предчувствие открытия. — Очень уж фамилия редкая. Такие совпадения нечасто встречаются».

Он не ошибся. В руки ему попал действительно интереснейший документ. Внук Василия Фомича Тыркова, тобольский «недоросль» (то есть молодой человек, не достигший 21 года) нижайше просил царя Алексея Михайловича зачислить его на военную службу, а поскольку своих заслуг у него пока не было, не преминул перечислить заслуги деда. Получилась краткая, но весьма насыщенная событиями биография, дополняющая новыми сведениями то, что было известно о Тыркове-старшем прежде.

«...в прошлых, государь, годех служил дед мой Василий Тырков... в Тобольску и в иных сибирских городах тридцать восемь лет всяки службы в детях боярских и многих иноземцев в Сибири Пелымскую и Кондинскую землю под вашу государеву высокую руку дед мой привел и за ту службу пожалован вашею государевою милостью и жалованьем, велено ему в Тобольске служить из четверти. Да в прошлых же, государь, годех окольников и воевода Семен Сабуров* посылал деда моего ис Тобольска в Томь через Тару ко князям и к мурзам с вашим государским жалованьем с милостивым словом и с ковши и с платьем и з грамотами за вашею государскою печатью. Да в прошлом же во 111 году послан был дед мой с служивыми людьми ставить вновь Томской город и дед мой Василий Тырков Томской город поставил и которые были немирные земли, Томь и Тулуманы и Кузнецы и Мелесцы и тех под высокую государеву руку привел и ясак с них взял. Да и в прошлом

* Восьмой тобольский воевода; прибыл в Сибирь в 1599 году, умер в 1600; тогда и побывал впервые на Томи «посланник русского государя» Василий Тырков.

же, государь, во 114 году воевода князь Роман Троекуров посылал деда ж маево Василия Тыркова из Тобольска на вашу службу со служилыми людьми в степь на царя Алея, сына Кучумова, воевать и дед мой с служилыми людьми тово царя Алея на степи погромил совсем, имал его сестры и племянников в полон взял...»

По какой-то причине Тырков-младший не упомянул два важных периода в жизни деда. В 1609 году Василий Фомич был послан в Пермские земли, чтобы убыстрить сбор денег для войска князя Михаила Скопина-Шуйского, наголову разгромившего полчище второго Лжедмитрия (Тушинского вора). А в 1612 году собрал он сибирскую дружину в помощь Нижегородскому ополчению Кузмы Минина и Дмитрия Пожарского и вместе с ней участвовал в освобождении Москвы от польско-литовского нашествия. Зато в челобитии внука содержался факт, не известный прежде историкам:

«Да в прошлом же, государь, в 121-м году посылан был дед мой на вашу государеву службу ис Тобольска в Томской город на воеводское Михайлово место Новосильцево и в Томском городе служил дед мой на воеводстве два годы и многих киргизских воинских людей, которые приходили под Томск побил и город отстоял».

Другими словами, в 1613 году Василий Фомич Тырков вновь стал томским воеводой. К тому времени город наполовину выгорел. Его подожгли бежавшие от «лихоимств» Василия Волинского и Михаила Новосильцева казаки. Время «самозванщины» довело город до «последнего упадка». Вот и пришлось Тыркову не латать, а перестраивать заново крепостные стены и башни разваливавшейся на глазах крепости, оборонять город от енисейских киргизов, а потом искать с ними и других «отложившимися» от Москвы племенами замирения и дружбы.

Первое крупное нападение киргизов на Томской город пришлось на июль 1614 года. Теперь мы знаем, что томскими воеводами тогда были Василий Тырков и атаман Иван Пущин. Это подтверждает и такая сводка приказа Казанского и Мещерского дворца:

«Да в прошлом же во 122-м году писали к нам ис Томского города Василей Тырков и Иван Пущин... июля в 10 ден приходили под Томской город киргиские и мелесские люди войною безвестно и под городом в огородах и у служилых людей и у пашенных

крестьян жон и детей их побили... на том бою убили наших служилых людей двенадцать человек, а иных изранили, и у пашенных крестьян ярыжных побили, их хлеб весь вытоптали и лошади и животину всякую отогнали... а схвачены кому казакам носы и уши резали».

Казалось бы, на такую жестокость казаки должны были ответить не меньшей жестокостью, но документы тех лет говорят о другом. Русские служилые люди стойко оборонялись, а нападая, старались обезоружить и захватить в плен противника, прежде всего князей, их сородичей и «лутчих улусных мужиков», с которых можно было требовать ясак или «окуп» за все племя сразу. Убивали они только тогда, когда это спасало их собственную жизнь и жизнь товарищей, а над пленными «не злобствовали».

Не затерялось имя Василия Тыркова в сибирской истории и после того, как он заново отстроил Томской город. В 1620 году он расследовал злоупотребления кетского воеводы Чеботая Челичева и отстранил его от должности. В 1624-м сделал первую перепись населения Тарского уезда и составил подробнейшее описание самой Тары для «дозорной книги». Умер Василий Фомич Тырков в 1625 году в Тобольске. Его дом стоял на 2-й Устюжской улице, возле которой протекала речка с красноречивым названием Тырковка.

Исторической стала и фамилия Гаврилы Писемского. При царе Михаиле Романове он служил вторым воеводой в Невеле, затем размежевывал русские и польско-литовские земли. В Томске его именем названа одна из улиц.

А имена многих казаков, строивших Томск и другие сибирские крепости, сохранились в названиях поселений, основанных ими. Отслужив «долгие службы» на царя, они получали в награду «землицы для пашни», обзаводились хозяйством и пускали в сибирской земле крепкие корни. Вот лишь небольшой перечень таких поселений: Карбышево, Вершинино, Губино, Кожевниково, Гутово, Сгибнево, Астраханцево, Костантиново, Баташково, Соломатово, Аркатьево, Поломошное, Коломино, Трубачево, Батурино, Дорохово, Попадейкино, Молчаново, Сеченово, Лучаново, Нелюбино, Десятово, Заварзино, Кривошеино, Лаврово.

В одном ряду с ними стоят поселения, сохраняющие память о коренных насельниках Притомья, — Эушта, Тигильдеево, Шу-

лояково, Кормушаково... Мало кто догадывается ныне, что Нестояново озеро раньше звучало как КнезТояново (так оно записано в первых русских документах), а Нестоянка — это КнезТоянова речка. Кратчайший путь от Томска до Киреевска на Оби старжили и сегодня именуют Танаевой дорогой, а ведь это имя сына-наследника Тояна — Таная. В Томске же о «младенческих годах» города повествуют названия таких улиц, как Эуштинская, Тояновская, Татарская, Басандайская, Большая Каштачная, Томская, Селькупская, пять Усть-Киргизок, Юрточный переулок, Каштак (каш — кочевать, кыш — зима, тау — горы; отсюда — зимний выпас для скота на возвышенности), Конная площадь и другие.

Эхо истории объединяет время, людей разных судеб и национальностей, события, которых мы изменить не можем. Но нам дано понять их, осмыслить и продолжить, сохраняя лучшее.

ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ

Население Томского города год от года увеличивалось. Казаки и стрельцы заводили семьи и переселялись в острог, ставили там избы, вскапывали возле них небольшие огороды. За отсутствием невест «российского корня» жили с женщинами из местных племен.

Государеву пашню заложили на Елани (район улиц Советской и Герцена). Поначалу распахивали ее своими, весьма небольшими силами. Потом им в помощь прислали крестьян из Тарского острога, а в 1608 году и позже — более пятидесяти ссыльных. Пополнили отряд томских земледельцев и новокрещены из числа коренных жителей среднего Приобья. На это указывают такие строки царского наказа:

«А которые будет тотарова и остяки пашню пашут, и с тех бы татар и остяков ясаку имать не велети, а велети с них имать хлебом. И служилым людям говорить, чтобы они себе для своей нужи пашню пахали, сколько кому мочно, а на семена рожь и овес и ячмень послано».

Много строительных, оборонительных, хозяйственных и других забот легло на плечи Томска, самого восточного в ту пору города Московского государства. Он стал тем рубежом, по одну сторону которого заканчивалась «первая», уже «знаемая» Сибирь, по другую начиналась Сибирь «вторая». Ее еще предстояло узнать, а узнав, объединить «под высокою царской рукой» раздираемые распрями и междоусобицами сибирские княжества. Как это сделать быстрее и разумней, пусть думают сибирские воеводы. Они там рядом, значит, им видней.

В 1616 году из разных мест в Томской город поступили сведения о том, что монгольский Алтын-хан Кункачей, теснимый джунгарами, готов стать за спину Москвы. Вот и решили Гаврила Хрипунов и Иван Секерин, сменившие на воеводстве Тыркова и Пущина, отправить в ставку Алтын-хана казачьего атамана Василия Тюменца, а с ним десятника Ивашку Петрова, конного казака Ваську Ананьева и толмача Лучку Васильева. Люди они бывалые — и посольское дело наилучшим образом сделают, и новые земли заодно проводят.

«Киргизская де земляца кочевая, — поведали они по возвращении в Томск, — живут в ызбах полстяных, а ходят в шубах и в зипунах, а едят рыбу и зверь бьют, а бой у них лучной. Лошадей и коров и овец много, хлеба не сеют, и не родитца... А сен де на скот не готовят... к зиме сен ставить на лошади и на рогатый скот негде».

У сакм (дорог) их встречали серые каменные бабы (кур-туяк-таш) с губами, блестевшими от жира и крови. Это местные племена, поклонявшиеся горам, рекам, солнцу и камням, зверям и птицам, угощали своих идолов после удачной охоты. Прежде чем положить к подножию кур-туяк-таш свои дары — куски мяса, съедобные коренья, красивые речные камни, прежде чем воткнуть подле прутики с разноцветными лоскутьями (приношение одеждой), кочевники трижды объезжали идолов на лошадях. А потому каменные истуканы будто неглубокими кольцами-тропинками обведены. Это их нимб, их охранная линия...

Проезжая через земли «понизовых киргизов», видели томичи, как возятся в пыли, среди лошадей и верблюдов ребятишки, тешатся трещотками, свистульками, стреляют по птицам из малых луков и пращей, играют в меховые, глиняные или деревянные куклы, в хазых (бабки), пляшут под чатхан (громоздкий музыкальный инструмент со струнами из бараньих кишок). Завидев путников с незнакомым обликом, они смолкали, сбивались в ватаги, издавая уран (боевой клич), и даже метали стрелы с грозами (вызов на поединок).

Издали полюбовались томские казаки киргизской све (временная крепость), воздвигнутой на высоком холме из толстого плетняка. Что и говорить, умеют алтысарцы с Белого Июса не только нападать, но и обороняться.

По-разному встречали отряд Тюменца и западные монголы — иные «с невежеством, с криком и шумом», иные с уважением и почестями. Эти угощали гостей вином из кобыльего и коровьего молока (без хмеля), мясом и сладкими кореньями, старались завести добрые отношения, провожали до следующих улусов.

Изматывая, опасен был путь отряда. Не раз ему пришлось отбиваться от кочевников, переходить через бушующие реки, подниматься в горы и спускаться в скупо украшенные цветами долины. Добравшись до реки Кангери, посланцы Томского горо-

да двинулись вперед по каменной щели и через три дня вышли наконец к «синеглазому» озеру Убса-Нур (территория Тувы).

Переговоры с Кункачеем завершились успешно. Алтын-хан дал клятву на верность Москве, просил прислать к нему мастеров, которые бы научили его людей делать пищали и порох, а чтобы джунгары Хара-Хулы не мешали их сношениям, предлагал стать против них общей силой.

В челобитной царю Михаилу Романову Василий Тюменец изложил все это по-военному кратко: «И я, холоп твой с послами у Алтын царя был, и про Китайское государство, и про желтово, и про Одрия, и про Змея царя проведал. И я холоп твой тебе государю служил, и Алтыновых послов к тебе государю в Томской город привели».

Тому же Василию Тюменцу поручено было сопроводить монгольских послов в Москву. Пусть они сами расскажут там о своей «землице» и других восточных странах, прежде всего о Китае.

Из Москвы в то время Китайское государство виделось небольшим и небогатым. Но туда настойчиво рвались англичане, и не кружным путем, а непременно Обью-рекой. Посол Великобритании Джон Мерик просил основать вольную торговлю по Оби с Китаем и Индией, о которых, по его словам, ему ничего толком не было известно. Обещал за это большие пошлины и особые отношения в делах государственных. Это и насторожило Москву. Англичане ничего без выгоды для себя не делают. Да и подзапутались они в объяснениях. Зачем им налаживать торговлю с народами, о которых они «не сведомы», да еще и обещать наперед за это большие пошлины? Проще самим разведать, что за страна Китай, и свои отношения с ней наладить. Чай, не вывелись на Русь казаки-землепроходцы...

Два года спустя, возвращаясь из Москвы, послы Алтын-хана монгольского вновь побывали в Томске. Дальше на восток вместе с ними отправился томский посольский отряд под началом «государева послужильца» Ивашки Петлина. Ему предстояло «провеждать» Китай, установить с ним дружеские связи.

Много интересных сведений собрали во время своего «хождения» Ивашка Петлин «с товарищи» Пятунькой Кизыловым, Андриюшкой Мундовым и другими томскими казаками:

«И пришли оне в Китайское государство... зделана стена ка-

менная в вышину сажен с 15. И шли оне подле той стены с приходу 10 ден, а подле стены сидят села и деревни Манчики-царицы. И в те 10 ден, идучи, на стенах никою не видали. И приехали в ворота, а в воротах стоят пищали велики, и ядров в них з голову человечесью, и людей в воротах много, с 3000 человек. А приезжают к воротам торговать с товары Алтыновы люди, да приезжают к тем же воротам с лошадьми и торгуют с китайскими людьми, а за стену с Алтыновых людей пуцают немного.

И всего шли от Томи до ворот, опричь простойных дней, 12 недель. И от ворот шли... до дальнего до Китайского города 10 ден. И пришли в Китайский город после Семена дни*. И поставили их на большом на посольском дворе. И были оне в Китае 4 дни. И приезжал к ним на двор дьяк, а с ним по 200 человек на ишеках, а люди нарядны. И их подчивал раманеєю и всякими заморскими питьями. И говорили: прислал де к вам царь Тайбун, а велел вас спросить, для чего есте в Китайское государство пришли? И они де ему сказали, что великий государь царь и великий князь Михайло Федорович всея Руси прислал их в Китайское государство проведать и царя видеть. И он им сказал, что царя видеть без поминков нельзя, и дал им грамоту...

Вот что говорилось в этой грамоте:

«...И Валии Китайский царь говорил им, русским людям: с торгом приходите и торгуйте; и выходите и опять приходите. На сем свете ты великий государь, и я царь не мал, чтобы между нами дорога чиста была, с верху и с низу ездите и что доброе самое привезете и я против того камками добрыми пожалую вас. И ныне вы назад поедите, и коли опять сюда приедите, и как от великого государя люди будут, и мне бы от него велети государев лист привезли, и против того листа и я лист буду посылать... А мне к вам великий государь своих послов послать нельзя, что путь дальний, и языка не знают».

Так была открыта торговля между двумя сильными государствами.

Однако следует упомянуть и о том, что с «шаром», или «дамбагу» (табаком), служилые, пашенные и посадские люди первых сибирских крепостей познакомились гораздо раньше. Его «задорого» можно было купить на татарских, киргизских и калмыцких торгах, у заезжих бухарцев, выменять у местного населения или вырастить самому. К тому времени, когда посольский отряд «тарханбакши» Ивана Петлина (так уважительно называли его монголы и китайцы) вернулся в Томск, в Тобольске, Мангазее, Березове курение табака было запрещено. Очень уж много бед и злоупотреблений было связано с ним. (Пятнадцать лет спустя царь Михаил Федорович распространит этот запрет на всю Россию. Виновные будут караться конфискацией имущества, телесными наказаниями, а то и смертной казнью.)

Что касается англичан, то известие о «хождении» томских казаков в Китай вскоре было включено в описание наиболее важных путешествий, составленное и изданное в Лондоне известным хронологом Самуэлем Перчезом.

Но вернемся в 1618 год. Его начало отмечено еще одним знаменательным событием. Во второй половине февраля в устье реки Кондомы, впадающей в Томь, сошлись конные казаки томского сына боярского Евстафия Харламова, казачьего головы Молчана Лаврова с лыжным отрядом татарского головы Осипа Кокорева — и Кузнецкий «острог поставили божьей помощью». Через два года он будет перенесен на высокий правый берег Томи ниже устья Кондомы и описан «в расспросе» одним из его основателей так:

«Кузнецкий де острог стоит на реке Томи, а от Томского города до того острогу езды вверх водою шесть недель, а сухим путем из Кузнецкого острогу до Томского города десять ден ходу. А около Кузнецкого острогу на Кондоме стоят горы каменные великие. И в тех горах емлют кузнецкие люди камень, да то камень разжигают на дровах и разбивают молотами на мелко, а разбив, сеют решетом, а просеев сыплют понемногу в горн, и в том сливается железо, и в том железе делают панцыри, бехтерцы, шелома, копы, рогатины и сабли и всякое железное, опричь пищалей. И те панцыри и бехтерцы продают калмыцким людям на лошади, и на коровы и на овцы, а ныне ясак дают калмыцким людям железом же. А кузнецких людей в кузнецкой земле тысячи с три, и все те кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое дело, и с тех

* После 1 сентября.

кузнечных людей дают государю ясак немногие люди, которые живут ближе к острожку, всего с двести человек, а живут они в горах... А которые кузнечные люди живут от кузнечного острогу далеко и теми кузнечными людьми владеют калмыцкие люди, ясак с них емлют соболями и железом всяким данным».

В ту пору первопроходцами являлись практически все томи-чи. Одни из них разведывали дальние неведомые земли, другие осваивали и обживали ближние. Далеко за Каменный пояс (Урал) продвинули земледельцы рожь, ячмень, овес, превратив бесплодный прежде край в одну из богатейших житниц Зауралья. Нашли залежи ценной глины, минеральных красок и слюды в Притомье, поставили на Чулыме Мелесский острог (1621). А через год в трех верстах от Томска кузнец Федор Еремеев обнаружил залежи железной руды и сообщил об этом тогдашним воеводам Ивану Шеховскому и Максиму Радилову. Дальше, согласно царской грамоте с красноречивым названием «О железе», читаем:

«...и они посылали с тем кузнецом с Феткою казака Пятуньку Кизыла* для опыту по каменье и по железную руду; и они с ним тово каменья и железные руды Фетке кузнецу велели железо варить при себе; и родилося ис той руды и ис каменья железо добро, такое ж, что и в Кузнечной земле; и то они железо прислали к нам к Москве с тем же кузнецом с Феткою Еремеевым. И на Москве то железо переплавляли, и то железо добро, будет из него сталь. И по нашему указу за то кузнецу Фетке Еремееву, который приезжал к нам к Москве с тем железом и тое железную руду приискал придано нашего денежного жалованья к 5 рублям с четью 5 рублев денег, хлеба к 5-ти четям муки, да к чети круп и толокна; да ему ж дано нашего жалованья сукно доброе. Да Томского города казаку Пятуньке Кизылу, который послан был с тем же кузнецом с Феткою для проводывания тое железные руды, дано нашего жалованья сукно доброе. А на Москве в Казанском дворце тот кузнец Фетка Еремеев в расспросе сказывал: будет де мы укажем в Томском городе делать железный наряд, и в Томске железо можно делать, пицали полуторные и полковые и скорострельные

и к тем пицалам ядра железные, только де надобно такие кузнецы, кому б дело было за обычай».

Вернувшись в Томск, Федька Еремеев собрал обещанный на Москве «железный наряд». В него вошли присланные из Устюжны Железнопольской кузнецы Ивашка Баршен и Вихорка Иванов «со своею кузничною снастью», тобольский казак Тренька Горностай и томские послужилцы Федька Петров да два Бориски — Клементьев и Михайлов. Соорудили они домницу для выплавки сыродутного железа и приступили к разработке рудного месторождения на Томском уступе (район Лагерного сада).

В 1626 году особой грамотой государя томским воеводам было запрещено брать с кузнечных людей ясак железными изделиями, только пушшиной. Смысл этого распоряжения можно понять и так: у вас теперь своего железа достаточно.

Еремеев и его помощники немало сделали. Ими была отлита и установлена на Взвозной башне «пицаль железная, что делана в Томском городе в новом железе ядро фунт без чети, а к ней ядер железных по кружалу 150 ядер». Другую пушку томского производства подняли на главную башню Томского острога — Бурговую (еще ее называли Киргизской, потому что алтысарцы при набегах прежде всего пытались овладеть ею).

Однако за несколько лет запасы железной руды на Томском уступе поистощились, а в Верхотурском и Туринском уездах, на Невье и Нице, найдены были большие запасы более дешевого железа. Вот и поступила команда из Москвы (1628): «Железо в Томском городе вперед варить не велено».

Три с лишним века спустя геолог Западно-Сибирского геологического управления А.Т. Пшеничников практически на том же месте обнаружил выходы железной руды. И это не удивительно. Томск стоит на отрогах мощной железорудной гряды, уходящей в сторону Красноярска. Думается, это прочное основание для его многовековой и нередко монументальной истории.

* Участник посольского похода в Китай.

НИЖНИЙ ОСТРОГ

В 1629 году царским указом Сибирь была разделена на два ряда – Тобольский и Томский. К Томску отошли Сургутский, Нарымский, Кетский, Енисейский и «новый острог, что велено поставить Андрею Дубенскому в Красном Яре»*.

Так случилось, что полномочия «стольного» города «второй Сибири» Томск получил в год своего двадцатипятилетия. Подведомственная ему территория вдруг стала больше той, что занимали королевства Великобритания, Венгрии, Дании, вместе взятые. А томским воеводам было даровано право от имени Москвы обмениваться послами с Алтын-ханом монгольским, Валли китайским царем и другими повелителями азиатских стран. Однако сам Томск на столичный город тогда мало походил. Очень уж невелик, тесен, большей частью на Воскресенской горе скупился.

Гору эту стали так называть с 1622 года, когда на ее оголовке поставлен был Успенский мужской монастырь. Обнесенный стеной из одноярусных городен, он напоминал крепостцу. Посреди этой крепостцы устроены были храм во имя Воскресения Господня и прицерковный погост, а напротив высилась стена острожного посада с встроеной в нее дозорной башней. Монастырь и острог разделял довольно крутой взвоз. С одной его стороны возвышался храм во имя Воскресения Господня, с другой – острожная башня, очертаниями своими напоминающая храмовое строение. С какой стороны взвоза на них ни глянь, так и кажется, что это Господни ворота. Они соединяли верхнюю, сравнительно многолюдную часть города (три с половиной сотни служилых людей и пятьсот семейств на острожном посаде, примыкавшем к городу на Ушаевом бугре), с нижней, мало заселенной. Давно шла речь о том, что и на Песках следует посад срубить, но до него все как-то руки не доходили.

А тут вдруг благодаря тому, что Томск стал «разрядным» городом, дошли. Случилось это при воеводах Петре Пронском

и Алексее Собакине. Вот как они отписали об этом событии царю Михаилу Федоровичу:

«В нынешнем, государь, во 138-м году... поставили мы холопи твои Петрушка и Олешка около подгородного всего посаду по обе стороны реки Ушайки новый острог (со) дворяны и служивыми и жилацкими и приезжими и торговыми и всякими людьми. А у того, государь, подгородного острогу проезжих четверо ворота больших, да четыре башни глухих. А для, государь, приходу воинских людей на воротах надобе по пищали полковой да по две затинных, да над ворота да надобеть для всполохов по колоколу вестовому. Да преж, государь, сего писали мы холопи твои к тебе, государь, что на городской на большой башне был колокол благовестный и вестовой пудов в 30 и больше, и тот колокол перед нашим холопей твоих приездом во 137-м году в сполошное время разбили, и ныне, государь, в Томском городе колокола благовестного и вестового никакого нет. И о том как ты государь царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси укажешь».

Тяжелым, не всегда понятным слогом, чаще всего без знаков препинания, с утомительными восхвалениями в адрес царя писались тогда разного рода грамоты и отписки (челобитные, увещательные, дозвоительные, охранительные, жалованные, подорожные и прочие), но они позволяют почувствовать дух того времени, строй речи, почерпнуть из них крупинцы самоцветных слов. Ну, скажем, «сполошное время». Какой яркий и зримый образ! Или (из главы «Калмацкий торг»): «и коровами служивые люди наполнились в Томском городе...» Какая живая простодушная деталь! И таких деталей, таких образов в текстах той поры рассыпано немало. Жаль, не все они сюжетно ложатся в это повествование...

Сейчас трудно себе представить центральную часть Томска, огороженную острогом, северный часток которого тянулся от Томи (там, где раньше был Исток-озеро) по улице Ванцетти до взвоза, ведущего на Воскресенскую гору. Восточная стена Нижнего острога проходила по Большой Подгорной улице и, шагнув через Ушайку, продолжалась до мыса Юрточной горы. Здесь южная часть острожной стены поворачивала к Томи (район улицы Беленца) и шла до устья речушки Исток, впадающей в Томь. Западная замыкала острог по береговой линии Томи от одного Истока до другого. Получился искривленный, вытянутый с севе-

* К тому времени Красноярский острог уже стоял. Он срубен в августе 1628 года на высоком обрывистом мысе между Енисеем и его притоком Качей.

ра на юг четырехугольник со сторожевыми башнями, скрепляющими стены. На каждой из них имелись вестовой, благовестный или сполошный колокола и полковые пушки. В каждой стене устроены ворота из двух створ (одна для возов, другая для «пешего люда»). Вдоль северного и южного частокола еще и рвы вырыты – «для пушек сохранности». Ручьев, малых озер, ключей вокруг было не счесть. Их водой и заполнялись рвы. А перед рвами высились земляные валы.

В 1633 году посреди Нижнего острога была срублена небольшая церковь во имя Крещения Христова, более известная как Богоявленская (она стояла там, где ныне находится часовня во имя Иверской Божией Матери).

Нижний острог стал стремительно заселяться. Неподалеку от Богоявленской церкви появился свой гостинный двор. К нему стали лепиться торговые лавки, амбары, склады, постоялые дворы. Расширилась, обустроилась томская пристань. На берегу Ушайки вскладчину была построена «торговая баня» и много еще разного назначения построек.

Вскоре здесь зашумело, расцвятилось яркими сукнами, кумачом, всевозможными изделиями из кожи, зеркалами, украшениями, медной утварью, всякими заморскими диковинками, и прежде китайскими, бухарскими, монгольскими товарами, «Базарное место». Монастырские и казацкие «прожиточные» люди повезли на продажу муку, зерно, соль, толокно, солод, «скусную» рыбу, кузнечные изделия. Не остались в стороне владельцы эуштинцы, чаты, «захожие» остяки – они продавали меха в пластинах (несколько хребтов, сшитых вместе), собольи пупки и хвосты, исподы и пояса из выдры и куницы... В эту круговерть попали и «нижние» посадские люди – какой торг обойдется без подсобных людей, годных на извоз и перевалку?

Изначальные промыслы томичей дополнились новыми – портняжным, «збруйным», сундучным, веревочным, мыловаренным, свечным, гончарным, маслобойным, войлочным, деготным, столярным... Но все делалось пока малыми партиями – прежде всего «для своего обихода».

Расширился и Верхний посад. Со временем он ступил за острожные стены к Ак-Кулю, иначе говоря, к Белому озеру. Так его называли эуштинцы. Белый цвет у восточных народов – это

символ удачи и счастья, здоровья и силы. А воды Ак-Куля славились тем, что излечивали болезни глаз, желудка, суставов, делали человека бодрее и крепче. (Как объяснили впоследствии ученые первого в Сибири Томского университета, озеро подпитывалось целебными радоновыми ключами.) Скорее всего, томские служилые люди переняли это название у местного населения, перетолмачив его на русский лад. Но есть и другая версия, более лирическая. Согласно ей, к озеру подступал березняк. Его стволы, отражаясь в ключевых водах озера, и делали его белым.

Из озера стекала в Ушайку речка, которую тоже называли Белой. Восточнее нее начинался район, богатый глинами, подходящими для устройства печей, стен и других кирпичных сооружений. Его так и прозвали – «Кирпичи». А на западных склонах Воскресенской горы стали селиться кузнецы, литейщики, железных дел мастера. Они и основали Кузнечные взвозы. Здесь делалось все, что могли сделать народные умельцы, – от ложек, ножей, серпов, подков, узорных решеток, дымников, лемехов и сошников к плугам до сабель, малых пушек и ядер к ним.

Заселялась посадскими людьми и Юрточная гора. К тому времени ее название уже мало соответствовало реальному положению дел. На месте юрт эуштинцев возник земляной городок, в котором жили не только они, но и чаты, и телеуты, и бухарцы (так называли мусульман из числа среднеазиатских купцов, ремесленников и караванщиков). В 1631 году воевода Петр Пронский всех их перевел под Юрточную гору на притомские заливные луга (ныне район Московского тракта). Жители Верхнего и Нижнего острогов стали называть эти места Заисточьем. Так возникла Татарская слобода и улица Татарская. Здесь и рождались первые томские сказания, знакомство с которыми впереди.

По росписи 1635 года Томск получил новую печать. Она выглядела так: «На томской коруна (то есть царская корона), а около вырезано: «Печать государева Томского города». Гербом его, как и других сибирских городов, оставалось изображение двух соболей, разделенных стрелой и луком. До собственного герба Томску еще предстояло дожить.

«И МЫ, ГОСУДАРЬ, ХОЛОПИ ТВОИ...»

В 1636 году был наконец создан Сибирский приказ. Если вспомнить, что первый русский город Сибири Тюмень основан в 1586 году, то получится, что для этого потребовалось ровно пятьдесят лет.

Срок, как видим, не малый. И все это время Сибирь управлялась «попутно». Сначала ею «ведал» Посольский приказ. Но это понятно: тогда она еще не стала частью Московского государства и воспринималась как «чужезадельная сторона». Затем Сибирь перешла в ведение приказа Казанского дворца, который отвечал за отношения России с Казанскими, Мещерскими и Астраханскими землями. (Мещерой обозначался край между Окой, Клязьмой, Судогой, Колпью и Москвой-рекой, заселенный в ту пору «понизовыми татарами».) Не удивительно, что в приказе Казанского дворца решались дела прежде всего этих территорий и что самыми частыми посетителями здесь были знатные и торговые люди именно этих «царств», а до Сибири руки доходили в последнюю очередь, да и то стараниями таких дьяков, как незабвенный Нечай Федоров.

Но вот очередь и до нее дошла. Не только в Москве, но и во многих зарубежных, прежде всего восточных, странах стали осознавать значимость Зауралья, относиться к нему не просто как к «улусу» Московского государства, но как к набирающей силу «Сибирской России». А коли так, то и приказ ей нужен особый — с распорядительными, устроительными и посольскими полномочиями. Одним словом, Сибирский приказ.

Особых перемен в жизнь Томска это не внесло, но его роль как одного из двух важнейших городов «Сибирской России», конечно, подчеркнуло. Больше внимания стала уделять ему Москва, более покладистыми стали воеводы других сибирских крепостей и князья ближних и дальних улусов. Однако служба рядовых казаков, их десятников, сотников, да и атаманов легче от этого не стала. Напротив, новые обязанности тяжким грузом легли именно на их плечи. О том, что это за обязанности, довольно подробно повествует такая вот челобитная томских служилых людей, писанная

на имя царя Михаила Федоровича в 1635 году. Среди тех, кто к ней «руку приложил», немало знакомых имен — Осташко Харламов и Оска Кокорев, ставившие Кузнецкий острог, пятидесятники и десятники Митка Копылов (о нем рассказ впереди), Ивашка Володимерец, Андрюшка Губа, Ивашко Коломна и другие.

«Служили, государь, мы, холопы твои, — писали они, — в Томском городе государевы всякие службы летние и зимние, струговые и нартные, и на городе, и на остроге... и в отъезжие караулы на конех мест в пять и в шесть человек по десяти по двадцати ездим верст по десяти и по двадцати, и по тридцати, и далее...

А всех, государь, нас, холопей твоих, в Томском городе служилых людей немного, конных и пеших казаков только пять сот человек. А Томской, государь, город от иных от всех сибирских городов удален, место украинное; а около, государь, Томского немирных орд и степных и всяких вольных людей много безчисленно и мы, государь, с твоих государевых служб и с частых посылок, и с караулов не бываем, и хлеба, государь, на пашнишках своих про свои нужи... упакать не посееваем, потому что, государь, все живем в твоих государевых службах и в посылках, и на караулах безпрестани. А твоим государевым хлебным жалованьем нам холопом твоим прокормитца немочно. А привозу, государь, в Томской на продажу нет ниоткуда, да и покупати, государь, нечем... а по твоему государеву указу в Томском с наших пашнишек в твою государеву казну выдельного хлеба у нас ... емлют двадцатой сноп и за тем, государь, мы холопы твои, и от пашнишек своих отстали.

Да в прошлом, государь, во 142-м году весною гневом праведным божьим как Томь река вскрылась и пришла на посад вода со льдом большая и дворишка у нас холопей твоих водою и льдом сломало и хлеб и скотинишка потопила и всякий лес от дворишков и с пристанищ и рубленные всякие хороминшко водою разнесло розно.

Да нам же, холопом твоим, присылаетца твое государево хлебное жалованье и соль в Томской город ис Тоболеска... а иные, государь, те твои государевы запасы до заморозу в Томской и не доходят, а замерзают на дороге, а в заморозех подмокают и потопают... И в нынешнем во 143 году твое государево хлебное и соляное жалованье... до Томского льдом не допустило... А которые, государь, суды с твоими хлебными запасами до Томского допро-

важены и устроены... И ис тех, государь, судов нам, холопом твоим, давано твое государево жалованье в наши оклады хлеб сухой и мокрой.

Да в прошлом же в 142-м году и в нынешнем во 143-м году томские пахоты на твоей государевой пашне и у служилых людей и усяких томских жильцов на пашнях всякие хлеба не дородились, а иные, государь, морозом и градом выбило, а достальные дождем вымочило и всяких, государь, хлебов семена не вывелись и рыбных промыслов не стало, потому что, государь, волею божиею и воды стоят и потопа с дождей великие с весны и до заморозу, и после, государь, того в Томском всякие хлеба подорожали... и мы, государь, холопи твои, в три годы в тех хлебных недородах и водных потопах хлеб покупаючи такую дорогою ценою обнищали и задолжали великими долгами, и в тех, государь, покупках хлебных, мы, холопи твои, оружие и панцири, и шеломы, дворишка свои и кони и всякую сбрую изакладывали и продали, а нынеча, государь, мы, холопи твои, от той хлебной скудости изадолжали и обнищали и вконец погибли... а около, государь, Томского города всяких орд и немирных земель людей много безчисленно и приход, государь, иноземцам, под Томской бывает часто со всех сторон...

А в городе, государь, и вовсе де всяких служилых людей не живет человек и по сту, и против, государь, твоих государевых изменников и непослушников и всяких немирных земель людей оборонитца выехать некому да и не з чем, и нам, государь, холопом твоим, в Томском твоих государевых многих служб и частых розысков и караулов безпрестанных малыми людьми пятьюстами служить невозможно... Вели своих государевых служилых людей прибавить... чтоб, государь, твоей царской дальней украинны вперед прочной быти».

Грамотеев в ту пору среди служилых людей было сложно сыскать. Челобитные и прочие бумаги с их слов составляли приказные или площадные, то есть промышляющие на торговых площадях своим умением, писцы. К своему делу они подходили творчески: жалобы писали так, чтобы каждое слово до слез прошибало. Ведь прежде чем отправить их в Москву или другие высшие инстанции, авторы таких челобитных собирались возле особо почитаемого ими храма и там сообща заслушивали подго-

товленный писцом текст, а затем всем миром одобряли или тут же вносили в него свои поправки. В Томске местом таких чток была церковь во имя Живоначальной Троицы. Здесь хранилась икона, дарованная городу Борисом Годуновым, казачье знамя и другие памятные реликвии. Отсюда с амвона сообщались горожанам важнейшие государственные события и «сибирские новости».

Можно представить, как внимали томские казаки каждому слову из письменного рассказа об их беспросветной жизни. Слов нет, жили они трудно, скудно, исхитряясь и пашню распахать, и в отъезжие караулы сходить, и бесхлебицу перетерпеть, и ясак с дальних и ближних «землиц» собрать, и с немирными «ордами» сразиться, но при этом оставались крепкими, предприимчивыми, хваткими людьми, о которых не скажешь, что они «вконец погибли».

Это было время, когда на пересечении народов и «свободных пространств» (по христианским законам не занятая никем земля никому, кроме Бога, не принадлежала, а таких земель в Сибири было великое множество), в суровых испытаниях и повседневных свершениях рождался тип человека стойкого, сдержанного, дружелюбного, вольнолюбивого, любознательного, имя которому сибиряк. Это о нем известный публицист, издатель, ученый, «печальник Сибири» Николай Ядринцев (1842–1894), многие годы жизни которого связаны с Томском, писал:

«Все, что мог сделать русский человек в Сибири, он сделал с необыкновенной энергией, и результат трудов его достоин удивления по своей громадности...»

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ

В переводе с алтайского «тайга» — это скалистые горы, покрытые лиственным лесом, «ал» — высокий. Соединившись, два эти понятия образуют одно — Ал-тай (страна высоких лесистых гор). Есть и другие прочтения этого слова: ала (пестрые), тау (горы); алт (от монгольского «золото»), тай (место).

Необычен пейзаж и природа этого удивительного края. Альпийские луга здесь соседствуют с горными тундрами, жаркие степи и цветущие долины с темнохвойной и черневой тайгой, стремительные реки с многочисленными озерами, россыпи драгоценных камней с целебными аржанами (источниками), бесчисленные стаи крикливых птиц с безмолвием холодных ущелий. А вершины горных хребтов очертаниями своими нередко напоминают замки, башни, полуразрушенные крепостные стены, облик людей, зверей, птиц, фантастических растений.

Не менее многолики и разнохарактерны алтай-кижи (алтайские люди). В этом жители Томского города убедились с тех самых пор, как за рекой возник «калмацкий торг». Сначала хозяевами на нем были сплошь телеуты, больше известные как белые калмыки. Потом стали приходить родственные им алтайские племена — теленгеты, мюркюты, алматы, торо, чорос. Их айлы и улусы были разбросаны в южной части Алтая. Вслед за ними потянулись в Притомье тубинцы, челканцы, кумандинцы, туболары, через земли которых южные алтайцы гнали на торг свой скот, везли на продажу пушнину, невыделанные кожи горных баранов, тулупы, шубы, узды и другие товары, а взамен брали железные замки, капканы, ножи, «пансыри» и многое другое.

Все они приносили с собой на Томь дыхание Алтая, запахи его пастбищ и становищ, краски и звуки кочевой жизни, а еще — многообразные свидетельства о несметных природных богатствах края. Однако не только эти свидетельства будили воображение служилых и посадских людей Томского города. Каждый из них с детства знал всеми любимую на Руси легенду о сказочном Опоньском царстве, которое лежит близ моря-океана, зовомое Беловодьем. И нет в том царстве «ни татьбы, ни воровства, ни прочих противных закону деяний», стало быть, нет и господского

суда, только Божий. Зато «злата и серебра несть числа, драгоценного камня и бисера драгого весьма много. А оные опонцы (уж не о японцах ли речь? — возникает невольный вопрос) в землю свою никого не пускают, и войны ни с кем не имеют: отдаленная их страна». И пройти туда можно только через земли Алтая. Там хранится ключ к заповедному Беловодью.

Казалось, Алтай вот он — до него от Томского города всего-то несколько дней пути. Но дни эти для томских служилых людей растянулись на два с половиной десятилетия. И вот почему. Еще в 1609 году, склонив предводителя телеутов Абака к перти (присяге) на верность Москве, томские воеводы Василий Волинский и Михаил Новосильцев позволили белым калмыкам кочевать «близко Томского города», да еще и беспопылинный «калмацкий торг» на другом берегу Томи устроить и ясака с них никакого не брать. За это они надеялись получить согласие построить на границе северного и южного Алтая свой дозорный стан. Так принято: доверие с одной стороны должно рождать доверие с другой. Но Абак уверял воевод, что время еще не настало. Предводитель джунгар Хара-Хула перешел Салаирский кряж и закрепился на реке Или. С другой стороны опасность грозила от киргиз-кайсаков (Казахской орды). Да и среди телеутов единства не было. Противится дружбе с Россией соперник Абака тайша Мачик... Об одном умолчал Абак: калан (ясачную дань) с зависимых племен он предпочитал брать сам, не делясь с Москвой, которая освободила его от ясака.

Менялись томские воеводы, менялись отношения между Томским городом и телеутами. В 1617 году Абак вдруг объединился с черными калмыками (джунгарами) тайши Пегима и напал на Чатский городок, который вместе с обскими татарами оборонял отряд казаков под началом Ивашки Хлопина. Недавние союзники оказались по разные стороны схватки. Бой сменился осадой. Она продолжалась три недели, но чаты с помощью русских свой городок все-таки «отсидели». С того и начался разлад между русскими и телеутами.

Четыре года спустя войско Хара-Хулы, объединившее белых и черных калмыков, часть енисейских киргизов и кучугутов, решило напасть на Томской город, но Абак вовремя предупредил об этом тогдашних воевод Ивана Шаховского и Максима Радило-

ва. Более того, он со своими людьми покинул Хара-Хулу, «принес вину» московскому государю и вновь «стал под его высокую царскую руку».

Однако в 1624 году «улусные люди» Абака «пришли безвестно» под Томск, напали на казачьи пашни, «иных людей поранили, лошадей отогнали». Их удалось догнать и пленить на речке Мончуне. Абак пообещал наказать «изменников и непослушников», но уже следующие послы к нему были встречены враждебно — ограблены и «поруганы». И вновь предводитель телеутов клялся в верности московскому государю, и вновь делал вид, что ничего не случилось.

Долго терпели его «шатания» томские воеводы, наконец решили наперекор Абаку и другим «неверным союзникам» заложить опорный острожек при слиянии рек Бии и Катунь. Случилось это в 1632 году — уже при Иване Татеве и Семене Воейкове. Во главе отряда из шестидесяти казаков поставили они опытного в таких делах «служилого дворянина» Федора Пуштина. Выдали его людям годовое жалованье хлебом и солью, снабдили одеждой, обувью, оружием и боеприпасами, топорами и пилами, заступами и таганями для варки пищи и отправили на трех дощаниках сначала вниз по Томи, а потом вверх по Оби-матушке. Она-де сама к Бие и Катунь их приведет, ведь с них она начинается.

Дальше Чатского городка речным путем томские казаки прежде не ходили. Это заставило их быть более осмотрительными, «сторожкими». В устье реки Ини они ожидали нападения «бродячих джунгар». Но его не последовало. Спокойно прошли и устье Уени. Зато вскоре на глыбистом левобережье (район современного города Камень-на-Оби) заметили трех алтай-кижи. Один из них был в бубен. Оказалось, это посланцы Абака. Они спрашивали:

— Куда и зачем плывете?

Федор Пуштин объяснил.

Посланцы осудительно головами покачали:

— Нельзя. Отец Алтай не разрешает. Возвращайся назад, амбань (начальник). Пускай сюда не ступит ни одна нога. Здесь небогатые улусные люди для рыбной ловли и другой охоты живут. Никакого задору и измены они перед московским государем не чинили.

— Я буду говорить только с Абаком! — отрезал Федор Пуштин и велел казакам грести дальше.

3 сентября выше Чумыша-реки отряд попал в засаду. Десятки стрел впились в борта передних дощаников. В ответ казаки пальнули из походной пищали (пушки). Выстрел обратил нападавших в бегство.

Следующая засада ждала казаков на правом луговом берегу Оби у телеутских курганов (окраина сегодняшнего Барнаула). После непродолжительной перестрелки Федор Пуштин отправил на берег толмача Тайтана — звать нападавших на переговоры. Те согласились, но с условием: держаться на расстоянии полета стрелы.

Говорили они на языке черных колмаков, но Тайтан сразу заподозрил неладное.

— Зачем прячете свой язык? — осуждающе спросил он. — Думаете, я не могу отличить каменного барана от домашнего, а язык телеутов от языка ойратов? Я по голосу узнал вас, Куранак, Изелбей и Илчидей. Для чего забыли вы государевы хлеб-соль? Для чего служилых людей стреляете? Разве этому учит вас мудрый Абак?

Пришлось нападавшим заговорить по-телеутски:

— Каждая голова знает свою печаль. Каждый сеок (род) хочет жить своим улусом. Только собака рвется туда, куда ее не пускают.

— Придержи язык. Или ты хочешь, чтобы великий зайсан Абак тоже звался собакой? Он дал шерсть орусам. Орусы открыли перед ним себя и свои земли. Теперь мы люди одной судьбы...

— Великого Абака здесь нет. Я говорю от имени его сына-наследника Коки. Он просил передать, что судьба переменчива. Можно привести коня на водопой, но нельзя заставить коня пить...

Два с половиной (полтремя) дня шли переговоры, да так ничем и не окончились.

Отряд двинулся было дальше, но путь ему преградили лучники Коки. И началось боевое противостояние. Оно продолжалось еще пять дней.

По «расспросу» Федора Пуштина, запись которого сохранилась в воеводских бумагах, силы были неравные. К телеутам «прилегли орды многие» (черные колмаки, барабинцы и орчаки). Часть казаков они «переранили». Те и зароптали: «Мы люди невеликие, дальше идти не смеем. И без того прилегли орлы многие».

Пуштин, человек по натуре смелый и решительный, на этот раз судьбу испытывать не стал, велел повернуть назад. Благоразумие взяло верх. Не захотел он «на смерть ссориться» с Абаком, оста-

вил ему возможность случившееся у «большого плеса» в излучине Оби между Касмой и Гоньбой списать на молодую горячность Коки. И казаков от верной гибели уберег. И дело, порученное ему, не загубил. Не удалось построить острожек на сей раз, удастся в другой. Главное – путь в верховья Оби «изведен».

Следующие томские воеводы Николай Егупов-Черкасской и Федор Шишкин решили действовать хитрее.

«Алтай-кижи будут ждать наших послужильцов не раньше следующего лета и тоже «речным ходом», – рассудили они. – Значит, надо послать их на Бию, как только снег ляжет, на лыжах, а нужные грузы при них на нартах, собачьими упряжками».

Так и сделали. На этот раз руководить отрядом казаков поручено было Петру Сабанскому, «поляку русской службы», человеку бывалому, не раз ходившему на переговоры с белыми и черными калмыками, енисейскими киргизами и другими сибирскими князьями.

Спрямяя путь, Сабанский повел отряд через Кузнецкий острог. Более четырех месяцев добирался он до Бии, еще месяц – до озера Алтынколь. Здесь жили телесы, предводителем которых был князь Мудрак. В его землях и решил Сабанский построить опорный острожек.

Поначалу телесы вражды к томским служилым людям не выказывали – места всем хватит. Но потом оказалось, что Мудрак тайно отправил своего человека в Большой удус телеутов к тайше Мачику, которому платил ясачную дань, и получил от него распоряжение изгнать орусов из «страны семидесяти рек».

Однако внезапное нападение телесов казаки отбили. Помогли ручницы (ружья), разящие огнем. Князь Мудрак бежал, оставив на произвол судьбы жену, сына и невестку.

Огорчился Сабанский, что и на этот раз не удастся отряду острожек «посреди Алтая» поставить, но и обрадовался: ближние люди Мудрака, попавшие ему в плен, хорошими аманатами (заложниками) будут. Пока они у казаков, ничто им особенно не угрожает. А если удастся вернуться с ними в Томской город, Мудрак волей-неволей следом явится и сам будет дружбы просить, лишь бы жену и сына вернуть. Так у сибирских народов принято.

Сабанский в своих расчетах не ошибся. В 1634 году, как пишут хронологи, князь телесов Мудрак и впрямь появился в Том-

ском городе. Приняв московское подданство, он обязался платить ежегодный ясак по десять соболей с каждого мужчины-добытчика своего племени. За это ему вернули плененное «за недружбу» семейство и с почетом проводили в родные края. Однако обещанного ясака так и не дождались.

Зато сохранилась в памяти томских стариков принесенная из далеких земель безыскусная телесская легенда. И говорилось в ней о том, как в неурожайный год опустела в стране высоких лесистых гор тайга-кормилица, исчезла рыба из рек и озер, погиб скот. И вдруг посыпались с неба куски золота величиной с лошадиную голову. Бросились люди подбирать те куски, потом опомнились: что с ними делать? Ни себя, ни родных ими не накормишь. Тогда один пастух поднялся на высокую гору и кинул бесполезный кусок в озеро. Следом сам прыгнул. С тех пор гора стала называться Алтынту, что значит Золотая гора, а озеро Алтынколь (Золотое озеро). Освещенное солнцем, оно золотом горит, хотя прозрачное, как ключевая вода. Старики говорят, что на дне этого озера Золотой ключ лежит. Им все можно открыть, даже время.

Остается добавить: речь в этой легенде идет о Телецком озере.

ПРОМАШКА ВАСИЛИЯ СТАРКОВА

Более двадцати лет потребовалось посольским и служилым людям Томского города, чтобы проложить наиболее надежный путь и в ставку алтын-ханов монгольских на озеро Убса-Нур. За это время там сменилось два правителя, и каждый из них, давая шерть на верность московскому царю Михаилу Федоровичу, пил горячее вино, окрашенное в золотой цвет. У восточных народов это самая действенная клятва.

Второй раз шерть у Алтын-хана Эрдене в декабре 1634 года приняли томские «посольские люди» во главе с Яковом Тухачевским и Дружиной Огарковым, людьми с весьма запутанными судьбами и несхожими характерами. В молодости они успели послужить почти всем самозванцам — сначала лжецаревичу Петру, затем Ажедмитрию Гришке Отрепьеву и невенчанному мужу Марины Мнишек казачьему атаману Ивану Заруцкому, позже перебежали в стан законного государя Василия Шуйского и столь же горячо присягнули юному царю Михаилу Романову, а в Сибири показали себя «досужими, подходящими для всякого дела людьми». Тухачевский за воинские заслуги получил вскоре чин сына боярского, а следом дворянство. Огарков стал при нем первым помощником — походным дьяком.

Перед тем как получить назначение в Томской город, Тухачевский с боем «отнял у ордынцев» Чингис-городок (ныне район села Чингисского Новосибирской области) и с высокими почестями похоронил погибшего в поединке с ним мурзу Тарлачку (Тарлаву) («над его могилою лошадь велел резать и поминать, а служилым людям около могилы велел стоять с ружьем»). Огарков же счел это слабостью, недостойной «слуги государева», и потребовал «взять у бусурман все животы на себя» (имущество побежденных). Пусть чувствуют жесткую руку власти.

Так же — напористо и жестко — повел он себя и в ставке Алтын-хана Эрдене, чем заметно усложнил переговоры.

Позже Алтын-хан не преминул сообщить об этом в Москву.

Уговоренный ясак он прислал без задержки, а в ответ попросил прислать «золота, серебра, жемчугу крупного, корольков и разных цветов камня». Надо понимать, как плату за грубость томских послов по отношению к нему и его матери.

Год спустя в Томском городе, следуя в только что созданный «на Москве» Сибирский приказ, побывал брат Алтын-хана монгольского Дуран-Табун. Здесь он с радостью узнал, что за ложный донос на Тухачевского его дьяк Огарков бит батогами и посажен в тюрьму, а Тухачевский назначен вторым воеводой в Тарский город на Иртыше. Значит, есть у орусов справедливость.

В 1639 году с очередным посольством из Томского города пожаловал к Алтын-хану Эрдене сын боярский Василий Старков. От имени царя московского он вручил ему богатые поминки, иначе говоря, посольские подарки, и стал ждать, каковы будут ответные дары. Они без слов скажут, готова ли принимающая сторона вести переговоры на равных, признает ли себя зависимой или, напротив, постарается ослепить и одновременно принизить блеском и богатством своих щедрот.

Очень хотелось Алтын-хану показать Старкову, что он ни в чем не уступает московскому царю, да не хватило ему для этого ста соболей. И тогда он предложил взамен двести пакетов травы «бакчей» по 5/4 фунта в каждом (фунт по сегодняшним меркам равен 400 граммам).

Напитком из «бак-чея» Старкова уже угощали, и он ему не понравился. (Позже, в скаске, то есть в описании своего посольского путешествия к «мунгалам», он обрисует свои впечатления так: «Прежде подавали все мясную похлебку, а теперь в знак особой чести одно питье, которое они называют «чаем». Я не знаю, листья ли это какого дерева, или травы. Варят их в воде и подмешивают несколько молока... Чай в России есть вещь незнаемая и неупотребляемая, чего ради при царском дворе охотнее приняли бы на ту цену соболей».)

Соболи в ту пору стоили по тридцать копеек за шкурку. Вот и прикинул Старков в уме, во что оценил Алтын-хан каждый пакет своего «чая» — аж в пятнадцать копеек! — сумму по тем временам немалую. Поначалу стал он отказываться от такой замечательной, но вовремя урезонил себя: подарки либо принимают, либо нет; торговаться в таких случаях грех великий. У многих народов

на этот счет одна пословица: дареному коню в зубы не смотрят.

Пришлось Старкову принять в числе поминков от Эрдене пакеты с «бак-чеем». Тогда и узнал он, что это вовсе не «мунгальское», а «китайское зелье».

Возвращался в Томской город он в приподнятом настроении. Прежде ему, приказчику пашенных крестьян, в послах к правителям сибирских народов ходить не доводилось. И ничего, справился. Все договоры как надо заключил и даже ясак с Эрдене взял. Ну а промашка с чаем не в счет. На его месте всякий бы ее поневоле допустил.

Однако именно эта «промашка» и сделала имя Василия Старкова историческим.

Попробовав привезенный Старковым чай, томские воеводы Иван Ромодановский и Андрей Бунаков нашли его очень даже «полезительным» и тотчас отправили в Сибирский приказ. Оттуда он попал на царский стол. И полетели в Томской город гонцы с высочайшим повелением: «Впредь посылать к Алтын-хану и Валии Китайскому царю людей за бак-чеем». С той поры и на многие годы Томск стал крупнейшим центром торговли китайским чаем и сопутствующими товарами.

Лишь восемь лет спустя китайский чай кружным путем, по морям и океанам, был завезен в Голландию, а уже из нее попал в другие европейские страны. Там его поначалу употребляли как целебное восточное снадобье, но потом распробовали и как напиток. Решили было голландцы удивить им московского государя, но он сам удивил заморских послов, угостив их китайским напитком.

К тому времени через Томск лег путь, который впоследствии назовут Чайным. По нему с востока на запад шли обозы с тюками не только черного, но и зеленого чая. Сначала он появился на Нижегородской ярмарке, потом на Московской и на многих других.

Через девяносто пять лет после посольской поездки к Алтын-хану Василия Старкова в Томске побывал известный немецкий натуралист-путешественник Георг Гмелин. В своей книге «Путешествие по Сибири» он писал: «Если какой-либо город в Сибири расположен выгодно для торговли, то это Томск... Через Томск сюда прибывают не только по два каравана в год из Калмыкии, но и все идущие из Китая или из России в Китай сухопутные караваны проходят через этот город».

В Томске ученого поразило необычное зрелище: в холодные ноябрьские дни по городским улицам шествовал караван из двухсот верблюдов. «Их вели русские, чаты, казанские татары и бухарцы». А в гостинном дворе Гмелин полюбовался на товары, привезенные на Томь из разных стран. Чего только здесь не было – персидские ковры, шкуры волков, медведей, степных лисиц, пантер и тигров, хлопчатобумажные ткани и, конечно, обтянутые кожей тюки с чаем, одним из самых ходовых товаров на любом рынке.

Вторя Гмелину, другой западноевропейский путешественник Астольф де Кюстрин в книге «La Russie en 1839» отметил: «Чай идет в Россию из Китая через Кяхту... Из Кяхты чай транспортируется сухим путем до Томска. Там он перегружается на баржи и путешествует дальше... цена чая определяет цены всех прочих товаров».

С тех пор в Томске появилось множество чайных лавок, магазинов. Среди них было немало китайских – «Чо-ли-чань – Ван-ху-син», «Лю-ань – Ван-ху-син», «Юань-ху-син – Чжень вый-ий»... Крупными чайными фирмами в XIX веке стали торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья», товарищество «КараванЪ», компания «Вогау и К^о» и ряд других.

Как тут не вспомнить иронические, но в то же время и серьезные строки М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Чай! Пустой напиток! А не дай нам его китайцы, бо-о-ольшая суматоха могла бы выйти!» Как тут не вспомнить томского посла Василия Старкова!..

ТОМСКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Воротами в первую, «прилежащую к Оби-матушке Сибирь» волею судьбы стал Тобольск. За Обью начиналась вторая Сибирь, прилежащая к могучему Енисею. Воротами из первой во вторую, а затем и в третью, прилежащую к не менее могучей реке Лене, суждено было стать Томскому городу, центру второго сибирского «разряда».

Вот и разгорелось между воеводами обских и енисейских уездов негласное соперничество, чьи «людишки» лучше и быстрее разведывают «ленскую землю», заведут там на государя (и на себя заодно) больше промысловых угодий, начнут собирать ясак с дальней «страны Тунгусии». На указания, приходящие из Сибирского приказа, они, бывало, и внимания не обращали. Москва «далеконько, за тыщи верст», за всем, что делается за Камнем (Уралом), ей не уследить. Да и незачем. Воеводам видней, как лучше поступить, «смотря по тамошнему делу».

Не остались в стороне от этого соперничества и томские воеводы Иван Ромодановский и Андрей Бунаков. Решили и они отправить на Лену своих служилых и промышленных людей. Собрать отряд поручили одному из самых опытных томских атаманов Дмитрию Копылову. Службу он начинал пешим казаком, но вскоре стал десятником, а затем пятидесятником конных казаков (своего рода военная элита). Участвовал во многих сложных и ответственных походах. Тринадцать раз ранен в стычках с киргизами и калмыками.

В товарищи (иначе говоря, в сподвижники) Копылов взял тако-го же, как сам, бывалого казачьего «атаманишку» Ивана Москвитина. Тот вырос в походах при родиче своем Луке Москвитине, который еще в начале царствования Бориса Годунова «северным морским ходом» на трех кочах проник со своими людьми в устье Оби, а позже под именем «капитана Луки» разведывал Енисей. До чина сына боярского Иван Москвитин так и не дослужился, поскольку норовистым был и неуживчивым с начальством, зато отличался дружелюбием, выдержкой, умением претерпевать любые невзгоды в кругу таких же, как сам, «походников».

Припасами отряд Копылова Ромодановский и Бунаков обеспечили только до подчиненного Томскому городу Енисейского острога: там-де вас енисейские воеводы на дальнейшее «попешствие» снабдят, да и сам Бог в пути не оставит...

В Енисейском остроге сходились тогда два пути, ведущие на восток, к окраинам Евразии. Один шел через Тобольск (по Иртышу, Оби, Кети и Енисею), другой, более дальний и кружной, через Томской город. Но был еще третий, северный – через заполярный город Мангазею (ныне пристань на правом берегу реки Таз, впадающей в Тазовскую губу). Минувя Енисейский острог, он проходил по рекам Турухан и Енисей на Нижнюю Тунгуску, затем по Чоне и Вилюю устремлялся к берегам Лены. Именно этим путем пятнадцатью годами раньше промышленный человек Пенда «со товарищи» достиг «златокипящей» соболями и другой ценной пушниной «Ленской земли». Затем здесь побывали малочисленные отряды тобольских, березовских и мангазейских служилых людей, но закрепиться надолго на Лене и Алдане они не смогли.

Более удачливыми оказались казаки Енисейского острога. По Верхней Тунгуске (Ангаре) они добрались до Илима и срубили там острожек у волока на Лену, а затем с Илима по реке Кут вышли к «Якутской земле» и поставили еще один острожек – Ленский. Он состоял из трех изб, часовни, двух амбаров и караульной вышки над въездными воротами.

Узнав, куда отряд Копылова путь держит, енисейские воеводы «холодны стали и досадливы»: нешто у томских служилых людей других дел нет, как в чужие угодья соваться? Однако «припасишков» им на дорогу «кой-каких» дали да и выпроводили поскорей дальше.

Южный путь с Енисея на Лену лежал через реки и горы, болота и степи, через тучи комаров и гнуса, через жару и морозы, слякоть и заледи, по землям далеко не всегда мирных племен.

Лишь в 1638 году, через год с небольшим после того, как отряд Копылова выступил из Томского города, добрались томичи до Ленского острожка (позже его стали называть Якутском). Тамошние казаки встретили их хлебосольно – очень уж соскучились они по «новым людям». Однако вскоре начали поглядывать настороженно, выпытывать: с чем пришли? Не хотят ли острожек

«взять под себя», как норовят это сделать «бродячие отрядцы» тобольских и мангазейских служилых людей?

Копылов успокоил их:

— Ни боже мой! Живите себе, как жили, братцы, а мы на Алдан-реку двинемся. Там, говорят, места тучные, зверя, птицы и рыбы вдоволь. Вот и посмотрим, что за места, что за люди.

— Там ноне тоже «беззаконники» озоруют, — предупредили его. — Иной раз друг друга и промышленных людей побивают, пошлину с них силой дерут, а новым ясачным людям тунгусам чинят сумнение, тесноту и смуту. Хуже того — от государя прочь отгоняют. Разве ж так можно?

— Ничего, — нахмурился атаман, — мы порядок живо наведем. Старше Томского города по сю сторону Сибири никого нет. Стало быть, и там наше слово старшим будет.

Тем же летом отряд Копылова срубил на берегу Алдана свой Бутальский острожек и стал объясничать окрестных тунгусов (эвенков), называющих себя илэ (человек), и йэкэ (якутов), обеща им защиту от воинственных племен и «бродячих казаков», а от московского государя ласку и заботу.

Сегодня слово объясничать применительно к событиям того времени воспринимается чаще всего с негативным оттенком, то есть не просто как взимание с инородцев подати пушнинами, а еще и как принуждение к ней, нередко корыстное. Спорить с этим трудно. Многие, в том числе сбор податей (налогов), без которого не обходилось и не обходится ни одно государство, осуществлялось тогда и правда с большими перекосами. Давали себя знать алчность и предприимчивость, замешанные на культе силы, жестокосердие и другие человеческие пороки. Однако для наших далеких предков это слово имело и другой смысл. Объясничать — значило сделать подданными России новые племена и народы, присоединить к ней новые пространства, укрепить ее, расширить, обустроить. Если и возникали у них конфликты с этими племенами и народами, то вовсе не на национальной почве, а, говоря современным канцелярским языком, на почве несправедливого распределения общественного продукта.

Вот и в отряде Копылова подобрались люди разные. У одних от возможности «сколотить копейку» голова кругом пошла. Начали они искать способы, как у окрестных илэ, орочёнов, йэкэ

пушнину за бесценнок выменять или двойной ясак с них взять. Самовольничать стали, Бутальский острожек «ушпирать», чтобы подольше осесть в нем, а получится, свое дело завести. Но были среди них и такие казаки, которых на Лену надежда найти здесь душевное спокойствие привела, мечта открыть иной, более светлый и справедливый мир, с новой силой почувствовать себя частицей той великой Руси, которая есть не что иное, как вечная дорога и вечное движение.

Иван Москвитин оказался из их числа. Узнав от тунгусов и служилых людей Ленского острожка, что за горной стеной Джугджур есть таинственная река Сивирью и другие «захребетные реки», а за ними Теплое море, он загорелся желанием ступить на его берег, своими глазами увидеть край земли.

Дмитрий Копылов его желание охотно поддержал. По его сведениям, у Теплого моря всяких богатств и впрямь видимо-невидимо. Не то что драгоценные камни, серебро под ногами валяется. Ну как его не поднять? Вот и отрядил он с Москвитиним двадцать казаков «своих» (томских) да десять красноярских, прибывших незадолго до того в Бутальский острожек, для похода «на край земли». Не вернутся, значит, так тому и быть. А вернутся, ему первому и слава, и выгода.

Такая была эпоха — смутная, противоречивая, жестокая и вместе с тем удивительно пассионарная. Этот термин ввел в оборот историк Лев Гумилев. Под пассионарностью он понимал взлет народной активности и энергии. В XVII веке, по его утверждению, ей способствовали еще и космические излучения. А другой крупный историк, его предшественник, Николай Карамзин справедливо заметил: «Мы должны судить о героях истории по обычаям и нравам их времени».

И Копылов, и Москвитин, и те казаки, с которыми ему предстояло идти к Теплому морю, были людьми своего времени, со всеми их достоинствами и недостатками, но для нас они остаются прежде всего первопроходцами.

Вот рассказ одного из них, казака Нехорошки Колобова, записанный позже в съезжей избе Илимского острога волостным дьяком Петром Стеншиным. Он дает представление о том, как долог и труден был путь отряда, как много ему пришлось увидеть и пережить.

«В прошлом де во 147-м (1639) годе с Алдана-реки из Бутальского острожку посылал на государеву службу томской атаман Дмитрий Копылов томских служилых людей Ивашка Юрьева сына Москвитина да их, казаков, с ним 30 человек на большое море-окиян, по тунгускому языку на Ламу. А шли они Алданом вниз до Май-реки восьмеры сутки. А Маею-рекою вверх шли до волоку 7 недель, а из Май-реки малою речкою до прямого волоку в стружках шли 6 дён. А волоком шли день ходу и вышли на реку на Улью, на вершину. Да тое Ульем-рекою шли вниз стругом, плыли восьмеры сутки. И на той же Улье-реке, зделав лодью, плыли до моря до устья той Ульи-реки, где она пала в море, пятеры сутки. И тут де они усть реки поставили зимовье с острожком, и на том бою с теми тунгусами взяли в аманаты (заложники) двух князцов, азянских мужиков князца Дорогу, да киярских мужиков князца Ковырина сына...

А по той де по Ульи живут те тунгусы четыре роды: килары, долганы, горбыканы, бояшенцы... А на той де реки на Улье соболя и иного зверя у них много. А бой у них лучной, у стрел копейца и рогатины все костяные, а железных мало; и лес и дрова секут и юрты рубят каменными и костяными топорами...

Да они ж де ис того ж острожку ходили морем на Охоту-реку трои суток, а от Охоты до Ураку одне сутки. А те де реки собольные, зверя всякого много и рыбные. А рыба большая, в Сибири такой нет, по их языку кумжа, голец, кета, горбуня, столько де её множество, только невод запустить и с рыбою никак не выволочь. А река быстрая и ту рыбу в той реки быстредью убивает и вымётывает на берег, и по берегу лежит много, что дров, и ту лежачую рыбу ест зверь — выдры и лисицы красные, а черных лисиц нет. А жили они на тех реках и с проходом два года...

И тот де князец, которого взяли тут на бою, учал им рассказывать, что от них направо, в летнюю (южную) сторону на море по островам живут тынгусы ж, гиляки сидячие (нивхи), а у них медведи кормленные (священные животные). И тех де гиляков до их приходу побил человек с 500 на усть Уды-реки, пришед в стругах, бородатые люди доуры (оседлые земледельческие племена монгольской группы), а платье де на них азямы (длинные кафтаны), а побил де их оманом: были у них в стругах и однодеревках в гребцах бабы, а они сами человек по сту и по осемьдесят

лежали меж баб, и как пригребли х тем гилякам и, вышел из судов, и тех гиляков так и побили. А бой де у них топорки, а сами были все в кукках збруйных (панцирях и доспехах). А русских де людей те бородатые люди называют себе братьями. А живут де бородатые люди... по Амуре-реке дворами, хлеб у них и лошади, и скот, и свиньи, и куры есть, и вино курят, и ткнут, и прядут со всего обычая с русского... И про серебро де сказывали, что у тех де бородатых людей, у даур, есть; и те де будто доуры русских людей желают видеть, для того что называюца им братьями... А сказывали те тунгусы, что от них морем до тех бородатых людей недалече, а не пошли де они к ним морем за безлюдством и за голодом, что там, сказали, рыбы в тех реках нет...

И были де у них те аманаты немногое время, всего неделю, пришед их и скрадом отбили те ж тунгусы. А приходило де тех тунгусов восемь родов, люди многие, и они де, служилые люди, в те поры в острожке были не все, только половина, а другая половина, пятнадцать человек, делали два коча... побежал было казак, который у них сидел, Дружинка Иванов, и того казака те тунгусы паллами искололи...».

Позже отряд Москвитина разделился: один коч (большая беспалубная лодка) ушел на север — до Тауйской губы, другой на юг — к устью Уды. Так были открыты для России Охотское море, Шантарские острова, Сахалин, Ангр, Удд...

Вернулся Москвитин в Ленский острог через два года с богатой добычей — одиннадцать сороков соборей для государя доставил, «головной» из них оценен был в 400 рублей. А еще томичи подробно расписали путь до Охотского моря и свои советы тем, кто отправится туда следом за ними.

Три с половиной века спустя на берегу реки Ульи в ста километрах от города Охотска дальневосточники поставили стелу с такой надписью: «Казакам Ивану Москвитину и его сотоварищам, первым русским, вышедшим в 1639 году к берегам Тихого океана, от благодарных потомков». Трудно даже бегло перечислить все походы, предпринятые томичами в пору становления Сибири. Это и к ним относится такая оценка видного английского ученого Джона Бейкера: «Продвижение русских через Сибирь в течение XVII века шло с ошеломляющей быстротой. Их успех отчасти объясняется наличием таких удобных путей сообщения, какими

являются речные системы Северной Азии, хотя преувеличивать значение этого фактора не следует, и если даже принять в расчет все природные преимущества для продвижения, то все же на долю этого безвестного воинства достанется такой подвиг, который навсегда останется памятником его мужеству и предприимчивости и равного которому не свершил никакой другой европейский народ».

В подтверждение этого достаточно привести лишь один исторический факт: ровно тридцать пять лет отделяют день рождения Томска от того дня, когда его служилые люди, вдоль и поперек пройдя всю Сибирь, вышли к берегам Тихого океана.

«ДО НАС БЫЛИ ЛЮДИ ДА НЕ СДЕЛАЛИ...»

Сотрудник английской торговой компании Джоспас Логан, «много ездивший по пути от Печоры до Оби», записал в своем дневнике, что летом 1611 года в Усть-Цилме встретил он «солдат» из Томска, «которые сожгли город и бежали оттуда по причине недостатка съестных припасов и невыплаты жалованья».

Если отбросить явные преувеличения этой записи, останется факт, не редкий для «смутного» времени: волнения томских служилых людей окончились пожаром и обычным в таких случаях побегом «смутьянов». Часть города выгорела. Пришлось его «починивать», и, судя по всему, весьма основательно.

Три года спустя Томск осадили «немирные» киргизы. Они осыпали его дождем огненных стрел. И вновь пришлось латать крепость, которая и без того успела прохудиться и «огнить». Позже Томской город еще не раз горел, а в 1643 году, как свидетельствуют историки, выгорел почти весь.

Прежде чем приступить к своим обязанностям, каждый новый первый воевода «в товарищах» со вторым воеводой и дьяком обязаны были принять у своих предшественников «печать царства Сибирского Томского города, и город и острог, и городовые, и острожные ключи, и взяв с собою городничих, итти... по городу и по острогу, и пересмотреть на городе и на роскатах всякого наряду и городовых и острожных крепостей, и слухов, и подкопных мест», принять «по наличию» казну, пушнину, порох, свинец, хлеб и прочие запасы, затем, «не мешкав», отчитаться о состоянии крепости перед Москвой.

Отчеты эти становились все более неутешительными. Они рождали все более строгие государевы указы — «чтоб всякими людьми в Томском сделати новой город, а старый весь развалился». Следом присылались деньги «на лес и на строение». Однако новые воеводы эти указы исполнять не спешили. Срок их службы не располагал к основательности — два, от силы три с небольшим года. Кому охота строить город заново, зная, что плодами своих трудов сами они не успеют воспользоваться? Куда как проще подновить «горелые, огнившие и прочие худые места, смотря по нужде».

В 1627 году томские воеводы князь Осип Хлопов и Иван Норманской, сдавая крепость «сменным» воеводам князю Ивану Козловскому и Грязному Бартенёву-Чулкову, вручили им сделанную годом раньше «Роспись Томскому городу и острогу и что на городе и на остроге наряду и в государевой казне пушечных запасов зелья и свинцу и в государевых житницах всяких хлебных запасов нынешнего 135 году сентября по день». Это единственный дошедший до наших дней столь подробный документ, дающий представление о Томске изначально. В нем точно указана длина городских и острожных стен, высота и названия башен, размеры съезжей избы и воеводских хором, количество «всякой рухляди и вооружения» (семнадцать пушек, две из которых отлиты в Томске, и припасы к ним), а также «пять знамен зеленых да одно крашеничное» и воеводский архив.

Основываясь на этой «росписи», директор Томского краеведческого музея Николай Михайлович Петров в 1967 году создал первый макет томской крепости, позволяющий зримо представить, как она выглядела в начале XVII века. Конечно, это уже не тот город, который срублен в 1604 году, ведь «роспись» составлена два с лишним десятилетия спустя, за это время он не раз горел, достраивался и «починивался», но общие очертания все же сохранил.

Еще один макетный вариант Томска изначального к 400-летию города сделал краевед Виктор Алексеевич Коковихин. Он замечателен тем, что изготовлен не из картона, а из еловых и кедровых бревнышек, искусно выточенных из древесины старых, обреченных на снос построек. Только в макет Троицкой церкви Коковихин уложил 1 200 таких бревнышек. Работа тонкая, поистине ювелирная...

Но вернемся в век XVII, к градостроительным проблемам томских воевод. В 1633 году Москва прислала сюда «на кормление» князя Никиту Егупова-Черкасского. Как и его предшественник князь Иван Татев, он получил государев указ «делать город и острог, не отписываясь к Москве». Но, как и Татев, он ограничился лишь подготовительными работами к давно намеченному строительству. А когда второй воевода Федор Шишкин напомнил ему про государев указ, остудил его пыл такими словами: «До нас де люди были да не сделали, а я со всеми людьми з городом, не хочу остужаться».

ТОМСКОЙ ДЕТИНЕЦ

Лишь десять лет спустя, при князе Осипе Щербатом, дело наконец сдвинулось с места.

Новый воевода был молод, горяч, предприимчив. По ходатайству московских бояр его чуть было не расписали воеводой в Мценск, но царь это назначение не утвердил «для того, что он молод и польских служб не знает». Пришлось князю ждать другого случая. Он представился в 1645 году, когда в Томске скоропостижно скончался его старший брат, и место первого томского воеводы освободилось. Тут уж Осип Щербатый не оплошал, сделал все, чтобы занять его место.

Прибыв в Томской город, он первым делом прибрал к рукам «колмацкий торг». Скупив через своих людей «малой ценой» мех иргизей (снежных барсов), соболей, «рыбий зуб», китайскую камку, «лутчих» коней, быков, коров, овец, он отправлял их в Енисейский, Красноярский и другие остроги на продажу «большой ценой». Для провоза товаров использовал «государевы подводы», пошлиной не облагаемые. Отбирал у служилых людей пушнину, силой менял плохих коней на «добрых». Ясак с остяков, чулымских татар и алтайцев частично «брал на себя, мимо государевой казны». Завел на воеводском дворе дубление кож и винокурение. Вымучивал взятки у ямщиков, служилых и посадских людей. Крестьянам подгородной слободы вдруг увеличил размер казенной десятины, а потом за взятку в триста рублей, собранную с них «по раскладке», свою же «бездельную корысть» отменил.

Только в 1647 году Осип Щербатый отправил в свое подмосковное имение два доверху набитых «добровольными подношениями» дощаника и полтора десятка скаковых коней. При этом мздоимцем он себя не считал. Корыстолюбие уживалось в нем с искренним желанием послужить отечеству, черствость с приступами великодушия, надменность с умением быстро и толково делать увлекшее его дело.

Таким делом стало для него строительство «города в городе», иными словами, кремля, или, говоря образно, детинца. В сентябре того же 1647 года он получил из Сибирского приказа госуда-

рево повеление перенести пострадавший от пожара в 1643 году Томской город на новое место. В отличие от предшественников оно вызвало в нем прилив энергии. Щербатый представил, как из небольшого латаного-перелатаного города на Воскресенской горе вырастает просторный величавый детинец. Пора наконец томским воеводам обзавестись своим кремлем, да таким, каких прежде на Сибири не бывало. Пора показать Москве и другими сибирским «управщикам» свое «досужество», отличиться на «живом деле».

Щербатый сразу понял, что отработками, разложенными на все трудоспособное население крепости, ему большое строительство не осилить. От сборного разнородного толпища, оторванного на время от своих прямых обязанностей, толку мало. Тут нужна артель умельцев во главе с опытным градоделом, и артель немалая – сотни этак в полторы. А чтобы каждый из этой братчины трудился в полную силу, за старания ему следует положить такой оклад, какой ему раньше и не снился. К примеру, как у самого Щербатого – 17 рублей. Уж тогда древоделы от души расстараются, такой кремль изладят, каких и в сказках не бывает... За это им придется выплатить разом «полтретьи тысячи» (2 500) рублей, а то и поболее. Откуда их взять?

А из карманов всего томского люда, вот откуда. Для этого всего-то и надо заменить строительную повинность денежными сборами. Так уже в некоторых «замосковских» уездах делается... Томской город взять. Служилых людей здесь шестьсот шесть человек. Годовой оклад у них – пять тысяч. Половину смело можно забрать в зачет отработок. С жилацких и оброчных людей (их пятьдесят восемь человек) второй годовой оброк требовать. Да с пашенных крестьян (их восемьдесят девять человек) на постройку города по девяносто две копейки с каждой десятины государевой пашни получить. Да из церковной казны запросить, сколько получится. При таком раскладе на все денег должно хватить, еще и останется. Ведь и старания самого Щербатого тоже немалого вознаграждения требуют.

Первым делом быстрый на решения воевода стал искать подходящего градодела. Атаманы указали на пешего казака Петрушу Терентьева. Дескать, мастер на все руки. Хоть и простоват с виду и служака из него не ахти какой, а в плотницком деле куда как

лучше других смыслит. Отец у него чистодеревщиком был, и он к зодческому делу с юных лет пристрастие имеет.

Переговорив с Терентьевым, воевода убедился, что тот и впрямь мастер хоть куда. Тут же велел ему собирать строительную артель. Неважно, будут ли это служилые, посадские, промышленные, гулящие, пашенные или ясачные люди, лишь бы они свое дело знали и готовы были, забыв о себе, потрудиться на строительстве детинца так, «как мера и красота им скажет».

Терентьев, всего за несколько дней превратившийся из Петруши в Петра, да еще и с отчеством, и рад стараться. В Томском городе он сто тридцать четыре плотника нанял, еще двадцать в Кузнецком остроге. Не откладывая дела в долгий ящик, составили «поручную запись» (договор найма) и передали ее на хранение казачьему голове. А уже в октябре плотники под началом Петра Терентьева первые венцы будущего кремля в землю начали укладывать.

Город ахнул: мало воеводе Щербатому тех насилий и вымогательств, которые он со своими «ушниками и шишиморами» (доносчиками и мошенниками) над «простым народишком» творит, вздумал еще и детинец вопреки обычаю не «головами» служилых и прочих людей ставить, а наймом, за деньги. Обобрал всех до нитки, чтобы плотникам наперед оклады выдать. И какие оклады! Даже самые заслуженные атаманы таких не имеют. Плотников тоже «втихоря» пощипал. Без посулов (взяток) такие дела не делаются, но разве они об этом скажут?

Долго горожане обиды на Осипа Щербатого копили, а тут их прорвало: нет больше мочи его изгони терпеть. Не так он решил новый город ставить. Не на том месте, к которому большинство «градских людей» вместе со вторым томским воеводой Ильей Бунаковым склоняются. Не в том виде, который им более привычен и менее затратен.

Щербатый и прежде со своим напарником не очень-то считался. Он – князь, а Бунаков всего-навсего мелкопоместный дворянчик с Вологодчины, вот пусть и знает свое место. Долгое время второй воевода мирился с таким к себе отношением, но наконец и его прорвало. Воспользовавшись внезапной болезнью Щербатого, он распорядился венцы, которые плотницкая артель Терентьева успела уложить в основание детинца на Воскресенской

ВО ИМЯ ГОСУДАРЯ

горе, разобрать, а вопрос, как и где новый город ставить, вынести на всеобщее обсуждение. Оно покажет, кто прав.

Однако Щербатый отступать не привык. Напротив. Превозмогая нездоровье, он начал действовать. Не дожидаясь, когда Бунаков соберет заявленный им мирской сход, поспешил собрать у Троицкой церкви своих приспешников, да не как-нибудь, а с молебном и душеподъемными речами. Затем, опираясь на эти речи и этот молебен, велел Петру Терентьеву вновь приступить к строительству детинца — на том же самом месте, но теперь не в нарушение «земской правды», а «по совету с грацкими людьми» и по составленной ими «грацкой скаске».

В Соборном уложении тех лет (глава II, статья 22) сказано, что законное челобитие (жалоба) на насилие воевод не является «скопом и заговором»; право на него имеют ясачные, пашенные, посадские и служилые люди вплоть до детей боярских, а тем, кто будет представлять такое челобитие бунтом, следует учинять суровое наказание. Пользуясь этим правом, пашенные крестьяне Спасского и Томского подгородных полей в феврале 1648 года решили бить челом о своих бедах государю Алексею Михайловичу. А отправлять челобитные через приказную избу положено. Мимо нее дороги на Москву нет. Вот и пришли они к первому воеводе. О том, как он их принял, повествует вторая челобитная, которую отправил месяцем позже в Москву по их «плачу» Илья Бунаков:

«И мы, государь, сироты твои, от ево, князь Осиповы, изгони до конца обнищали и в съезжей избе тебе, государю, подали челобитную о своих нуждах и ему, князю Осипу, били челом. И он, князь Осип, тое челобитие принял, и вычел, и изодрал, и кинул под ноги, и учал топтать ногами. А нас, государь, сирот твоих, из съезжей избы велел вон выбить. И мы, государь, сироты твои, ему князь Осипу, били челом, чтоб отпустил от нас челобитчика по своим нуждам, бити челом к тебе, к государю, к Москве. И он, князь Осип, тех наших челобитчиков к тебе, к государю, к Москве, не отпустил. А говорил так: «Я де здесь не Москва ли?..»

А еще в Соборном уложении каждому давалось право на «государево слово и дело» против изменников, наносящих вред царскому имени и всему государству своими «зловредными деяниями». Этим правом и воспользовался бывший патриарший стольник Григорий Плещеев-Подрез, сосланный из Москвы за мошенническую игру в зернь, торговлю запрещенным «колмацким шаром» (табаком), «винишком и продажными жонками». В Томском городе он свои «воровские замашки» не бросил, а еще больше погряз в «корысти и блуде». По требованию жилацких людей, обманутых Подрезом, Осип Щербатый «вкинул» его в тюрьму. А тот, зная, что недовольство томичей первым воеводой достигло точки кипения, решил объявить на него «государево слово и дело». Глядишь, своя вина как с пострадавшего от «изгони и самодурства» князя Щербатого с него и снимется.

Через одного из тюремных приставов Подрез передал на волю, что готов прилюдно выступить с «государевым заводным делом» на «воровского воеводу». И не где-нибудь, а непременно у приказной избы.

Весть об этом тот час разнеслась по городу. И вот 12 апреля 1648 года у съезжей избы стали собираться конные и пешие казаки, посадские и торговые люди не только из томской, но и енисейской, красноярской, кузнецкой, нарымской, сургутской крепостей.

А дальше, как «отписали» впоследствии государю очевидцы этих событий, «учинилось» вот что:

«И воевода князь Осип Щербатой с товарищи послал к нему, Подрезу, денщиков, и велел ему быть к съезжей избе. И он прискакал на лошади и, скоча с лошади, прибежал на крыльцо. А воеводы в то время стояли на крыльце. И он, Подрез, ухватился за нож, хотел воеводу князя Осипа Щербатого резать. И наша братья, мы, холопы твои, отнели — не дали резать».

Поведение Подреза до крайности возбудило собравшихся на площади у съезжей избы. Сторонники князя Щербатого, видя, что они оказались в явном меньшинстве, «лаяли» проходимца Гришку Подреза «непригожими словами», но делали это с оглядкой, вполголоса. Противники князя, напротив, одобряли и под-

зуживали возмутителя спокойствия, забыв на время, что сами от Подреза еще недавно стонали. Ненависть к Щербатому слепила их, мешала сдерживать себя. Еще больше они возбудились, когда Подрез начал обличать первого воеводу. Тут они и вовсе перестали сдерживаться, особенно казаки во главе с Васькой Мухосраном, прозванным столь обидно и «непригоже» за свой вздорный надоедливо-прилипчивый характер. Их поддержали дети боярские Федор Пуцин (тот самый, что в 1632 году ходил на Бию и Катунь казачий острожек ставить), Юрий Едловский, Михаил Яроцкий и Василий Ергольский, а также пятидесятник Иван Володимерец.

Сторонники князя Щербатого опишут впоследствии события этого дня весьма зримо: «Васка Мухосран, Фетка Пуцин... с товарищи почали нас... бить ослопьем и усечками городовыми. И били перед съезжено избою нас... Васку Старкова, атаманишка казачья Ивашка Москвитина (снова исторические фамилии), да конных казаков десятника Пospела Михайлова».

Итог событиям того дня подводит еще одно свидетельство:

«В Томском городе учинилась смута большая, воеводе князь Осипу Щербатого томский сын боярский Фетка Пуцин да пятидесятник Ивашко Володимерец с товарищи своими скопом и заговором отказали и в съезжую избу ездить ему не велели. И ныне де воевода князь Осип Щербатый сидит от них в осаде, никуда з двора не ездит».

Власть в городе перешла ко второму томскому воеводе Илье Бунакову, дьяку Борису Патрикееву и мирскому кругу во главе с зачинщиками бунта. Приказную избу они тот час перенесли из города на посад, в дом конного казака Девятки Халдеева, «взяли на себя» государевы погреба, посольский двор, таможенную, тюрьму, аманатскую избу, все казацкие и посадские службы. Самых зловердных сторонников князя Щербатого во главе с Петром Сабанским (это он в 1633 году первым вышел со своим отрядом к Телецкому озеру) в темницу упрятали. Повольничали, и будет! Пусть посидят, пока государевы люди с лихоимствами первого воеводы разберутся. А чтобы все было «по закону», новое правление постановило челобитчиков в Москву к государю Алексею Михайловичу отправить. Пусть знает, что «всех чинов томские люди» для того князя Осипа Щербатого от воеводства отстранили, чтобы он здесь не «государился», царское имя своими «неправ-

дами» не пятнал. А если что-то не так сделалось, то пусть государь Алексей Михайлович не судит строго своих холопей, а поправит их великодушно, велит разобраться во всем по справедливости.

За челобитными от крестьянской общины, казачьего круга, посада, князьков и мурз одиннадцати ясачных волостей дело не стало. К ним решено было приложить извет (допросные речи) Григория Подреза и челобитную от имени томичей всех сословий «за их руками» (с подписью каждого). Собрать подписи от правили новых подьячих с казаками.

Обойдя посад, они и на Воскресенскую гору к строителям дестинца завернули. Здесь кипела работа. Вот уже пять месяцев она не прекращалась ни на один день. Так поставил дело Петр Терентьев: что бы ни происходило вокруг, оно страдать не должно. Договор найма, отданный на хранение казачьему голове, не простая бумажка, это совесть мастеровых людей. Воеводы приходят и уходят, а сотворенное душой и даром божьим долго еще будет людям служить, глаз радовать, душу...

Глянув на башни и тарасные стены, которые плотники уже успели поставить, посыльные Бунакова и его советников поневоле замерли: лепота! Новые башни куда как выше и приглядней прежних. И стены не из отдельных срубов-городен составлены, а сплошным прясом рублены. Нижняя половина бревнами забрана, верхняя открыта. На тарасы (ячейки) их поперечные перерубы делят. Те же городни получают, но прочно между собой сцепленные. От этого у них и вид другой, более узорный и внушительный.

Полубовавшись работой плотников, посыльные вспомнили, зачем пришли. Ну, конечно, за подписями.

Начали с уставщика артели Терентьева.

Под общей челобитной, пусть и нехотя, он свою закорючку поставил, а под изветом Подреза поначалу отказывался. Уж очень Гришка человек негожий. Даже если он прав, рядом с ним быть не хочется. Однако под нажимом посыльных написал: «к сем воровским речам руку приложил». А надо было: «к сем расспросным речам...».

Те возмутились:

– Да ты никак пособник Щербатого? Или умишком не тверд? Глянь, какую бумагу испортил.

— Я не нарочно, — заоправдывался Терентьев. — Худенько пишу, вот и прошибся.

— Сказал бы лучше: дружа князю, прошибся.

— Я другое скажу, — огрызнулся градодел. — Коли князь плох, то и смятение, которое вокруг него поднялось, не лучше...

Слово за слово, и вот уже посыльные его на тюремный двор ведут, а тюремщик в кандалы, будто государственного преступника, заковывает.

Больше недели Терентьев в темнице просидел. Допрашивать его приходили холоп дьяка Патрикеева и новый подьячий. Ничтожные людишки. Пытками стращали, взятку в сто рублей вымогали и «правильную» подпись под изветом Гришки Подреза. Пришлось уступить, ведь пока он в «заклёпе» сидит, ставление детинца на Воскресенской горе не движется. Правда, взятку удалось понизить до пятидесяти семи рублей, зато на прощание «супостаты» Терентьева выпороли: дескать, пусть знает, какова новая власть.

«Тоже мне, власть, — мысленно ругнулся Терентьев. — Правильно говорят: один вор всему миру разоренье... Вот я на Патрикеева и его прихвостней государю челобитную подам, чтобы им впредь неповадно было»...

Отлежавшись дома после тюремной порки, он вернулся к своим обязанностям. Плотники встретили его радостно: заждались! Без уставщика дело застопорилось. Дождаясь его, они решили ни к лагерю Бунакова — Пущина, ни к лагерю Щербатого — Сабанского не примыкать. Дело превыше всего!..

Тем временем мирской круг отправил в Москву своих челобитчиков во главе с Федором Пушиным и десятником Семеном Поломошным, а в Кузнецкий, Енисейский, Красноярский и Нарымский остроги послали грамоты тамошним казакам и пашенным крестьянам. В них говорилось:

«Из Томского города пошли бити челом праведному государю тридцать человек служивых людей, а пашенных два человека, оброшных два человека, и тотар два человека, а остяков восемь — бити челом на князь Осипа Ивановича Щербатова. И вам какая изгоня от ваших воевод, и вы бейте челом на них с советниками всеми государю. И будет вас не станет отпущать воевода бити челом государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси, и вы ссылайтесь на Томской город: есть в Томском городе госуда-

рева грамота блаженные памяти царя государя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси за веслою печатью, и та грамота указывает на Томский город и на пригоротки, и та грамота лежит у Богоявления в казне у старосты. И будет какая изгоня от воевод, и вам бити челом государю всех чинов люди. И которые у нас в Томском ево советники бунтовали князь Осипу Ивановичю на весь город и на всех чинов людей, и тех ево советников миром перебили и в тюрьму пересажали, Петра Сабанского с товарищи, дватцать два человека. И будет вы ноне не поедите бити челом ко государю, и вам такова времени не дожидаться, и детям вашим. И прочесть та грамотка на площади».

По меркам правительства, это был бунт, а по меркам тех, кто его возглавил, «глас народный». Не против государя они поднялись, а во имя государя, не бунтовать, а утраченный при воровском воеводе и его пособниках порядок навести. И они стали его наводить, ни времени, ни сил, ни себя не жалея.

Много острых вопросов разом встало перед мирским кругом. Ну как, например, с плотницкой артелью Петра Терентьева быть? Распустить, а на ее место, как прежде, отработчиков согнать? — Поздно. Деньги за работу древоделам вперед уплачены и детинец на Воскресенской горе наполовину срублен, да такой, что любо-дорого посмотреть — «шапка сама с головы падает, когда на него любуешься». Отработчики так сделать не сумеют. О месте, где детинец большинство «градских людей» хотело поставить, и говорить нечего — его теперь не изменишь.

С другой стороны, служилых людей, с которых жалованье за минувший год на поставление детинца Щербатый удержал, нельзя обижать. Челобитчикам, посланным в Москву, оно из городской и церковной казны уже выдано. Остальным придется недодачу за счет «животов» (имущества), взятых при аресте у «загребущего князя» и его «прихлебаев», восполнять. Долг платежом красен. За ними на очереди пашенные крестьяне, жилецкие и оброчные люди. Они от найма плотников куда меньше пострадали, но и они правды мирской ждут.

Другая беда — воровская перекупка хлеба нарымскими и прочими торговцами, завышение цен на муку и овощи. Распустил Щербатый своих заворуев — дальше некуда. Пора им укорот дать, чтобы низы от вечных поборов хоть немного вздохнули.

По жалобам крестьян на место приказчика Василия Старкова, «хапуги и притеснителя», мирской круг поставил двух выборных казаков-«справедливцев», сократил размер десятинной пашни, отменил многие «изделия» и повинности посадских и ясачных людей, стал наводить порядок на «колмацком торге».

А в городе мирской круг караулы спешно усилил, прежде всего у дворов Щербатого и Сабанского, у зеленого (порохового) погреба, пушных, соляных и хлебных складов, а в предместье послал дополнительные заставы и сторожевые разъезды. Им велено «беглых, торговых, и промышленных, и гулящих людей, и рыбных ловцов с неводы и з сетми асмаатривать, чтоб ис Томского города без отпуску и без проезжих и без воеводские печати никто не проезживал».

Не стали на этот раз новые городские власти томичей на службу в енисейские земли и на реку Лену отправлять, выдали «подгородным» крестьянам и посадским людям пищали, чтобы в случае нападения им было чем обороняться, отправили в Тобольск за хлебным и денежным жалованьем несколько дощаников, а в Москву собранную с ясачных людей пушнину и еще немало дельных текущих распоряжений сделали...

По душе томичам пришлись такие перемены. По-другому стали они смотреть на казацких вожаков, в том числе на Ваську Мухосрана. Оказалось, не такой уж он никудышный, как считалось прежде. Быстрый, смекалистый, за любое дело берется с охотой, наравне с другими. И сапожник отменный. Всем, у кого обувь прохудилась, «задаром» ее починивает. Оттого и появилось у него второе, «человеческое», имя – Васька Сапожник.

А вот к Бунакову уважения не прибавилось. Он хоть и первый воевода теперь, но очень уж несамостоятельный. Делает все, как «мирские советники» ему скажут, но с оглядкой, с оговорками, боязливо. Вестей из Москвы от Федора Пущина ждет, чтоб под то решение подстроиться, которое там вынесут.

А Петр Терентьев не стал ждать. Составил он, как и намеревался, явку (жалобу) на тех, кто его под изветом Подреза и общей челобитной государю заставил «руку приложить», а после в тюрьме «без дела» держал, из-за чего работы на ставлении детинца более недели не велись. Про взятку людям дьяка Патрикеева тоже написал, просил взыскать с них 57 рублей, когда «дело откроется».

Вместе со своим артельщиком явку подписали плотники Лука Пичугин и Петр Путимцев. Один ее список (копию) они передали на хранение в Благовещенскую церковь, другой – находящемуся под домашним арестом князю Щербатому, чтобы тот переправил ее в Москву. Но явка попала в руки Бунакова. Пичугину было назначено «с полтора ста ударов да семь стрясок» и «три стряски» Терентьеву. Что это было за наказание, в документах не сказано, но, судя по тому, что после него градодел долго «обмогался», оно было весьма жестоким.

Однако и на этот раз, «одыбавшись» после пытки, Терентьев поспешил на Воскресенскую гору. О чем он тогда думал, нам не ведомо. Возможно, о том, что все на свете преходяще – боль, людские раздоры, поиски справедливости, сроки человеческой жизни... Но что-то ведь и останется. Может быть, вот этот детинец с его непростой судьбой. Кого-то он защитит, кого-то поразит своим ладом, одухотворенностью, а кого-то подвигнет к мысли о вечном. Ведь для одних семь башен Томского кремля – это образ силы, могущества, неприступности, для других – храмы божии, для третьих – мастерство, воплощенное в строениях из певучих бревен. Жаль, что не каждому дано услышать их песнь...

В июле скоропостижно скончался обидчик Терентьева и Пичугина дьяк Борис Патрикеев. Плотники восприняли это как возмездие за свои муки.

«СТОЯТЬ ВСЕМ ЗАОДНО»

Глубокой осенью, когда плотницкой артели Петра Терентьева только и осталось бойницы «на городских воротах, на притворах и на стенах» детинца прорубить, стали доходить на Томь поразительные вести. Если верить им, то в Московском государстве, как и в Томском городе, «учинилось от стрельцов и от черных людей большая шатость, и многих государевых бояр, и окольных, и думных дьяков, дворян московских и стольников, и стряпчих побили и дома их разграбили... И на Москве де государь сам выходил на Лобное место, упрашивал у черни чтоб ево ближнего боярина Бориса Морозова не убили. И для тово ево, Бориса Морозова, велел сослать на Белоозеро».

Следом пришли вести, которых в Томском городе особенно ждали:

«А как де приехали к Москве челобитчики, Федька Пущин с товарищи, в самое смятение, как всколыбался чернь на бояр, и их де, Федьку Пуштина с товарищи, роспрашивал государь сам и жаловал де их сукнами да дорогами, и дано де им государево жалованье, корм большой и выход».

Возликовали томские низы. Значит, не только они на своих заворуев ополчились, но и Москва, и Великий Устюг, и Чердынь, и Соликамск, и другие российские города, а в Сибири Нарым «встрепенулся». До того дело дошло, что сам царь Алексей Михайлович на Лобное место вышел и правду обиженного люда признал, а после томских челобитчиков государевым словом и «большим кормом» пожаловал. Коли он любимого своего боярина Морозова не пожалел, то за князя Щербатого и вовсе держаться не будет. Пора «воровскому воеводе» в ссылку собираться, ох, пора! Неповадно ему там кричать будет, что томские казаки «хотят Дон заводить вверх по Оби-реке и вверх Бии и Катунн». Они его уже здесь завели...

Однако рано «обнадежились» сторонники мирского круга. Сделав немало уступок по жалобам томичей, касавшихся жалованья, отработок, пошлин и других подобных вопросов, Сибирский приказ прислал с Федором Пушциным распоряжение: назначить

новыми томскими воеводами князя Михаила Волынского и Богдана Коковинского, а до их прибытия, забыв все распри и самовольства, «досиживать» Осипу Щербатому в товарищах с Ильей Бунаковым. Любая попытка воспротивиться этому решению будет строго наказана.

Понимая, что возвращение во власть Осипа Щербатого может встретить сопротивление мирского круга, составители государственного указа вписали в него еще несколько пунктов. Речь в них шла о том, что по требованию служилых и градских людей суд над Щербатым непременно состоится. Предварительное следствие приказано провести новым воеводам. Иски собрать и отправить для сохранности в Тобольск, Григория Подреза арестовать, Петра Сабанского и других, задержанных «по дурости» Бунакова, освободить. Все должно быть по закону, коли они «во имя государя» поднялись.

И снова томский люд «всколыбался». Как писано в одной из челобитных того времени: «Илья Бунаков и многие томские казаки, выслушав тот твой государев указ, тому твоему государеву указу учинились ослушны: сказали, что де им у нас, холопей твоих, у Оски, под судом никакими мерами не быть, а быть у них начальным человеком Илье Бунакову; а Петра де Сабаньскова с товарищи ис тюрьмы им не выпускать, побьют де ево, Петра Сабаньскова с товарищи, до смерти и в воду помечают; а Григорья де Подреза Плещеева в тюрьму они посадить не дадут... и старую приказную избу не распечатают».

Федор Пущин и другие челобитчики, ездившие с ним в Москву, вернулись в Томской город в апреле 1649 года, а уже в июне вновь отправились к государю. Следом «по тому же делу» поспешили семь казаков во главе с десятником Аггеем Чижовым. Они везли челобитную, которую нельзя не процитировать:

«Как, государь, изначала после Ермакова взятая Сибирь стала и твои государевы многие сибирские города и Томской город поставлен и прежде, государь, Томсково и в Томском городе отцы наши и братья и мы, холопы и сироты твои, и детишка наши служили бывшим государям царям... лет по тридцати и по сороку и по пятидесять и больше... И многие, государь, города и остроги в Сибири после Ермакова взятая поставили своими головами и многия немирные орды под твою царскую высокую руку при-

водили и твое государево цареву крестное целованье исполняли... А ныне, государь, мы, холопи и сироты твои, не ведаем, за какую нашу вину и прослугу он, князь Осип... с своими с советники с Петром Сабанским с товарищи, умышляючи своими заводными умыслами, завели и писали к тебе, государю, на нас, холопей и сирот твоих, многое воровство и измену и многие воровские затейные статьи... А прослуги, государь и измены и шатости никакие в нас преж сего не бывало. Да и впредь, государь, мы, холопи и сироты твои... рады служить и прямити своими головами... Возри, государь, помазанник божий, своим праведным милосердием, вели, государь, нас, холопей и сирот своих, от ево, князь Осиповы, изгони и насильства оборонить».

Прежде всего эта челобитная дает почувствовать гордость томских служилых людей за дела отцов своих, соратников и последователей атамана Ермака, преданность Отчизне, которая благодаря и их трудам приросла и продолжает прирастать Сибирью. Однако есть в этой грамоте и не менее важный подтекст. Томичи знали, что Ермак со своей дружиной «самовольно» перешел Уральские горы и «страхнул» Кучум-хана с Сибирского царства, которое тот захватил уже после того, как оно стало «за спину Москвы». Иван Грозный тогда это «самовольство» Ермаку простил. Так неужели Алексей Михайлович не простит томичам смещение князя Щербатого, который повел себя не лучше коварного Кучума?..

Увы, до царя эта челобитная так и не дошла, хотя в его руках и побывала. О том, как это случилось, повествует рассказ одного из участников тех событий:

«И назаутре был ход праведному государю к Миханлу архангелу, и подал челобитную государю на Красном крыльце Кузьма Мухостран (брат Васьки Мухосрана-Сапожника) и бил челом государю изустно. И тут боярин Алексей Никитич Трубецкой (глава Сибирского приказа) за то воскручинился, велел ево, Кузьму, взять стрельцам, да свести в тюрьму, да и всех нас за то велел в тюрьму посадить. И мы ныне сидим в темнице, посажены в Дмитриевскую субботу (20 октября 1649 года), помираем голодной смертью, а житью своему конца не ведаем».

Откуда им было знать, что уже 8 августа в Томской город прибыли новые воеводы и, приняв по росписи город и острог у своих предшественников, отпустили Осипа Щербатого «к Москве»?

(Шестнадцать месяцев провел он под домашним заточением.) Не могли они знать и того, что на сей раз Илья Бунаков подчинился воле Сибирского приказа и этим противопоставил себя мирскому кругу, что в Москву уже ушло сообщение о том, что за прежнее неповиновение он бит на тюремном дворе кнутом. На самом деле заменивший его на посту второго воеводы Богдан Коквинский (его сестра была замужем за братом Бунакова) велел поднять свояка на козлы и «бить притворно»...

Следствию и сыску по делу о злоупотреблениях Осипа Щербатого и правда был дан ход, но длились они так долго и вяло, так хитроумно, что на судьбе князя никак не отразились. Уже вскоре он попал в свиту царя, затем был назначен головой государева полка, еще позже получил думный чин окольничего, возглавлял кремлевский гарнизон, а под конец жизни стал первым воеводой Архангельска.

Это и понятно. Своих людей любая власть старается не сдавать — ей ведь надежная опора нужна. Однако, судя по всему, Осип Щербатый отличался не только алчностью, но и творческим честолюбием, редкостной энергией и государственной сметкой. Подтверждение тому — его послужной список и томский детинец, возведенный во многом его стараниями. Князь заслуженно гордился им. Сообщив в Москву, что новый город с божией помощью в октябре 1648 года поставлен, он не удержался и добавил:

«И такова, государь, города образцом в Сибири... нет».

Образцом, значит, основательностью, конструктивными соображениями и красотой.

О том, как выглядел Томский кремль, сегодня можно судить только по археологическим раскопкам на Воскресенской горе да по картинам художников И.Х. Берхана и И.В. Люрсениуса, участников второй Камчатской экспедиции. Но то, что это было великолепное по мастерству замысла, качеству работы и воплощению сооружение, следует из «Описания Томского уезда», которое в 1734 году составил знаменитый историк и путешественник профессор Российской академии наук Герард Миллер. По его мнению, при небольшом ремонте эти укрепления могли бы и дальше «выполнять свое назначение». Так оно и случилось. Томский детинец прослужил еще полвека.

Благополучно сложилась и судьба Ильи Бунакова.

Во время войны с Польшей он служил в государевом полку, начальником которого одно время был его «супротивник» князь Щербатый. Помирились они или нет, история умалчивает.

Григорий Подрез в прежнем чине сына боярского был отправлен служить в Якутский острог, но «за оскорбление памяти государя Ивана Грозного и похвальные высказывания в адрес поляков» вскоре разжалован в рядовые казаки и переведен в Ангарский острожек. Оттуда сослан в Енисейск, где и окончил жизнь в тюремном «заклёпе».

Что касается «мирских советников» Бунакова и самых деятельных участников томского бунта, то многие из них в ходе следствия и сыска на князя Щербатого были признаны виновными, «биты на козле и в провотку кнутом нещадно». Однако и после этого они не смирились.

«А вам бы, братцы господа наши, стоять всем заодно, — призывали они служилый и тяглый люд. — А нас, братцы атаманы молотцы, не покиньте. А мы стоим в правде за весь город, хоть велит государь и перевешать, в правде бы умереть... А за тем вам, господа наши, много челом бьем, здравствуйте о Христе».

А плотницкая артель градодела Петра Терентьева до новой «государевой надобности» растворилась среди казаков и стрельцов, посадников и пашенных крестьян, ясачных и гулящих людей. Их дело простое — «чудеса заживо творить». Чаще всего безымянно.

«ГДЕ БЫТЬ ПРИСТОЙНО ГОРОДУ...»

Этот вопрос, ставший одним из вулканических толчков к бурным событиям 1647 года и последующих лет, в конце прошлого столетия породил другой, не менее острый: где именно построен Томск изначальный?

— Как где? — удивится подавляющее большинство томичей. — Ну, конечно, на Воскресенской горе. Где же еще?

Однако кандидат (в ту пору), а ныне доктор исторических наук профессор кафедры археологии и истории Томского государственного университета Мария Петровна Черная в этом засомневалась. И не случайно. Ее внимание привлекли государев указ и «градская скаска», согласно которым князю Осипу Щербатому и Илье Бунакову велено было «перенести Томской на новое место». А поскольку таким местом после ожесточенной борьбы воевод стал южный мыс Воскресенской горы, то у Марии Петровны и возникло желание узнать, действительно ли город был перенесен или нет.

Начиная с 1983 года она как преподаватель археологии ряд лет вела со студентами и специалистами своего факультета раскопки на месте томского кремля (детинца), построенного плотницкой артелью Петра Терентьева, а затем достроенного не только в дереве, но и в камне другими мастерами, и не обнаружила под его остатками «культурные напластования с руинами первой половины XVII века». Зато нашла следы «татарского могильника».

Вот и задумалась Мария Петровна: а могли ли первостроители Томска, не посчитавшись с «погребальным памятником зуштинцев», разместить на этой «удобной, выгодной площадке город»? Ведь такой шаг наверняка восстановил бы местное население против русских, привел к вооруженному конфликту.

Постепенно, как это обычно бывает у научных работников, поглощенных поиском истины, Мария Петровна стала находить и другие, не менее убедительные, на ее взгляд, доводы тому, что первоначальное местоположение города еще ждет своего

открытия. Их она изложила сначала в газетных и научных публикациях, а затем в содержательной исследовательской книге «Томский кремль середины XII-XIII вв.: проблемы реконструкции и исторической интерпретации» (издательство ТГУ, 2002). Доводы М.П. Черной вызвали бурную дискуссию не только в научных кругах, но и среди томичей, влюбленных в свой город. Ведь все новое, неординарное привлекает внимание, заставляет глубже вникать в те или иные события, сравнивать факты, точки зрения, делать свои выводы и обобщения.

Сейчас, когда страсти вокруг выдвинутой Марией Петровной версии улеглись, полезно вернуться к ней и продолжить начатый ею разговор.

Итак, существует несколько точек зрения. Согласно одной, Томск построен на Воскресенской горе. Согласно другой – там построен «новый город» (кремль), а местоположение Томска изначального до сих пор неизвестно. Но есть и третье, объединяющее два первых мнение. Его сформулировал еще Г.Ф. Миллер. В его «Описании Томского уезда» сказано:

«В настоящее время город Томск состоит в первую очередь из маленькой деревянной крепости... А та крепость, которая стояла до этого времени на том же самом месте, была построена в 7112 г.» (то есть в 1604-м).

Мне кажется, заблуждение М.П. Черной заключается в том, что государево повеление Щербатому и Бунакову «перенести Томской на новое место» она восприняла очень уж буквально. Русский язык, как никакой другой, богат смысловыми оттенками. Читая грамоты, отписки, челобитные и прочие документы «стародавних времен», убеждаешься в этом на каждом шагу.

Вот и слово перенести весьма многозначно. В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля приведены такие его значения: переместить, переменить, перебраться и другие. Если в государевом указе заменить слово «перенести» на «переместить» или «сдвинуть», смысл его заметно изменится. Ведь сдвинуть что-то можно только на новое место, не обязательно меняя при этом основные географические границы.

Такое прочтение вполне согласуется и с приведенным выше свидетельством Миллера. Его слова «на том же самом месте» тоже

не следует понимать буквально. Что он имел в виду, разъясняет такое его описание:

«При сей реке (Томи) занято на город место на правом или на восточном берегу оныя... где находится знатной вышины пригорок, по которому сие место строители перед прочим способно показалось. Они построили с речной стороны, где всход на сей пригорок всех других мест круче, по тамошнему обыкновению небольшую деревянную крепость».

Один из доводов Марии Петровны Черной в пользу ее версии сводится к тому, что ни в «Росписи Томскому городу и острогу» за 1627 год, ни в других аналогичных источниках нет точных топографических координат, иначе говоря, «пространственной ориентации», которая бы указывала на «локализацию» Томска изначального. Однако в летописном своде «Книга записная» такая пространственная ориентация, по-моему, присутствует:

«Во 109... поставлен Томской город острогом на Томе реке, вверх на Оби реки, на горе над Ушайкою речкою».

Разве это не географические координаты – гора в междуречье Томи и Ушайки? Ведь над Ушайкой при ее впадении в Томь нет другого такого высокого и крутого «пригорка», как мыс Воскресенской горы. На мой взгляд, разночтений здесь быть не может. А вот дата основания Томска из «Книги записной» разночтения вызывает.

109, а точнее, 7109 год от сотворения мира соответствует 1601 году от Рождества Христова. Дата эта в «Книге записной» указана ошибочно. Такие случаи в исторических источниках не редки. Однако, по мнению М.П. Черной, именно в 1601 году во время «официальной дипломатической миссии с участием В.Ф. Тиркова» был построен «временный укрепленный острог, а затем в 1604 году постоянный государев город». При этом она ссылается на ту самую публикацию новосибирского ученого Б.П. Полевого, о которой рассказано в главе «Исторические фамилии». Но о строительстве «временного укрепленного острога» в ней речи не идет. Да и трудно представить себе, как мог это сделать небольшой посольский отряд из Тобольска, посланный «в Томь через Тару ко князям и к мурзам с государским жалованьем с милостивым словом», то есть с единственной целью – установить деловые (дипломатические) отношения с Эуштой. В других исторических

источниках есть упоминание о том, что еще до основания Томска в землях Эушты было построено русское зимовье, но и оно ничем не подкреплено. Ссылки на них не проясняют, а еще больше запутывают вопрос о первоначальном местонахождении Томска.

Что касается археологических раскопок, которые проводились под руководством М.П. Черной, то они дали много интересных наблюдений.

«Обруб Томского кремля середины XVII века, — читаем в ее книге «Томский кремль», — был полностью впущен в материковую толщу мыса... Комбинированное решение, позволившее создать простую и вместе с тем мощную конструкцию, сочетавшую в себе функцию обруба и фундамента, обеспечило укрепление кремля запасом прочности по меньшей мере на 120–130 лет и показывало высокую культуру инженерной мысли русских зодчих».

Из этого следует, что еще до 1678 года, когда томский воевода «князь Петр Княж Лукин сын Львов около Томского города обруб сделал» (то есть укрепил бревенчатым срубом нижнюю часть крутого склона Воскресенской горы; это и дало название первой томской улице — Обруб), основание Томского кремля-детинца также было сделано обрубом.

К сожалению, за минувшие столетия «знатной вышины пригорок» во многих местах обрушился, унеся с собой следы былых построек. Об этом пишет и автор книги «Томский кремль»: «Юго-западный и западный склоны мыса претерпели наиболее значительные изменения: сегодня западная граница мыса проходит на 20–30 метров восточнее первоначальной».

В 1858 году на «оголовке» Воскресенской горы было построено здание полицейской управы. Ныне в нем располагается Музей истории Томска с обзорной вышкой. Коммуникации этого здания, довольно основательно углубленные в твердь холма, также нарушили структуру его «культурных напластований». Если учесть это и трудности раскопок в центре города в крайне усеченные сроки летних студенческих практик, то выводы об отсутствии на Воскресенской горе следов Томска первоначального вряд ли могут считаться окончательными.

Вот и с «татарским могильником» не все так однозначно. На плане Томского города, который по «Росписи...» 1627 года вместе с макетом сделал Н.М. Петров, юго-западная часть мыса

Воскресенской горы, там, где находились захоронения знатных эуштинцев, не застроено. Западная стена крепости прошла рядом. Думается, не случайно. Скорее всего, это компромиссное решение первых томских воевод Писемского и Тыркова, связанное с сохранением могил. А вот при Щербатом и Бунакове площадкой для «нового города» стал весь мыс. Мария Петровна объяснила это так:

«По мере все более тесного окружения городской застройкой южный мыс Воскресенской горы утрачивал для аборигенного населения функцию древнего погребального места предков, освященного памятью потомков, да и сама память исчезла тем быстрее, чем скорее укреплялся и разрастался русский центр».

А ведь спор между Щербатым и Бунаковым, «где быть пристойно городу», мог разгореться отчасти и из-за этих погребений. Вопросы межнациональных отношений, сохранения памяти предков во все времена были и остаются одними из самых острых, взрывоопасных.

Конечно, книга М.П. Черной гораздо шире той полемики о месте основания Томска изначального, которая с ней связана. Она открывает читателям одну из наиболее драматических страниц томской истории, ставшую в то же время и вершиной зодческих свершений своего времени.

Большое место уделено в ней исследованию рисунков Томского города, сделанных выдающимся сибирским историком, картографом, летописцем, строителем Тобольского кремля Семеном Ульяновичем Ремезовым (1642–1720). Простой казак, выбившийся своими трудами в дети боярские, он создал первые сибирские атласы и карту Сибири.

«В «Чертежной книге Сибири» Ремезова, — пишет М.П. Черная, — Томск изображен в виде семибашенного города-кремля, соединенного общей стеной с острогом, в остроге показана единственная воротная башня, встроенная в северную стену, по обе стороны от которой с внутренней стороны острога расположены дополнительные укрепления, окруженные полукольцом стен, — своеобразные внутренние бастионы, предназначенные для обороны въезда в острог... Город-кремль, острог-посад и внутренние бастионы обнесены стенами одного типа, изображенными вертикальной штриховкой, отличие состоит только в том, что восточная и западная стены кремля имеют крышу, показанную

в виде контура, идущего над стенами. Площадь кремля примерно в 1,5 раза больше площади острога».

На основании сравнительного анализа автор делает вывод, что «в атласах С.У. Ремезова воспроизведен Томский город, построенный в 1648 году и благополучно доживший до конца XVII века». Так и хочется добавить, перефразируя слова Г.Ф. Миллера, что вырос он на Воскресенской горе из Томска изначального.

ДЕРЖАВЦЫ

Основский острог в Среднем Притомье выпало ставить вчерашним друзьям-недругам Дмитрию Копылову и Юрию Едловскому.

С атаманом Копыловым в этом повествовании мы уже встречались. Это его отряд в 1638 году срубил на Алдан-реке Бутальский острожек, один из первых в «стране Тунгусии». Это его соначальник Иван Москвитин «с товарищи» год спустя разведал путь к Охотскому морю. К этому следует добавить, что был Копылов не только отважным землепроходцем и умелым строителем, но и опытным дипломатом. Как посол Томского стола побывал на Алтае и в Братской земле (Бурятия), у Алтын-хана монгольского и «Богдойского царя» (Даурия).

Немало похвального можно сказать и о Юрии Едловском. Сын ссыльного казака «литовского списка», службу свою он начинал в Томском городе. Отличился во многих ближних и дальних походах. Основал в Притомье пашенное село Иткаринское. В одной из челобитных, писанных его рукой, читаем: «Досяг тех мест, где преж меня никто не бывал... Ходил з добром, а не с войною и не з боем». Так вот и «вышел в пятидесятники». А затем, в одно с Копыловым время, чин сына боярского получил, иными словами, попал в сословие мелких служилых дворян. Однако в жизни того и другого это мало что изменило. Оба дорожными ветрами и боевыми ранами иссечены, палящим сибирским солнцем и жгучими морозами обожжены, общими заботами связаны. Некогда им было дворянствовать, потому как душа на верную службу Московскому государству настроена. Разве что обязанностей у них заметно прибавилось.

Так бы и служить им рука об руку, если бы «воровской воевода» Осип Щербатый не восстановил против себя томских людей всех сословий, а те ему «от государских дел» не отказали. Копылов не раздумывая поддержал опального князя, скорее всего, по слову «Кому служу, тому и дружу». А Едловский, воспитанный в духе западного свободомыслия, встал на сторону мирского круга.

Началось долгое и ожесточенное с обеих сторон социальное противостояние, не раз сопровождавшееся насилием. То Копы-

лов был жестоко сечен на козле восставшими, а его семейство подверглось грабежу и разбою. То Едловского «били насмерть обухами, и булавами, и кистенями, и ослопы, и переломали у него руки и ноги, и голову испроломали, и бороду всю выдрали и покинули замертво». После этого он «одет был овчиною сырою недели з две, едва излечили».

Можно себе представить, какой след в душах вчерашних сподвижников те драматические события и лукавый царский суд оставили. Несколько лет Копылов и Едловский стороной друг друга обходили, благо службы у них все больше дальние, между собой мало связанные. Но время и не такие раны заживает.

Как-то раз получил Копылов задание: место для новой государственной пашни в Притомье сыскать и «крестьянский острог» близ нее поставить. Население Сибири на глазах росло. Его кормить надо. Житейские заботы здесь заметно потеснили военные. А казак по натуре не только воин, но еще и земледелец. Такое задание ему не в тягость, а в радость.

Вот и возревновал Едловский к Копылову: почему не на него выбор пал? Чем он хуже? Да если на то пошло, он хоть сей час, не сходя с места, готов наилучший участок для хлебного острога и государственной пашни указать.

— Ну так и укажи, — поймали его на слове сменные воеводы. — Где именно?

Едловский и выложил: на правом берегу Томи, там, где речка Сосновка в нее впадает, вот где. Берег в этом месте крутой, высокий, земли тучные, строевого леса вволю. Лет тридцать назад томский сын боярский Петр Сабанский там сторожевую станицу устроил, да не прижилась она, осталась в стороне от набитой дороги в Кузнецкие земли. Ныне это глухой угол. А зря. Стоит приложить к нему руки, и превратится он в богатейшую житницу.

— А ты что на это скажешь, Дмитрий Епифанович? — переключили свое внимание на Копылова воеводы. — Приходилось тебе на Сосновке бывать?

— Приходилось, — подтвердил тот. — Врать не буду, место подходящее.

— Ну так и отправляйтесь туда в товарищах. И чтоб острог к осени стоял...

Мириться — не ссориться. Тут и одной улыбки может хватить,

доброго слова, сокровенного воспоминания. У Копылова с Едловским и того, и другого, и третьего, слава богу, хватило. К октябрю, как и было велено, вскинули томские казаки под их началом многоугольный Сосновский острог* с тремя дозорными башнями. Внутри срубили шатровую Спасскую церковь, государственные амбары и погреба поделали, жилые клетки для казаков, а все остальное — двор приказчика, судную избу, дворы для земледельцев — вынесли за охранный частокол. Этим «крестьянский острог» от иных-прочих и отличается. С одной стороны, это военная крепость, с другой — обычная пашенная слобода. У каждого времени свои особенности.

В следующем, 1657 году, скорее всего вновь под началом Копылова и Едловского, на границе Томского и Кузнецкого уездов был сооружен Верхотомский острог**. Название его красноречиво: Верхотомский, значит, поставленный в верховьях реки Томи. (Добавим от себя: на высокой скалистой круче. В шестнадцати верстах от нее ниже по течению находится каменная гряда с изображениями древних обитателей этих мест — знаменитая Томская писаница).

Поначалу Верхотомский острог был военной крепостью с четырьмя угловыми и одной проездной воротной башней. Главным его назначением было защищать нижнее Притомье от набегов киргизов, черных калмыков и казахской орды. Но со временем и он превратился сначала в «крестьянский острог», а затем в обычное пашенное село. Об этом говорят вынесенные за его стены Воскресенская церковь и дворы верхотомских земледельцев.

В отличие от Юрия Едловского его товарищ по мирскому кругу сын боярский Федор Пуццин вместе с другими зачинщиками томского бунта был сослан в Якутск. Но и там он остался верен своему предназначению. С его именем связано основание первого русского поселения в Приамурье — Аргунского зимовья***, поставленного в устье реки Маритки, впадающей в полноводную Аргунь.

* Ныне село Сосновское Яшкинского района Кемеровской области.

** Ныне село Верхотомское Кемеровского района Кемеровской области.

*** Ныне село Аргунск Нерчинско-Заводского района Читинской области.

Четверть века спустя на месте сожженного князем Гантимуром зимовья отряд другого «выученика» Томского города сына боярского Игната Милованова срубил Аргунский острог. Возле него была заложена государева пашня, а затем найдены залежи серебряной руды.

Об Игнате Милованове следует сказать особо. В Томске он прослужил более десяти лет. Служил бы и дальше, кабы енисейский воевода Афанасий Пашков не получил из Москвы приказ набрать четыре сотни казаков и стрельцов из Томска, Тобольска, Тюмени, Березова, Енисейска и отправиться с ними осваивать «задавшее» Приамурье. Давно мечтал Милованов попасть в неведомую страну Даурию, а тут подходящий случай выпал. Вот и напросился он вместе с товарищем своим Иваном Поршенинниковым в отряд к Пашкову. Слышал, что человек это смелый, деятельный, бывалый, огни и воды прошел – с таким не пропадешь. Правда, нравом крут, поозоровать любит, то бишь власть свою показать, но на то он сверху и поставлен, чтобы порядок при нем неукоснительно соблюдался.

А еще Пашков получил указание сопроводить «во глубь Сибири» высланного сначала в Тобольск, а затем в Енисейск опального протопопа Аввакума Петрова с семьей. Благодаря «Житию...» этого великого священника-писателя-бунтаря и другим историческим документам мы имеем возможность в полной мере прочувствовать, как далек и труден был путь отряда Пашкова в страну Даурию.

На сорока дощаниках поднялся он по Верхней Тунгуске (так называлось тогда нижнее течение реки Ангары) до Братского острога и, перезимовав там, отправился дальше через озеро Байкал по Селенге и реке Хилок до Иргень-озера. Там, на водоразделе рек Ингоды и Хилок вместо разоренного тунгусами русского зимовья Пашков велел казакам срубить Иргенский острог и, оставив в нем десять «годовальщиков», двинулся по реке Ингоде до Телембинских озер. На берегу реки Конды, берущей начало в одном из них, отряд Пашкова соорудил еще один – Телембинский острожек «кругом в 32 сажени», с часовней на воротной башне, домом приказчика и жильем для «годовальщиков». Третий острог поставлен был на левом берегу реки Шилки за версту до устья реки Нерчи. По ней он и стал называться Нерчинским острогом. Игнат Мило-

ванов был в ту пору одним из десятников томских казаков.

Трудности похода и строительства трех острогов усугубили самодурство Пашкова. Не умея удержать своих подчиненных в повиновении заботой, доброжелательным отношением, собственным примером, он истязал их бесконечными придирками и жестокими наказаниями. А тут в его власти оказался еще и беззащитный Аввакум с многочисленным семейством. Появилась возможность за все свои дорожные неудачи отыгаться на них. Вот лишь небольшой отрывок из «Жития протопопа Аввакума», дающий представление о том, в каких условиях строились остроги:

«Лес гнали хоромный и городской. Стало нечева есть, люди учали с голоду мереть и от работные водяные бродни. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, багоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие – огонь да встряска, люди голодные: лишь станут мучить – ано и умрет! Ох, времени тому! Не знаю, как ум у него (у Пашкова) отступился... Все люди с голоду поморил, никуды не отпускал промышлять, – осталось небольшое место; по степям скитающиеся и по полям, траву и коренье копали, а мы (протопоп с семьей) – с ними же... И у меня два сына маленьких умерли в нуждах тех... Но помогала нам по Христе болярыня, воеводская сноха, Евдокея Кириловна, да жена ево, Афонасьева Фекла Симеоновна: оне нам от смерти голодной тайно давали отраду, без ведома ево, – иногда пришлют кусок мяса, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, колько сойдется, четверть пуда и гривенку-другую, а иногда и у куров корму из корыта нагребет».

Семь лет довелось томичам и другим западно-сибирским казакам бок о бок провести с Аввакумом Петровым. В походе он варил для них кашу, лечил заботой и добрым словом. Испытывая силу его воли, воевода Пашков заставлял протопопа вместе с другими послужильцами переволакивать по обмелевшим студеным рекам громоздкие дощаники, а зимой с малолетними сыновьями тащить по глубокому снегу тяжело нагруженные нарты, валить и сплавать лес для строительства острогов, промышлять «для пропитания» зверя, птицу и рыбу, делать еще много других разных дел, зачастую ненужных, издевательских.

Протопоп стоически переносил выпавшие на его долю мучения и только однажды не выдержал.

– Владычице, – взмолился он, – уйми дурака твовово Пашкова! За что тут же был наказан.

Опомнился Пашков лишь после того, как тяжело заболел его внук Симеон. Принесли младенца в холодное, сырое от капли зимовье занедужившего по весне Аввакума: лечи! Тот с трудом встал, надел епитрахиль, священным маслом Симеона помазал и начал целительные молитвы нашептывать. И так он был в них горяч и чистосердечен, что «робенок, дал бог, опять здоров стал». Узнав об этом, Пашков низко поклонился протопопу и сказал:

– Спаси бог! Отечески творишь, не помнишь нашева зла.

Многолетнее молчаливое противоборство протопопы Аввакума с воеводой Пашковым показало казакам, в том числе Игнату Милованову и Ивану Поршенинникову, что вера, сила духа, воля, любовь к ближним способны преодолеть любые жизненные невзгоды и препятствия. Жадно слушали они проповеди «об искомном писании» и «о страдавших в России за древлецерковные благочестная предания» староверов, насыщались Христовыми заповедями, которые Аввакум излагал так:

«...Еже есть хоцещи помилован быти – сам такожде милуй; хочещи почтен быти – почитай; хоцещи ясти – иных корми; хоцещи взять – иному давай. Се бо есть равенство, а по превосходному уму – себе желай худышее, а искреннему лучшее; себе желай меньшее, а искреннему большее... Разумеете ли силу любви? Не сию, глаголю, любовь, еже любит рачитель блудный рачительницу или пьяница пьяницу; тако же любятся и тати с татями и мытарь с мытарем. Ни, ни! – се бо есть пагубная, бесовская любовь. Истинная же любовь о госопде бозе и спасе нашем, Иисусе Христе; сняя есть от трудов и пота лица своего. Алчна (жаждущего) накорми; жадна (жаждущего) напой; нага одежи; странна (странника) в дом свой введи; о вдовице и сиром попекись; грешника на покаяние приведи; обидимого заступи; мимоходящему путь укажи и поклонись. И о всех и за вся молитвы приноси, о здравии и спасении всех православных христиан. Се бо есть сила любви. Аще время привлечет и пострадать брата ради».

Свое противоборство с воеводой Пашковым протопоп Аввакум оценил весьма своеобразно: «Семь лет он меня мучил или я ево – не знаю; бог разберет в день века».

Задумались и казаки, наблюдая их мучения. Оказывается,

и безоружная правда, помноженная на терпение, веру и добротолюбие, способна взять верх над свирепой, мстительной, все сокрушающей силой. Такой урок преподавал строителям трех восточных сибирских острогов этот несгибаемый воин Христов.

Другой урок – милосердие и всепрощение. Получив дозволение вернуться на Русь, протопоп Аввакум забрал с собой старых, больных и раненых – сколько уместилось на выделенном ему дощанике. А еще прихватил дрянного человечешку Василия, который при Пашкове, по словам Аввакума, «на людей ябедничал и крови проливал и моея головы искал; в ыную пору, бивше меня, на кол было посадил, да еще бог сохранил! А после Пашкова хотели ево казаки до смерти убить. И я, выпрося у них Христа ради, а прикащику выкуп дав, на Русь его вывез, от смерти к животу, – пускай ево, беднова! – либо покаются о гресех своих. Да и другога такова же увез замотая... Ано за ним погоня! Деть стало негде. Я – су, – простите! – своровал: спрятал ево, положи на дно в судне... Каково вам кажется? не велико ли мое согрешение?.. Судите же так, чтоб нас Христос не стал судить на страшном суде сего дела».

Следом и воеводе Пашкову «перемена пришла». Но его отъезд вызвал у казаков всеобщую радость. Наконец-то! Как заметил в своем «Житие...» Аввакум Петров: «Он в дощениках со оружием и с людьми плыл, а слышал я – едучи, от иноземцев дрожали и боялись». Думается, не только от здешних немирных племен, которых протопоп называл иноземцами, но и от обиженных воеводой послужилцев.

Вскоре после отъезда Пашкова Нерчинский острог из-за частых наводнений пришлось перенести в устье реки Нерчи. На этот раз он строился продуманно, без спешки. Сначала казаки-древodelы острожным частоколом береговой уступ длиной в 85, шириной в 70 сажений обнесли. Укрепили его наугольными и проездной башнями. Внутри поставили воеводский двор с необходимыми службами, снаружи – Воскресенскую церковь и дворы для земледельцев.

Наилучшим образом на этом строительстве показали себя Игнат Милованов и Иван Поршенинников. Наученные опытом прежних лет и наставлениями протопопы Аввакума, они усвоили главное: лишь то, что делается с душой и желанием, а не по чужой воле, из-под палки, надежно и долговечно. Это и помогло им за-

нять заметное место в сибирской истории того времени.

Под началом Игната Милованова была заложена первая государева пашня возле Нерчинского острога. А когда Нерчинск стал уездным центром русской Даурии, именно Милованов возглавил первое русское посольство в Китай. Затем, уже в Нерчинске, в чине сына боярского, он подписал первый мирный договор с Китаем. Еще позже — продолжил дело опального земляка-томича Федора Пуцина — построил на месте сожженного зимовья Аргунский острог. Еще один острог он намеревался поставить на том примерно месте, где стоит нынешний город Благовещенск. Но преклонный возраст и нездоровье помешали осуществить задуманное.

А Ивана Поршенинникова судьба из Даурии в Енисейский острог забросила, затем, уже в чине сына боярского, в Селенгинский. К тому времени острог этот заметно обветшал, покосился, огнил. Вот и взялся Поршенинников строить его заново. «Стоячий частокол» в одно бревно заменил рубленными в две стены «тарасами». В сторожевых башнях, крепящих четырехугольный палисад, велел сделать два ряда бойниц. Воротную башню с часовой поместил со стороны реки Селенги. Спасо-Воскресенскую церковь и жилые постройки вынес за острожные стены. Крепость должна быть небольшой, но прочной и красивой. Пусть любят ее русские люди. Пусть с почтением взирают на нее тунгусы, а также люди «Братской земли» табунуты, булагаты (буряты) и прочие ближние и дальние соседи. Селенгинск всем рад.

Рядом с острогом Поршенинников заложил государеву пашню. Несколько лет он был здесь приказчиком. По тем временам это был не только распорядитель пашенных крестьян, но и сборщик пошлин и ясака, блюститель порядка и просто старшак, с мнением которого принято считаться. А поскольку первый торговый путь в Китай через Кяхту, Ургу и пустыню Гоби проложил тоже Иван Поршенинников, уважение к нему было полным и всеобщим.

Как-то раз проезжали через Селенгинский острог подьячие Посольского приказа Венюков и Фаворский. На сибиряков они смотрели сверху вниз, высокомерно, как на холопов. Вот и с Поршенинниковым повели себя как с дворовым человечешкой. Кичась своей московской службой, начали вымогать из него похвалы и посулы (взятки) мягкой рухлядью (пушминой). Не сдержался Поршенинников.

— Я — Селенгинского города державец, — говорит. — А вы кто? Мухота бездельная.

А ведь и правда — державец. И не он один был таким. Строили и обживали Сибирь сыны отечества, люди державного труда и подвига. В их первых рядах были и томичи.

«...ТОМИЧИ РУКИ ПРИЛОЖИЛИ»

А теперь вернемся в Томское Приобье, иначе говоря, в первую Сибирь. Вслед за Сосновским и Верхотомским острогами на высоком крутом берегу Оби, там, где в нее впадает река Уртам, томские казаки срубили очередной, на этот раз пограничный острог – Уртамский*.

Место это выбрано было не случайно. Еще в начале XVII века кочевые калмыки устроили здесь удобный перевоз для своих стад и грузов. Позже к ним присоединились торговые бухарцы. Товары из Средней Азии они везли в Московское и другие соседние государства, а назад возвращались с товарами из них. С каждым годом движение через перевоз заметно возрастало. Вот Сибирский приказ и решил взять его «под свой догляд». В 1684 году «именем государя» в Томск было послано соответствующее распоряжение.

Ставить Уртамский острог выпало Юрию Соболевскому, в прошлом жолнеру (солдату) Речи Посполитой. «Иманный» в одном из многочисленных сражений с Россией, он вместе с другими пленными был отправлен в Москву. Там принял православную веру и, присягнув на верность русскому оружию, получил назначение в Томск «казакон литовского списка». За тридцать лет добросовестной службы удостоился чина томского сына боярского (чины давались тогда непременно с привязкой к месту службы).

О том, как именно уртамские казаки осуществляли «догогляд» на калмыцко-бухарском перевозе, сведений не сохранилось, зато точно известно, что первыми жителями Уртамского острога стали тридцать четыре крестьянские семьи. Скорее всего, они и помогали немногочисленному отряду Соболевского построить не только сам острог с двумя дозорными башнями, съезжей избой и домом приказчика, но и Вознесенскую церковь. А весной следующего года распахали возле острога «государево хлебное поле». Так вот и стал пограничный острог «крестьянским».

* Ныне село Уртам Кожевниковского района Томской области.

Двенадцать лет спустя казаки из отряда другого томского служилого, «литвина» Степана Тупальского, в восьми верстах от переправы через реку Каштак у подножья безымянной горы в Кузнецких землях наткнулись на россыпь серых, ничем не примечательных камней. В другой раз они бы на них и внимания не обратили, но тут один из казаков всполошился:

– Стой, братцы! А ну как это серебряная руда?! Ей-богу, похоже.

– Тебе-то откуда знать?

– Родитель мой рудознатцем был, вот откуда. И я с ним, бывало, хаживал.

– Что бывало, то пропало, – заухмылялись казаки, но тут же по-серьезнели, – однако приглядеться не мешает. А вдруг твоя правда? Серебро – дело не шутейное. Поглянь-ка еще раз, да повнимательней.

Сын рудознатца поднял с земли несколько серых осколков и стал их дотошно осматривать. То так к свету повернет, то этак. То поскоблит, то поскоблит, то зачем-то к уху приложит. Потом тяжело вздохнул:

– Вроде она... Но без плавки трудно сказать. Кабы кузнеца с горном найти, другое дело.

Кузнеца нашли в пашенной слободе у реки Тисуль, в которую Каштак впадает. Измельчив камни, тот растопил их в выварной печи и подтвердил, что серебро в них и впрямь есть.

Степан Тупальский сразу сообразил, какая удача ему выпала. Тем же часом он наладил в Томской город посыльных с образцами каштацкой руды. Одни из них велел передать воеводам, другие – своему отцу, Юрию Тупальскому. Он хоть и в отставке ныне, но влияние на власть имеет немалое, торговыми и промышленными делами успешно кормится. Уж он-то сообразит, как находку в Кузнецких землях к своей пользе повернуть.

В отличие от Юрия Соболевского Юрий Тупальский (настоящее его имя Горий) добровольно «отъехал» в Россию. Потому и начал свою службу не рядовым казаком, а воеводой Галича. Затем был переведен в Сибирь на более скромную должность – томского сына боярского. Однако и тут не затерялся. Послужильцы «иноземного списка» признали его старшим в своем кругу и доверили решать спорные и другие насущные вопросы. А там и сыновья Гория в возраст вошли, вслед за отцом чин детей боярских

получили, стали ему надежной опорой. Ну и, наконец, ближайшим приятелем Гория Тупальского числился торговый грек Христиан Левандиан, имевший хоромы в подгородном посаде и три лавки в гостинном дворе. Однако мало кто знал, что прежде чем попасть в Томск, Левандиан был одним из известных мастеров-серебряников «аж в самом Ярославле». Как он в Сибири оказался, история умалчивает. Зато все дальнейшие события без труда в общую картину складываются.

Строить Каштацкий острог* выпало, конечно же, Степану Тупальскому и его младшим братьям, а налаживать добычу серебряной руды греку Левандиану. Одна из четырех башен этой небольшой частокольной крепости стала его избой-горенкой. Напротив нее разместилась кузня для плавки руды и полужемлянки для «заводских трудников». Чуть дальше столпились избы служилых людей, казенные амбары и погреба. Воротную башню украсила часовня в честь Трех Святителей. Приказная изба уместилась в третьей сторожевой башне. А для помывочных бань места в остроге не хватило. Пришлось срубить их на берегу реки Каштак...

Тут у читателей может возникнуть вопрос: почему река в Кемеровской области и один из исторических холмов в Томске называются одинаково — Каштак? Да потому, что тюркское слово «каш» имеет несколько значений. В одном случае это высокий, плоский берег, без деревьев и кустарников, в другом — гора, место кочевья, пастбище. Каштак в Томске и был в свое время такой горой. Снег зимой с нее выдували северные ветры. Трава, ушедшая под снег, обнажалась. Вот татары-эуштинцы и пригоняли сюда пастись лошадей. А в названии реки, близ которой угнездился Каштацкий острог, подчеркивались прежде всего ее береговые особенности.

Увы, рудник просуществовал здесь недолго. Чем глубже становились шахты, тем меньше они давали серебра. Весной их заливали талые воды, осенью — обильные дожди. Не выдержав надсадной работы, рудокопы и плавильщики то и дело сбегали. Пришлось серебряные выработки забросить. Вместе с ними угас и «завод-

ской» Каштацкий острог. Но не угасла память о том, что и к нему, как свидетельствуют летописцы, «томичи руки приложили».

Следующий острог они поставили на правом притоке Оби — реке Умреве. По ней проходила южная граница Томского уезда.

В переводе с тюркских языков «умрева» означает «низина». Уже в самом названии хорошо просматривается эта неспешная, умиротворенно текущая по сибирским просторам луговая река, а вдоль нее лежат низменные земли, как нельзя лучше подходящие для хлебопашества. Проточив высокий берег Оби, Умрева растворяется в ее могучих с темно-серым отливом водах.

В 1703 году чуть выше устья Умревы отряд томских казаков под началом сына боярского Алексея Кругликова срубил Умревинский острог*. В отличие от Уртамского он имел три дозорные башни, а его Трехсвятительская церковь была встроена в переднюю стену четырехугольного острожного палисада. Но так же, как и Уртамскому, ему суждено было стать «крестьянским» острогом.

А томский сын боярский Алексей Кругликов, отличившийся во многих походах и сражениях с немирными киргизами, стал его приказчиком. Он провел здесь первую перепись местного и пришлого населения. Собранные им и его «грамотеями» сведения помогли очертить границы Умревинского стана, иначе говоря, еще одной западно-сибирской волости.

В шести верстах от устья реки Чаус, тоже впадающей в Обь-матушку, проходил в то время набирающий силу Сибирский тракт. Он связывал Московское государство с Зауральем и рядом восточных стран, а сибирские крепости между собой и соляными Бурлинскими озерами. Как и на большинстве других торгово-перевалочных трактов, порядка здесь не было. То разбойная ватага засаду устроит, то немирные кочевые племена набегут. Охотников до легкой поживы везде хватало. Вот и решили томские управители на месте деревеньки, незадолго до этого основанной отставным казаком Ивашкой Анисимовым, заслоном от набегчиков и воровских людешек Чаусский острог** поставить.

* Ныне село Каштак Тисульского района Кемеровской области.

* Ныне село Умрева Мошковского района Новосибирской области.

** Ныне поселок городского типа Колывань, центр Колыванского района Новосибирской области.

Кому поручить это ответственное дело, долго не раздумывали. Ну, конечно же, Дмитрию Лаврентьеву. Его отец, Иван Большой, Томской город чуть ли не с пеленок помнит. Он в приказной избе службу подьячим начинал, а к зрелым годам в дворяне выбился. Таких, как он и его сыновья, в городе по пальцам сосчитать можно. Тот же Дмитрий приказчиком Мелесского острога на реке Чулым успел себя показать. Под его началом тамошние казаки не одну осаду енисейских киргизов выдержали. Много у него и других заслуг, не только военных, но и строительных.

Лаврентьев и его казаки постарались на совесть. Отмерив пятьдесят сажений в длину и тридцать в ширину, поставили четыре глухие наугольные башни, да «две башни с передними и задними проезжими воротами и три запускные решетки», а между ними заплот «весь рубленый в две стены с преградами и покрыт весь тесом». С особым старанием «собрали» казаки съезжую избу и жилье для приказчика. Не дом получился, а воеводские хоромы. Видать, знал Лаврентьев, что он управлять острогом и останется.

Так оно и случилось.

Уже через год возле острожных стен загудела пчелиным ульем Чаусская пашенная слобода. Первые дворы здесь поставили томские казаки. К ним стали подселяться крестьяне с реки Ишим, охотники на пушного зверя, гулящие, ссыльные, торговые и ремесленные люди. Работы всем хватало. Земли вокруг плодородные, начальство подходящее, а краше Ильинской церкви за сотни верст не сыскать. Кто по Сибирскому тракту едет, непременно помолиться к ней завернет.

Но самое примечательное в этой истории то, что Чаусский острог, построенный как военная крепость, за сорок с лишним лет о своем прямом предназначении так ни разу и не вспомнил. Нужды не было. Большинство проблем, раздражавших прежде многоплеменную и многонациональную Сибирь, стало возможным решать не силой, а мирными переговорами, торговыми и другими связями. Вот надобность в острожных укреплениях и отпала. Построенные наскоро, из непросушенного леса, они стали огнивать, рушиться, уступая место поселениям городского и деревенского типа.

Начался новый этап в становлении Сибирской России, не менее сложный и ответственный. Но прежде чем проститься с XVII

веком, вспомним, что за сто минувших лет здесь сооружено восемьдесят восемь городов и острогов. Назначение у всех поначалу было одинаковое – военные крепости. Однако позже их стали различать и по другим признакам. Те, что поставлены у пашенных слобод, попали в разряд «крестьянских», те, что на пограничной и таможенной линии – в число «засечных». А были еще «заводские» и «торговые». Строительство каждого шестого из них напрямую связано с Томском, его начальными и рядовыми служилыми людьми, с его историей.

СЕМИЛУЖЕНСКИЙ ВОЕВОДА

Еще одна крепость возведена уже в наши дни — как отражение былых времен, как зримое напоминание о далеком прошлом, как «музей под открытым небом». Начало ей положила одна из казачьих застав, поставленных вскоре после основания Томского города на двадцатой версте Чулымского тракта. Вzgорье в излучине реки Каменки как нельзя лучше подходило для «избы с нагородней и косым острожком» — своего рода дозорной вышки, с которой хорошо просматривались ее окрестности, и ограды из заостренных сверху «стоячих» бревен.

А дозировать было что. Отсюда, с северо-востока, многие годы приходили в Эушту за данью енисейские киргизы. Свои походные шатры они ставили в устье рек, получивших далеко не каждому понятные ныне названия, — Большая и Малая Киргизки. (Каменка впадает в Большую Киргизку.) А когда путь воинам Алтысарского и Езерского улусов заступила русская крепость, построенная по челобитию эуштинского князя Тояна, стали нападать на нее.

Не раз осаждали Томск воинственные киргизы, но им ни разу не удалось застать его врасплох. Едва завидев вдали неприятеля, казаки Каменской заставы давали знать о приближающейся опасности другим караулам. Чаще всего по цепочке сигнальных костров и звона «сполошных» колоколов.

Со временем здесь появилось земледельческое поселение, иначе говоря, «пашенная слобода», ныне известная как село Семилуженское (Семилужное), или попросту Семилужки. Почему она так названа, достоверных сведений не сохранилось. Только догадки. Самая простая: село расположено на семи лужках. Или: его основали семь братьев Лужковых. Однако подтверждений этому так и не найдено.

Нет прямых подтверждений и тому, что на месте казачьей заставы была построена Семилуженская крепость. Но есть немало косвенных. Вот главные из них. Прежде всего — постоянные угрозы со стороны «киргизского прихода» не только для здешних пашенных крестьян, но и для жителей Томска. Семилуженская слобода стала одним из пограничных форпостов на его «засечной

линии». А такие форпосты строились тогда как военные укрепления — с дозорными башнями высотой в три сажени, с двойными стенами, с многочисленными амбарами и хозяйскими постройками и непременно с церковью или часовней. Как тут не вспомнить приказные бумаги того времени. К примеру, такую: «для бережения от приходу военных людей учинены засеки и на замках всякие крепости». Вот и выходит, что Семилуженская крепость все же была.

Для кого-то это факт малозначительный. Ведь с тех пор минуло несколько столетий. Неузнаваемо изменилась картина мира. Другой стала Россия и значительно расширившая ее «страна Сибирь». Текущие, весьма сложные проблемы и события заметно потеснили интерес к истории родного края. Ну зачем, казалось бы, углубляться в дебри прошлого, восстанавливать его в именах, красках и местных подробностях? Разве мало других забот?

Майор в отставке Владимир Ильин, до выхода на пенсию служивший в селе Семилуженском участковым уполномоченным, такие вопросы считает праздными, идущими не от сердца, а от утробы. «Без опоры на лучшее в судьбе своего народа и государства, — считает он, — не стоит ждать успеха в настоящем и будущем».

По своему мироощущению Владимир Федорович православный сибирский казак, бережно хранящий память о своих предках, их заслугах и суровых жизненных испытаниях. Стоит ли удивляться, что именно ему привиделась однажды Семилуженская крепость. Тогда и возникло у него неодолимое желание построить ее, если не в первоизданном, то в приближенном виде. Пусть, глядя на нее, каждый въяве перенесется в далекое прошлое, услышит голос своей, сибирской истории, почувствует ее живое дыхание.

Человек с военной выучкой, откладывать задуманное на потом Ильин не стал. Первым делом он побывал на кафедре реставрации и реконструкции архитектурного наследия Томского государственного архитектурно-строительного университета. Там ему помогли выбрать проект, наиболее соответствующий его замыслу. Земельный участок в сто квадратных метров, подходящий как для фермерского хозяйства, так и для крепости, у Ильина уже был. Осталось разметить его и начать строительство. Естественно, на свои средства и своими силами.

Легко сказать «своими силами», а где их взять? Можно только удивляться, откуда у Ильина столько терпения и веры в успех начатого дела набралось. То, что отряд служилых казаков когда-то делал, предстояло осилить ему одному, да еще и за счет семейного бюджета.

Это уже позже, когда двужильный пенсионер-энтузиаст срубил часть передней «тарасной» стены и начал укладывать нижние венцы воротной башни, у него появились добровольные помощники. Один пиломатериалами и круглым лесом подсобит, другой погрузочно-разгрузочной техникой, третий личным участием в плотничьих работах.

Затем его труды заметили и по достоинству оценили депутаты областной Законодательной думы Сергей Звонарев и Николай Кириллов. Каждый из них выделил на строительство исторической панорамы «Семилуженская крепость» существенную сумму из своего депутатского фонда.

А дальше к Ильину второе дыхание пришло, умение находить выход из сложных обстоятельств, а с ними уверенность. Помогать ему стали глава Томского района Владимир Лукьянов, его заместитель Валентин Железчиков и «Сибирская Аграрная Группа».

Слухами земля полнится. Благодаря им и средствам массовой информации в Семилуженское потянулись казаки, кадеты, учащаяся молодежь с учителями и преподавателями, любознательные горожане и гости города, туристы и заезжие иностранцы с сопровождающими их лицами. Трепетно ступали они на широкий луг с простой, как в Поморье, но очень выразительной часовней во имя Святителя Николая Чудотворца, осматривали изнутри кражистые дозорные башни, соединенные двойными «тарасными» стенами с тесовыми кровлями, хозяйственные постройки, спрашивали Ильина: «А это что? А это как?» Удивлялись. Радовались. Запоминали.

Со временем двор и жилые клетки крепости наполнились вешалами с рыболовецкими и охотничьими снастями, одеждой и оружием сибирских казаков, берестяными и гончарными изделиями народного умельца Александра Варламова, ликами святых иконописца Георгия Родионова. Но, пожалуй, самым примечательным экспонатом стала здесь «старобытная пушка», отлитая томским кузнецом Виктором Хохловым. Возле нее как-то по-особому чув-

ствуется то далекое прошлое, которое столь умело, вкладывая душу, воссоздает Ильин.

Крепость еще не достроена, но уже стала центром фестивалей декоративно-прикладного искусства и фольклора, таких как «Праздник кузнеца», «Наследие», любимых в народе Масленицы, Крещения и других торжеств. Ильин охотно сотрудничает с творческими коллективами и народными умельцами. Он понимает: одно дополняет другое, укрепляет память, рождает чувство долга и верности родной земле.

Сегодняшний чин Ильина вполне соотносится с чином сына боярского. Но сам он с улыбкой называет себя воеводой. И одевается в дни праздничных мероприятий в кафтан с нагрудной перевязью, пышную соболью шапку, обувает сафьяновые сапоги. Мало того, порядки в крепости завел «старооотческие» — не пить, не курить, не сорить, не сквернословить. Этим он напоминает, что дело, которому он служит, — не шоу, не развлечение, а урок памяти и творчества. А на уроках и вести себя надо соответствующим образом.

Вместе с крепостью растут и планы «приказного дьяка». Он мечтает построить у себя кузницу, гончарную печь, ткацкую мастерскую, лабаз, хлебопекарню, одеждуную избу, где желающие смогут примерить обмундирование казаков; на месте родника вырыть колодец; завести лошадей, кур, уток (коз он уже завел); обзавестись льномялкой... Словом, чтобы все было по-настоящему. Ныне ему шестьдесят четыре года — хороший возраст. Здоровьем его природа не обидела. Умом и хваткой — тем более. Это рождает уверенность, что с поставленными задачами он с Божьей помощью справится.

А закончить эту главу хочется историческим отступлением. Из дореволюционной церковной печати мы узнаем, что в 1702 году «в стороне Сибирской» лежал на смертном одре Григорий Рожнев, «сын древнего воина» (скорее всего, служилого казака). Тут явился к нему святитель Христов Николай Чудотворец и говорит:

«Образ мой, который ты видел вошедшим в дом, пусть будет отнесен с подобающей честью в деревню Семилужную и поставят пусть его в молитвенном доме Вознесения Господня, потому что хочу, чтобы там стоял мой образ и почитаем был от верных. Отселе, Григорий, исцелит тебя Господь мой Иисус Христос

мною, рабом Своим. Итак, восстав, иди в Томск и рцы (скажи) без боязни всем во граде священникам, начальникам, судиям и прочим гражданам, яко вси они прогневили Творца своего и Господа, и ходиша путем беззакония своего и мерзкия похоти... Аще же от всех сих не перестанут, не умолят Господа своего покаянием, слезами и не покажут веры своей делами... от всех грядущих напастей освободиться не смогут!»

Так оно и случилось. Чудотворная икона Святителя Николая из дома, где «болезновал взросток» Рожнев, была перенесена в Вознесенскую часовню деревни Семилужной, а сам Рожнев, счастливо исцелившись, поспешил в Томск и слово в слово передал церковным и прочим властям сказанное великим Божиим Угодником. Томские воеводы Георгий Петров-Соловово и его сын Лаврентий, «совестливые боголюбцы», тут же собрали «общий городской сход». На нем решено было подготовиться к покаянию многодневным постом. Само «покаянное молитвенное служение» прошло на площади перед Богоявленской церковью. Именно тогда к Святому ключу «у подошвы Капшачной горы» впервые была принесена икона Святителя Николая из деревни Семилужной.

С тех пор крестные ходы с этой иконой стали одними из самых заметных и почитаемых в народе церковных событий сначала Тобольской, а затем Томской губернии. Они совершались «ежегодно» 8 мая (из Семилуженского в Томск) и 10 июля (из Томска в Семилуженское).

В 1708 году здесь была построена сначала деревянная Никольская церковь, а век спустя – каменная трехпрестольная Вознесенская в стиле барокко. По красоте и известности она не уступала храмам Томска. Но особо почитаемой эта церковь стала после того, как в июле 1891 года в селе Семилуженском побывал цесаревич Николай, в будущем – последний российский император Николай II. Его небесным покровителем был святитель Николай Мирликийский. Поэтому после торжественной встречи в специально построенном для этого павильоне цесаревич поспешил в Вознесенскую церковь, чтобы помолиться перед чудотворной иконой. Много и других памятных событий с ней связано.

В наши дни по благословению архиепископа Томского и Асиновского Ростислава иконописец томского Богородице-Алексиевского мужского монастыря Георгий Родионов и скульптор Влади-

мир Романов воссоздали образ святителя Николая (по описанию Григория Рожнева) в полный рост, с копьём в правой руке и со свитком в левой. Так родились икона и бронзовая скульптура Николая Томского. По признанию Владимира Федоровича Ильина, этот светлый образ помогал и помогает ему строить Семилуженскую крепость, соединяющую прошлое с настоящим, а настоящее с будущим. Ее, как и часовню в ней, он называет Никольской.

ТОМСК МНОГОЛИКИЙ

Правый берег Томи то поднимается, то полого спускается к воде, чтобы затем вновь устремиться ввысь и сделаться крутым. На много километров вдоль него протянулся старинный Томск. Ушайка делит его на две части, а те в свою очередь распадаются на несколько исторических районов. У каждого из них свой градостроительный рисунок, свой ландшафт, своя судьба.

По одну сторону Ушайки находились Пески, Заозерье и Черемошники, Болото, Кирпичи, Новая Деревня, по другую — Уржатка, Юрточная гора, Монастырское место, Бугор, Нижняя и Верхняя Елани, Заисточье. Они складывались в довольно пеструю и вместе с тем живописную панораму с говорящими названиями. Одни из них в этом повествовании уже встречались, с другими настало время познакомиться.

Под Песками разумелось самое удобное подгородное место с песчано-галечным наволоком в междуречье Томи и Ушайки. В «младенческие годы» Томска здесь, как мы помним, был поставлен, а затем обнесен острожной стеной Нижний острог, а возле него возникло торжище, ставшее со временем Базарной площадью. Трудно даже мысленно представить, сколько людей побывало здесь за минувшие столетия, и каждый принес сюда на подошвах частицу нового грунта. Песок и галька остались лишь на отмелях в устье Ушайки и на берегах Томи. Но историческая память дальнозорка. И сейчас старожилы нередко именуют административный и культурно-исторический центр города Песками.

К Пескам примыкало Заозерье — приречная окраина, испятнанная цепочкой озер, одно из которых было проточным. Оно располагалось в районе нынешнего Центрального рынка, примерно там, где проходит переулочек Сухозерный. Дальше по берегу Томи буйно цвела черемуха. Позже, когда и эта низменная заливная часть города была заселена, ее стали называть Черемошниками. В Заозерье, а затем на Черемошниках селились в основном грузовые извозчики («ломовики»), мельники, кожевники и рабочие канатных мастерских.

Район по другую сторону от Воскресенской горы, основание которой было сверху и снизу укреплено Обрубом, представлял собой низкую болотистую пойму в излучине Ушайки. Потому-то его и прозвали Болотом, а башню Томского города на Ушаевом бугре Отболотной (неподалеку от нее возвышалась еще одна — Мельничная, расположенная сразу над двумя городскими мельницами). Здесь селился гулящий и работный люд, весьма шумный, пестрый, драчливый. Привилегированной прослойкой здесь были портные, сапожники, гончары, точильщики, хозяева питейных и прочих заведений.

В Кирпичах, расположенных в той же речной излучине, само собой, преобладали кирпичники. Глина для обжига была здесь такая, что за ней приезжали из других мест. Где ни копни, на залежь наткнешься.

А дальше, в Новой Деревне, обосновались переведенные сюда из Тобольска монастырские крестьяне. Не пожилось им под началом тамошних архиереев, вот и сочинили они царю челобитную, после чего его именем и велено было «отвести им для жительства хорошую землю».

А теперь окинем обзорным взглядом левобережье Ушайки. Устье ее с этой стороны томские татары называли Уржат, место впадения ручья или речушки в реку побольше. Это название они переняли у кетов, живших здесь прежде. Русские поселенцы тоже не стали его менять — лишь добавили в конце привычное -ка. Получилось Уржатка. Со временем так стал называться более обширный участок городской площади, нежели возле устья Ушайки. Он распространился до переулка, который носит ныне имя Г.С. Батенькова, и улицы А.А. Беленца (бывшей Подгорной) и включал в себя Конную площадь (район сквера у областного художественного музея и правого берега реки Ушайки — здесь прежде был конный торг). Место во всех отношениях удобное. Не удивительно, что его облюбовали купцы и ремесленники. Одни торговали мануфактурой, другие скобяными товарами (замки, задвижки, крючки и оконные приборы) либо седлами и упряжью, инструментом и канцелярскими принадлежностями, мясом и бакалеей (сухие плоды: изюм, чернослив, орехи, варенье, мед... В переводе с турецкого бак-ала — «гляди и бери»; то есть любой товар, прежде всего пищевой — сыры, сельдь, ба-

лык, икра...). А ремесленники плотничали, занимались кузнечным делом. Были среди них серебрянники, медники, чарочники, красильщики, скорняки, каменщики.

Рядом с Уржаткой, на южном мысе Юрточной горы, располагались два монастыря — мужской Богородице-Алексиевский и женский Христорождественский (отсюда и пошли обозначения: Монастырское место, Монастырский лог). Правда, женский в конце XVIII века был упразднен «за бедностью», зато в мужском открылась первая в Томске школа (1744). Позже ее преобразовали в духовное училище, еще позже — в семинарию.

Восточнее Монастырского места на берегу Ушайки жил, по преданиям, справедливый разбойник Мухин. На купцов он наводил ужас, а простые люди относились к нему с боязливым почтением. Ходили слухи, будто награбленное он раздавал людям неимущим. Так это или не так, никто толком не знал, однако береговую возвышенность в честь него окрестили Мухиним бугром. Народ здесь обитал разноплеменный, окраинный, неспокойный — все больше наемные низы и скудного достатка мещане.

Нижней Елани (то есть поляне в лесу) повезло, пожалуй, больше других районов. Вслед за Песками и на ней стали со временем возводиться каменные строения. Они вращались в деревянный Томск прерывистой зубчатой стеной, часть которой украшалась колоннадами, башенками и лепниной, окрашивалась в светлые праздничные цвета, другая красовалась необлицованным вишневым кирпичом, уложенным узорно и величаво. К этому строительству подключилась и Верхняя Елань, неотделимая от Нижней.

В 1695 году, возвращаясь из посольской поездки в Китай, голландец русской службы Эбергард Избрант Идес (Петр I называл его по-своему Елизарием Елизарьевичем) побывал в Томске. Город произвел на него неизгладимое впечатление. В своих «Записках о русском посольстве в Китай (1692–1695)» Идес обрисовал его кратко, но выразительно:

«Этот красивый, большой и крепкий город с большим числом русского военного населения и казаков, задача которых отбивать набег татар на Сибирь, лежит на Бузлуке. В предместье, за рекой, живет также много бухарских татар, которые платят подать его царскому величеству... Город Томск ведет крупную торговлю

с Китаем через посредничество подданных Бусухту-хана и бухарцев, в среду которых пробирается и много русских купцов».

В этом тексте останавливает внимание слово Бузлука, да еще с заглавной буквы. Сначала оно вызывает вопрос: как его надо понимать? Однако, если вспомнить его значение, редко употребляемое ныне, все становится на свои места: ведь бузлука — это подкова с шипами. Такие подковы помогали коню не скользить на льду. А разве башни и стены Томского кремля на изгибе Воскресенской горы, если смотреть на них издали, не напоминали бузлуку? Вот Идес и соединил в одном слове счастливо пришедшее ему в голову название и сравнение.

Четверть века спустя вместе с русской посольской миссией через Томск проезжали ученый, врач и путешественник из Шотландии Джон Белл Антермони и немецкий художник Георг Унферцагт. Их впечатления дополняют Идеса:

«Крепость города Томска стоит на горе и заключает в себе комендантский дом, казармы и прочее, — читаем у Антермони. — Укрепления его, равно как и в других городах сей страны, состоят из дерева. Город стоит на подошве горы, на правом берегу Тома; окрестности его весьма приятны и плодородны. В сем городе производится знатная торговля всякого рода мехами, а особливо собольими, чернобурыми и красными лисицами, горностаевыми и беличьими шкурками. 9 числа обедали мы у коменданта, у коего нашли мы несколько сот казаков верхами, вооруженными луками и стрелами. После обыкновенной своей экзерциции захотели они нам показать свое проворство в стрельбе из лука, скачучи во всю конскую прыть. Поставили они посредине луга шест и, скачучи мимо одного во всю рысь, попадали в него стрелами без ошибки».

«Жилые дома находятся и на горе и под горой, все они деревянные, местность здесь очень красивая, — вторит своему спутнику Унферцагт, — Это место достойно всяческого восхваления, потому что здесь все дешево, особенно провиант. За два фунта хлеба мы заплатили не больше 3 штивер» (то есть трех копеек).

Жаль, что этот художник не оставил нам живописных изображений Томска. У него, как и у других иностранцев, взгляд на окружающее весьма практичен: красота и торговая выгода для него равнозначны. Вот и швед русской службы Лоренц Ланг, побывав-

ший в Томске несколькими годами раньше, от любования городом стремительно переходит к оценке его богатств:

«Город расположен красиво — на горе; в нем много богатых людей. Река изобилует рыбой различной. Город богат хлебом, его даже вывозят в другие города. В его окрестностях добывают так много пушнины, как ни в каком другом месте Сибири. В окрестностях города добывают свинец, железо, медь. О серебре не слышно, но, по словам шведских пленных, кое-где встречается. В курганах окрест города находят изображения, сделанные из золота и серебра: птиц, рыб, идолов, украшения для седел, посуду, кольца, серьги и многие другие вещи. Но не все предметы сделаны из золота и серебра, встречаются также изделия из меди и железа. Таких вещей у современных жителей нет, из железа у них сделан котел, а вся остальная утварь — из бересты».

И лишь в 1734 году, через сто тридцать лет после основания Томска, опять же немцами русской службы Иоганном-Вильгельмом Люрсениусом и Иоганом-Христианом Беркханом был «нама-леван» проспект (иными словами комплект живописных изображений города), один из сорока восьми, сделанных ими в Сибири. Надо сказать, проспект этот носил прежде всего научный характер. Ведь оба маляра (то есть художника) входили в состав второй Камчатской экспедиции, организованной Российской академией наук. В их обязанности входили зарисовки археологических древностей, национальных костюмов, предметов домашнего быта, панорамные изображения наиболее значимых городов и населенных пунктов, копии печатей, наскальных рисунков и многого другого «до истории Сибири относящегося». Вместе со студентами-практикантами (еще их называли «академическими студентами»), среди которых был и будущий академик, исследователь и «описатель земли Камчатки» Степан Крашенинников, Беркхан и Люрсениус входили в научный отряд другого выдающегося ученого историка и археографа, неутомимого исследователя и «описателя Сибири» Герарда Фридриха Миллера. В ту пору Крашенинникову было двадцать три года, Миллеру — двадцать восемь, но он уже имел профессорское звание, научные труды, был издателем «Собрания российских историй». И хотя панорамные виды Томска сделаны «малярами» Миллера, чувствуется, что исполнены они по его указаниям — в технике получертежей-полукартин. Подтекстовками

к ним вполне могли бы стать такие описания самого Миллера:

«В настоящее время Томск состоит в первую очередь из маленькой деревянной крепости, или цитадели, на самом вершине северо-восточного берега Томи. Крепость построена четырехугольной из бревен по образцу деревянных домов. Длина ее 50 саженей, а ширина — 30 саженей*. На четырех ее углах и над двумя воротами находятся боевые башни с артиллерией из 14 медных пушек... Из публичных зданий в крепости находятся: соборная церковь Святой Троицы с колокольной на окружной крепостной стене, канцелярия, воеводский дом, цейхгауз, два деревянных амбара и три каменных подвала. В канцелярии самые старые документы и известия имеются с 1632 г. На печати города изображен пустой щит, который держат два стоящих вертикально соболя; над ними корона и вокруг стоят слова: Печать ея императорского величества города Томска. Вне крепости, частично наверху на высоком берегу и частично внизу, у его подножия, находятся частные дома жителей, число которых в общей сложности достигает 1.500. Сразу за крепостью находится маленький круглый острог из палисада, который служит жилищем для заключенных. В 200 саженях от него есть еще башня, оставшаяся от старого острога. В верхнем городе находится также приходская церковь во имя Вознесения господня; рядом часовня. Через середину нижнего города, немного выше крепости, течет в Томь речка средних размеров, называемая Ушайкой. Она приводит в движение две мельницы, которые находятся возле моста, ведущего через речку. Выше по речке находятся два монастыря: мужской — Св. Алексея и женский — Св. Николая; рядом приходская церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Ниже Ушайки есть еще приходские церкви: Богоявления Господня, Святого духа и Знамения Пресвятой Богородицы. Рядом с Томью, по обе стороны Ушайки, находится также много домов бухарских и чатских татар, которые для исполнения службы своему богу имеют 3 мечети... Здесь учреждена довольно хорошая торговля, для которой в нижнем городе, ниже Ушайки, построен, наконец, большой продолговатый четырехугольный

* Сажень — 2,1336 метра.

деревянный гостинный двор, в котором имеется 50 лавок».

Судя по этому описанию и этим чертежам-картинам, Томск изначальный за минувшее столетие мало изменился, разве что население его в два раза увеличилось, больше стало домов и жилых районов да воеводы нововведениями Петра I заменены комендантом, единолично управляющим городом.

Археография, которой посвятил свой недюжинный талант Миллер, считается дополнительной исторической наукой. Это область собирания и публикации летописей, грамот и других письменных первоисточников, разработка теории и методики этого кропотливого, трудоемкого, но чрезвычайно важного дела. Однако своим фундаментальным трудом «История Сибири», основанным на десятилетнем исследовании Зауралья, Миллер показал, что его работа — это вовсе не придаток, а ключ к многомерной, богатой драматическими и героическими событиями истории края. В том числе к истории Томска изначального. Благодаря стараниям Миллера сохранены многие бесценные архивные материалы, дающие представление о первоначальном этапе жизни города.

Уже во время первого своего пребывания в Томске (а оно пришлось на октябрь и ноябрь 1734 года) Миллер ужаснулся тому, как хранятся интересующие его документы. Беспорядочно сваленные в каменной кладовой палате городской канцелярии, они частью отсырели, частью были изъедены мышами. Описи дел велись от случая к случаю, реестры составлялись неряшливо. Пришлось Миллеру вместе со своими «малярами» и «академическими студентами» разбирать по годам архив, переписывать размокшие листы, делать копии или экстракты (обзоры) наиболее важных документов.

Лишь через несколько дней после горячих разборок с комендантом к археографическим работам удалось привлечь томских подьячих и писчиков. В большинстве своем они оказались малограмотны и неаккуратны. Хуже того, считали разборку казенных бумаг ненужной тратой сил и времени, а потому старались под всякими надуманными предлогами уклониться от копирования указанных им бумаг. Но Миллер с присущей ему горячностью и педантичностью сам работал за двоих и своих подчиненных побуждал к тому же.

За время пребывания в России Миллер не только довольно хорошо освоил русский язык, но и полюбил его. «Характеристическое различие народов состоит не в нравах и обычаях, — считал он, — не в пище и промыслах, не в религии, ибо все это у разных племенных народов может быть одинаково, а у единоплеменных различно. Единственный безошибочный признак есть язык: где языки сходны, там нет различия между народами, где языки различны, там нечего искать единомышленности».

С особым интересом он относился к текстам, написанным старорусским слогом: «Кто к старинным архивным письмам и к штилю оных привыкнет, тот подлинно оные читать будет со удовольствием». И далее восклицание: «Сколько каких слов и складов не покажется темных и совсем неизвестных тому, кто таких писем прежде не читывал! Он будет спрашивать, что то значит. И, может быть, скажут ему для толкования иностранное слово или склад, по свойству чужестранных слов украшенной, которые он лучше, нежели старинное российское слово или склад разумеет. Однакож самое сие приведет его во удивление, что он природного своего языка совершенно не знает. Он начнет размышлять: справедливо ли то, чтобы вводить чужестранные слова и складки, когда в природном языке недостатку не находится. Он будет сравнивать складки иностранные с подлинными российскими и узнает, что каждый язык имеет свое свойство и что из одного языка в другой, без крайней нужды, ничего занимать не должно».

Именно в Сибири Миллер определил важное для себя правило: нельзя отождествлять имена древних народов, рек и земель с именами вновь найденных, о которых древние никакого известия иметь не могли, сыскивать подобие, где его нет, толковать превратно, выводы делать — «сие, по моему мнению, не способствует к снисканию имени предосторожного и беспристрастного истории писателя».

А вот еще одно рассуждение: «...не должно отвергать всего старинного только для того, что оно старинное, а новое принимать для того, что новое».

Каждый человек, встреченный в Сибири Миллером и его спутниками, воспринимался ими прежде всего как «носитель истории». А история теснейшим образом связана с этнографией, археологией, географией, ботаникой, языкознанием и други-

ми науками. Стоит ли удивляться тому обилию разнообразных коллекций, которые они успели собрать за годы своего «научного путешествия» по Сибири? Среди них – собрание редчайших исторических документов, в том числе купленный в Томске у одного из остяцких «лучших людей» список с грамоты Ивана Грозного в Югорскую землю князю Певгею (1556–1557 годы), карты рек Томи и Иртыша, а также «сухого пути» от Ямыш-озера до Усть-Каменогорской крепости, словарники (записи наиболее употребительных слов в речи эуштинцев, томских остяков и других местных племен), перевод молитвы «Отче наш...» на вогульский язык (манси), «разное платье сибирских народов», «вещи идолопоклоннические», «курганные древности», «шаманское платье и бубен», драгоценные камни, лечебные травы, чучела зверей, птиц и многие другие «исторические обсервации».

Любопытны сведения Миллера о переменах в верованиях томских татар, телеутов, обских и чулымских народов.

«Еуштинцы раньше были язычниками, – отметил он, – однако, приблизительно 20 лет тому назад, большая их часть была обращена в мусульманство Саидом, главой чатского духовенства в Томском уезде. Остальные, не давшие себя уговорить в то время, в прошлом, в 1739 г., благодаря деятельности Саида (сына вышеупомянутого Саида) приняли обрезание. Чатское духовенство постепенно обратило в мусульманство также 30 томских семей; остальные телеуты, однако, остаются еще слепыми язычниками. Чулымские и другие ясачные татары, а так же остяки имели раньше одинаковую с еуштинцами религию, но все они в 1719 и 1720 гг. были через святое крещение приведены в христианскую веру сибирским архиепископом Филофеем. Они имеют также собственные церкви в местах, где поблизости нет русских сел с церквями. Однако многие из них, особенно живущие в отдалении, мало заботятся о христианстве и еще тайно служат своим старым идолам...»

В 1740 году, на обратном пути из дальнего «научного путешествия по Сибири», Миллер вновь побывал в Томске. Об очередном своем прибытии он заблаговременно известил местное начальство. Более того, прислал список документов, которые не успел разобрать в 1734 году, и попросил снять с них копии, а заодно подготовить ответы на вопросы разработанной им «ака-

демической анкеты».

– Ну это уж слишком! – возмутился комендант. – Непшто у меня других дел нет, кроме как такими пустяками заниматься? – и велел очистить кладовую палату канцелярии от ненужных бумаг, а напоследок пригрозил подьячим: – Чтоб все у вас в полном порядке к приезду этого писаки было! Ни одного мокрого или изъеденного листа! Сам проверю!

Подьячие и рады стараться: погрузили испорченные свитки и коробки с бумагами в телегу, вывезли ночью на берег Томи да и побросали в воду. Река-де все следы смое.

И поплыли архивные ценности вниз по течению, покачиваясь на волнах, распадаясь на части, застревая на прутьях тальника, уходя на дно или оседая на отмелях. Может, и не было в них ничего особенного для большой истории, но все равно жаль. Ведь любая потеря оставляет в душе вопрос: а вдруг утрачено что-то очень важное, необходимое, неповторимое?

Нетрудно представить, что пережил педантичный, целеустремленный, самолюбивый Миллер, столкнувшись с таким пренебрежительно-малограмотным отношением к своему труду.

Не менее болезненно пережил он упреки сотрудников канцелярии Петербургской академии наук, когда вернулся в Северную столицу три года спустя. Такие же, как он, «академические немцы», они были недовольны тем, что Миллер ничего иного, кроме собранных им сибирских архивов, скопированных «тамошними служителями», из экспедиции не привез. Все это, по их мнению, можно было «получить через указы Правительствующего сената, не посылая его, Миллера, на толь великом жаловании содержащегося».

Их имен сегодня никто не помнит, а Герард Миллер оставил в истории Сибири такой след, что его не случайно называли «отцом сибирской истории». По признанию крупных ученых, в общих исторических построениях он был не очень силен, зато сумел высоко поставить технику исторического исследования.

И Томск, несмотря на чинимые Миллеру тут препятствия, стал одним из самых успешных объектов его исследования. Узнав, что часть архива уничтожена, он принялся изучать оставшиеся документы. Постройка Томска, утверждал он, совершена с «немалою тамошней стране пользою». И это главное...

Люблю бродить по Томску, особенно по его старым, историческим районам. В них еще живет отзвук стародавних времен. Он рождает чувство, которое само слагается в поэтические строки:

На трех холмах,
На четырех ветрах
В краю таежном
Посреди Сибири
Стоит мой город
Над рекою синей,
Стоит
И отражается в веках.

Часть вторая

ТОМСКИЕ СКАЗАНИЯ

ЭХО РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

Устное творчество любого народа, будь то былины, сказки, песни, легенды, предания, притчи, хранят частицу его истории. Это особый, образный способ народного миропонимания и мироощущения, соединяющий фантастические представления об окружающем мире с реальностью, выстраивающие систему ценностей, которая складывается веками, из поколения в поколение, и сохраняет бесценные свидетельства, детали, факты, имена из далекого прошлого.

Вот и сказания томских татар-зюштинцев, дошедшие до нас в записях и пересказах русских собирателей фольклора, несут в себе немало интересных краеведческих сведений. Одно из них – «Предание о княжне Томе и Ушас» – еще в 1918 году услышал и записал у деревни Кафтанчиково близ Томска музейный работник, один из активнейших членов созданного в Томске Общества изучения Сибири Иван Михайлович Мягков. Семь лет спустя он опубликовал эту запись в третьем номере журнала «Сибирские огни». С тех пор эта легенда получила известность, особенно среди школьников, в силу своего возраста обладающих особой склонностью к сказочным сюжетам. В ней повествуется о возвышенной и негасимой любви княжны Томы и простолюдина Ушая. Подобно гибели шекспировских Ромео и Джульетты, их смерть стала гимном великому всепобеждающему чувству, для которого нет преград и запретов, а имена влюбленных превратились в названия рек – Томи и Ушайки.

В фольклоре сибирских народов существует довольно заметный пласт подобных сюжетов. На Алтае, например, есть трогательная легенда о пастухе Бие и дочери могущественного хана тех мест Катунни. Вопреки воле отца девушки влюбленные соединились, превратившись в реки Бию и Катунь, а хан окаменел от гнева и стал горой Белухой.

Есть подобная легенда и в Горной Шории, но там главными ее действующими лицами становятся богатырь Карлыган и красавица Томака. Любовь их была так сильна, а препятствия на ее пути так велики, что влюбленные превратились в две горы, а их

дочь стала рекой Томсу. Она рождается из расщелины голой вершины Карлыгана Таскыл и, одолев долгий путь (827 километров по сегодняшним меркам), впадает в матушку Обь. Именно эту реку мы и называем сегодня Томью.

Подобные сюжеты принято называть «бродячими», «вечными», характерными для многих «соседних» народов, но от этого их ценность не уменьшается. Ведь в каждую из них вкраплены свои местные особенности, свои верования и обычаи. К примеру, такой – называть реки и озера, горы и долины, стойбища и земли именами тех, кто связан с ними жизнью, а чаще драматической смертью, любовью или ненавистью, трудом или воинской доблестью. Взять хотя бы легенду о том, как создатель кочевого государства монголов (иначе говоря, «вечного бессмертного войска») Чингисхан, разгромив хана-соперника, взял в наложницы его любимую жену со словами: «Не ты ли говорила, что от монголов дурно пахнет? Узнай же, как на самом деле». Ночью, когда утомленный повелитель уснул, она заколола его ножницами, а сама бросилась в светлые воды реки Гуан-го. С тех пор реку стали называть Хатун-гол, что значит Женская река, а степь, где погребен хан Чингис, Нулун-таллой...

Но вернемся к легенде, записанной и опубликованной Мягковым в «Сибирских огнях». Она дошла до нас в нескольких вариантах, существенно отличающихся один от другого. И действуют в них не только мифическая княжна Тома и ее возлюбленный Ушай, но и вполне конкретные исторические личности – Тоян и Басандай. Правда, в одних сказаниях речь идет о князе Тояне, живо напоминающем того бикмурзу зюштинцев, по челобитию которого в 1604 году построен Томской город, а в других – о хане Таяне, жившем «в конце семи степей, за спиною девяти гор», и пишется его имя не через «о», а через «а». Разница в звучании небольшая, но по содержанию существенная.

Искать какие-то связи между столь разными сказовыми персонажами мне, признаться, поначалу не захотелось – очень уж это трудоемкое и не сулящее успеха дело. Вот я и сосредоточил внимание на текстах, в которых действует летописный князь Тоян. Документальные сведения о нем не противоречили фольклорным, более того, оставляли место для домысливания тех или иных ситуаций. Однако и хан Таян нет-нет да и возникал в памяти, трево-

жил мыслью, что чем-то он все же связан с князем Тояном — если не в пространстве, то во времени.

Это и побудило меня обратиться к историческим источникам, уводящим вглубь веков. Там рядом с именем Темуджина, которому еще только предстояло стать «владыкой вселенной» Чингисханом, и встретилось мне имя реально существовавшего найманского хана Таяна. Его владения простирались от верховий Иртыша и Оби до истока Селенги и были «заперты» между Хинганским и Алтайским хребтами.

Сведения о найманах скупы и противоречивы. Вот что сообщает о них иранский ученый, знаток истории, медицины, ботаники, строительной техники и естествознания Рашид ад-Дин (1247–1318): «Ранее эпохи Чингисхана государями найманов были Наркыш-Таян и Эниат-каан... Они разбили племя кыргызов... Буюрук и Таян, сыновья Эниат-хана, были современниками Чингисхана».

Рашида ад-Дина дополняет фламандский монах-католик Виллем Рубрук, совершивший путешествие в Монголию в 1253 году: «...на одной равнине между этих гор, — повествует он, — жил некий несторианин пастух (pastor), человек могущественный и владычествующий над народом, именуемым Найман и принадлежащий к христианам-несторианам. По смерти Кон-хама (властителя северных по отношению к Монголии стран) этот несторианец превознес себя в короли, несториане называли его королем Иоанном, говоря о нем вдесятеро больше, чем было согласно с истиной». Его страна отделена от рая высокой стеной.

Еще один монах, на этот раз францисканец из Испании (имя его история не сохранила), побывавший в Средней Азии век спустя, написал «Книгу познания», а в ней рассказал о христианском государстве царя Ивана. Есть в этой книге и описание Иванова царства, правда весьма фантастическое. В нем обитали рогатые и одноглазые люди, гиганты и пигмеи, слоны и белые медведи, пантеры и верблюды. И даже птица феникс имела. Сам Иван называл свое царство «Три Индии». Из его письма византийскому императору Мануилу Комнину следовало, что жители этого царства летают на крылатых драконах, возле царского дворца бьет фонтан с живой водой, а Иван владеет магическим зеркалом, в котором можно увидеть, что происходит в других концах мира.

Налет сказочности в этих свидетельствах не должен особенно смущать: его и отбросить можно. Важно другое. Если и не весь народ найманов, описанный монахами-путешественниками, имел христианские корни, то его предводитель (пастух-пастор) — определенно.

Имеет ли это отношение к предыстории нашего города?

Томский исследователь, автор интереснейших книг-гипотез «Сибирская прародина» (издана в Томске в 2004 году, переиздана в Москве в 2006 году), «Сибирское Лукоморье» (2005) и «Сибирская Русь и Александр Македонский» (Красноярск, 2013) Николай Сергеевич Новгородов убежден, что имеет. «У азиатских степняков не было имен, дававшихся от рождения до конца дней, — пишет он. — Ребенку при рождении давали одно имя, юноша носил другое, став мужем, он получал третье, а с получением ханской власти — четвертое. Таким образом, имя Таян, сохранившееся до XVII века, возможно, показывает нам, что уделом Таян-ханов были низовья Томи, район нынешнего города Томска».

Автор не случайно делает оговорку: «возможно». Ведь есть немало исторических свидетельств, которые расходятся с его предположениями. Обратимся к ним.

«Это было смутное время монголов, — читаем в исторических хрониках XIII века. — Их раздирали всенародная распря. В постель свою не ложились, друг друга грабили. Вся поверхность земли содрогалась — всесветная брань шла. Не прилечь под свое одеяло — до того шла общая вражда.

«Разве для того существуют солнце и луна, чтобы и солнце и луна светили и сияли на небе рядом? — говорили друг другу соседи-соперники Темуджин и Таян. — Так же и на земле. Как могут быть на ней рядом два хана?»

В 1204 году Темуджин с войском в сорок пять тысяч всадников вторгся во владения Таяна. Тот отступил к реке Алтай, что рождается на склонах Хангая. Там и произошла решающая битва. Храбро дрался Таян, много тяжелых ран получил. Вместе с нукерами (военные слуги вождя) взобрался он на вершину крутой горы Наху-гун, предпочтя смерть пленению.

«Кости ломались, как сучья, — так описали древние историки эту битву. — Лошади скользили на крови от ее множества. Горы дрожали. Две тучи, зацепившись за острия горы Наху-гун, тоже

кровью пролились. Малая кровь принадлежала Темуджину, большая Таян-хану. Мясом найманов долго потом откармливались псы. Так Темуджин стал хозяином монгольских степей».

Но ведь, заметим себе, схватка мифического Таян-хана с пастухом Ушаем в эуштинском сказании «Схватка в небесах» очень напоминает описание этой битвы...

Смерть предводителя далеко не всегда означала смерть народа. Разбитые, но непокоренные телеутские племена найманов и очу бежали в низовья Иртыша к реке Сибирке (район нынешнего Тобольска). Позже люди из племени очу, чернореченские и чатские татары откочевали в Притомье и на Алтай, пустили здесь крепкие корни. Но и оторвавшись от своих исторических корней, они сохранили память о былых временах и былых правителях, прежде всего о хане Таяне.

География сказания «Схватка в небесах» удивительным образом совпадает с географией переселения разбитых Темуджином найманов. Понятным становится и то, в каком именно Алатау построил хан Таян дворец-тюрьму для красавицы Томи. Ну, конечно, в Кузнецком, точнее говоря, в землях шорцев, которые умели делать железо и ковать из него металлические изделия. Там, на голый вершине Карлыган, и рождается чистоводная река Томь.

У тех же кузнецов-шорцев (еще их называли темир-узы, то есть делатели железа) есть трогательная легенда о вечно юной Таян-Арыг, что значит «чистая опора». Следовательно, имя Таян в далеком прошлом носили не только мужчины, но и женщины южной Сибири и северного Алтая.

Так вот и получилось, что сказание, которое поначалу не укладывалось в историю Томска изначального, при более внимательном рассмотрении помогло мне понять его предысторию, стало ключом к сказаниям «Богатырь Эушт» и «Легенда о Белом озере». Надеюсь, станет оно путеводным и для читателей этой книги.

Еще одно сказание томских татар-эуштинцев родилось в поселении Тахтамышевы юрты. По преданию старожилы, именно здесь, за рекой, в шести верстах от Томска покоится прах хана Тохтамыша, прямого потомка Чингисхана, одного из правителей Золотой орды (то есть орды, правитель которой восседал в шатре, крытом золотой тканью и золотыми обвязками, что свидетельствовало о его величии и могуществе). В 1382 году он организовал

поход в русские земли и большой урон им нанес. Его жизнь — это цепь громких побед и столь же громких поражений.

И снова исторические источники подтверждают: так могло быть. Многолетняя война хана Тохтамыша с бывшим его другом-темником и эмиром Средней Азии Тимуром, известным также под именем Тамерлан, закончилась поражением Тохтамыша. Он был свергнут, бежал к литовскому князю Витовту, но вместе с ним вновь разбит на реке Ворскле, на этот раз новым ханом Золотой орды Темир-Кутлауем. Некоторое время после этого Тохтамыш управлял столицей Сибирского ханства Искером (она же Сибир, Кашлык), а закончил свои дни ссыльным в удельном княжестве эуштинцев. Но, даже лишившись власти, загнанный в далекий сибирский юрт Кызыл-Каш на нижней Томи, больной и стареющий Тохтамыш мечтал вернуть себе безграничную власть в орде. Его посланцы тайно отправлялись в разные пределы огромного золотоордынского ханства в поисках сторонников. Узнав об этом, эмир Элигей решил умертвить своего все еще влиятельного соперника. С этой целью он послал на Томь своего сына Нурданбека. Скорее всего, именно он и стал прообразом «неизвестного богатыря» в сказании «Могила хана Тахтамыша».

Сто лет назад неутомимый археолог, этнограф, редактор газеты «Сибирская жизнь», автор увлекательного краеведческого исследования «Томская старина» Александр Васильевич Адрианов вместе с такими же, как сам, учеными-энтузиастами отправился в Тахтамышевы юрты (ныне поселение Тахтамышево) в надежде отыскать место погребения легендарного хана. Были вскрыты десятки захоронений, но в них покоились останки простых смертных. Однако экспедицию Адрианова нельзя назвать неудачной. Нашлись долгожители, в памяти которых сохранились предания, в которых грозный Тохтамыш, имя которого писалось через «о», еще не превратился в Тахтамыша мифического, ставшего мудрым и человеколюбивым, имя которого писалось через «а».

Именно хана Тахтамыша позже изобразил на своем красочном полотне художник и камнерез Фарид Мухаммедович Рецепт, родившийся и до конца своих дней проработавший учителем в Тахтамышево. Свою национальность он относил к ирано-индийской ветви и фамилию на русский язык переводил соответственно: Королев.

Особым разнообразием сюжетов сибирский народный эпос не отличается. Вот и томские сказания имеют похожую конструкцию: любовь-ненависть становится в них причиной поединка, а поединок венчает торжество или гибель главных героев. Но важна ведь не только сюжетная конструкция. Не менее, если не более, важны мотивы любви-ненависти. А вот тут в творческой палитре сибирских певцов-сказителей обнаруживается удивительное разнообразие жизненных коллизий, умение выделить главное, вложить в текст свои сокровенные мысли и чувства, найти единственно верные, наивно-мудрые краски.

Главная причина поединка в сказании «Схватка в небесах» — месть пастуха Ушая своему поработителю хану Таяну. К ней по ходу действия добавляется другая — борьба за внезапную любовь к Томе, молодой жене хана. Во втором сказании богатырь Эушт сражается со звероподобным чудовищем и черным богатырем, чтобы породниться с Духом Тайги и Золотым Кедром, стать жителем сибирского края. В третьем он совершает подвиг самопожертвования, а это тоже поединок, но уже с самим собой. Хан Тахтамыш бьется за власть с богатырем, олицетворяющим тех, кто отнял ее у него. В следующем сказании борьба отцов, Тояна и Басандая, приводит к гибели детей, влюбленных друг в друга. Та же борьба отцов в сказании «Томы и Ушай» обостряется изменой Басандая Эуште. А измена у любого народа — это самое тяжкое преступление. Ведь родная земля — «золотая колыбель».

Не только в татарских народных сказаниях, но и в царских грамотах начала XVII века имя мурзы Басандая упоминается с той же отрицательной оценкой — «вор и изменник». Борясь за старшинство в Эуште, он стал врагом князя Тояна, решившего объединиться с Русией. Сам же Басандай считал, что Эушта должна стать вассалом могущественных владык южной Сибири. Ведь они тоже тюрки, а не иноверная и иноязыкая Хаданга (Россия).

Казалось бы, чем его выбор хуже того, что сделал Тоян? Ведь им двигали чувства, которые вполне можно отнести к патриотическим.

Так-то оно так, да не совсем так. В рецензии на мой исторический роман-трилогию «Клятва Тояна» («Российский писатель», 2005, № 22) народный поэт Алтай Аржан Адаров ответил на этот вопрос так: «Тогда карта Сибири была пестрой, многонациональной,

наполненной бесчисленными противоречиями. Крепко стояли джунгарские ханства дербен-ойратов, монгольских Алтын-ханов, бухарского эмирата, султаны черных киргизов. До сих пор почему-то принято считать, что от монгольско-татарского ига пострадала только земля русская. От этого ига в первую очередь пострадали народы Сибири, Казахстана, Средней Азии. Только политика, объединяющая и защищающая мирные племена от бесчисленных набегов воинственных народов, помогла России укрепить свои позиции и освоить богатейшую страну Сибирь... Сама история разрушает бытующую еще у части историков и недобросовестных политиков версию о сугубо насильственном присоединении Сибири к России, о порабощении русскими сибирских народов. В действительности все происходило сложнее и вместе с тем проще. Закон выживания диктовал необходимость для малочисленных племен встать за спину сильного, приняв его подданство. Именно так поступил Тоян... Хочется подчеркнуть: сам, по собственному желанию, исходя из исторической необходимости».

Правление Тояна длилось более тридцати лет. Это подтверждают исторические документы — грамоты, отписки, челобитные. А Басандай сошел с исторической сцены уже через несколько лет после основания Томска. В устном народном творчестве их имена стали нарицательными. Одно олицетворяет светлое, справедливое, человеколюбивое начало, другое — темное, жадное, отступническое.

Первое упоминание об устном народном творчестве татар-эуштинцев относится к 1860 году. В № 52 «Томских губернских ведомостей» появилась тогда статья Я. Андреева «Сибирская старина». В ней шла речь о томских преданиях, в том числе о сказовой истории Юрточной горы. На ее вершине (район почтамта) стояли когда-то юрты пастухов и легендарного Ушая. Затем здесь жил татарин по имени Гурбан. Это место полюбилось молодежи юного города Томска. По праздничным дням она устраивала здесь песни и пляски, с юмористическими скороговорками (такмак) и загадками. Так вот и родилась традиция — ходить сюда на заговение перед Петровым постом «топтать Гурбан». Интересна она прежде всего тем, что объединяла православных и мусульман.

Однако для исполнения сказаний о богатырях, любви и верно-

сти, земных и небесных силах, сопровождающих человека и его род, требовались другие условия – тишина, внимание, готовность слушать и сопереживать.

Фантазия народных сказителей имеет удивительное свойство: крупницы подлинной истории она укрупняет, расцветчивает воображением, делает занимательным и непременно поучительным. У сибирских племен, занимавшихся охотой и коневодством (к их числу относились и томские татары-эуштинцы), был обычай брать с собой на промысел или пастбище певцов-сказителей (кайчи).

Свое искусство они показывали непременно ночью – у костра или у домашнего очага. Ведь ночь, как считалось тогда, самое опасное время для человека. Это время духов, с которыми лучше не связываться. Вот и нужно отвлечь их, ублажить, задобрить, восхитить. Тогда они будут милостивы днем: под стрелы охотников отборную дичь загонят, траву на пастбище гуще и сочнее сделают, удачу в домашних, торговых и других делах принесут, правильно поступать научат. А для слушателей это не только удовольствие, защита от духов, но и наука, как жить, к чему стремиться, чему подражать.

Песенные повествования кайчи могли длиться и час, и два, и три – по настроению слушателей, которых отличало трогательное простодушие, доверчивость, свойственные жителям тайги, гор и степей, особая ритмика и душевный настрой. Природа для них удивительным образом очеловечивалась. Каждой горе, реке, долине, лесу не только название давалось, но и живописный образ. С детской непосредственностью народные сказители рисовали голову, уши, плечи, лопатки, подмышки, грудь и колени гор, пуп и чрево земли, бедра, сосцы, лоно рек и озер, мохнатое брюхо или отцовскую крышу гор... А какие выразительные сравнения у них рождались – «будто день светла девушка, напившаяся молодого сна» или «красива жирная овца – луна красивее сто крат»... Как точны и уместны пословицы и поговорки – «болтая много, никогда не станешь умным, стреляя сдуру, никогда не станешь метким»...

К сожалению, это бесценное языковое богатство при записях эуштинских сказаний было утрачено. До нас дошли тексты, похожие скорее на подстрочники, чем на оригинальные произведения.

В них сохранилась сюжетная канва, но перестроенная на русский лад, я бы сказал, усредненная, не дающая полного представления о национальных особенностях притомских татар, их мифологии.

В 1951 году в томской школе № 7 под руководством страстного краеведа, учителя истории Николая Витальевича Татаурова ребята создали первый в Томске школьный музей, посвященный истории любимого города. Много ценных экспонатов собрали они, много ярких сочинений написали, много увлекательных экскурсий со сверстниками из других школ провели. Само собой, не прошли мимо их внимания сказания и легенды, в которых оживали богатырь Эушт, князь Тоян, мурза Басандай, меткий стрелок из лука Ушай, княжна Тома и другие персонажи, имена которых запечатлены в местных географических названиях (топонимах). Это и побудило Татаурова сделать литературную обработку ряда скопившихся в архивах легенд. Интерес у томичей они вызвали огромный, а для школьников стали одним из пособий для внеклассного чтения. В 1993 году издательство Томского государственного университета выпустило их книжкой, которая так и называется – «Томские сказания».

Однако и в этом, безусловно, интересном издании, и в литературных вариациях других авторов чувствуется главенство не столько татарского, сколько русского фольклора. Для чтения это, может быть, и плюс, но дух истории, ее национальный колорит дают почувствовать прежде всего язык народа, его непрукрашенное мифотворчество. Вот почему для этой книги я сделал историческую и художественную реконструкцию томских сказаний, постарался вернуть им национальные краски, утраченные во времени.

СКАЗАНИЯ ТОМСКИХ ТАТАР

ОХВАТКА В НЕБЕСАХ

Давным-давно это было. Нынешнего прежде, прежнего после. На конце семи степей, за спиною девяти гор жил народ, опоясанный мечом. Его предводителем был грозный хан Таян, что значит «опора». Отправляясь в поход, он надевал черный, как сажа, панцирь, брал в руки копье, которое не промахивается, цеплял семидесятигранный меч, который о чужие кости не тупится, садился на клыкастого коня с бронзовыми боками, и тогда ему не было равных. При взгляде на Таяна и его войско не отваживались плавать гуси, злые вороны падали наземь, а враги пускались в бегство. Горы еды, одежды и толпы пленников сами стекались к нему. Богатства множились день ото дня. Никому другому Таян не оставлял даже кожу с ног быков. Вот почему одни люди любили его, другие боялись, третьи ненавидели.

Среди ненавидящих был молодой пастух Ушай, человек разоренного Таяном племени. Он вырос в неволе, без материнской ласки. Одежда его состояла из кожаного халата, как у низких рабов, пища из грубой каши, которую он ел из собачьей чашки, постель из колючей травы или жаркого песка. Больше всего Ушай любил коней, которых пас. Он часто разговаривал с ними, играл на курае* и пел то грустные, то воинственные песни. В одной говорилось:

Та, что кормила меня грудью,
Моя мать. Эй! Эй! Эй! Эй!
Мой отец с русыми волосами
И повязкой на лбу, не похожий на остальных.
Эй! Эй! Эй! Эй! Где вы?
Я должен отомстить за вас толстощеки.
Я должен стать сильнее себя.
Эй! Эй! Эй! Эй! Таян, ты заплатишься,
Так и знай!

* Дудка из полого стебля дягиля.

У Таян-хана тем временем была своя печаль. Семьдесят семь жен имел он, но ни одна из них не смогла родить ему сына-наследника. Устав терпеть такое, он велел закопать их в землю живыми. При себе лишь красавицу Тому оставил – не поднялась на нее рука. В неприступных горах среди вершин с сильным ветром, среди скал, вбитых вглубь неба, среди белых заоблачных льдов Алатау* построил Таян для нее дворец-тюрьму, украсил драгоценными камнями и золотом. Только горные орлы знали путь к нему, только Таян умел пройти во дворец через открывающиеся-закрывающиеся скалы и назад выйти.

Туда-сюда скакал Таян, чтобы увидеть Тому. Через земли чужого народа перебирался. Топот множества коней – погоню за собой слышал. Молодым огнем на склоне лет горел. Но при виде его Тома склоняла голову, как будто соль ей в глаза попала. И тогда гневом вскипали сердце и лицо Таяна.

– Зачем ты смотришь на меня, будто я ресница в твоем глазу? – спрашивал он, задыхаясь от возмущения. – Зачем ты кривишься, будто я заноза у тебя в зубах? Ты должна быть рада мне. Ты должна дать мне сына. Если не сделаешь, пусть тебя не будет на этой земле!

Ничего не отвечала Тома, весне подобная. Через силу пила из золотого ковша, через силу ела с серебряных блюд, через силу ждала, когда хан уйдет-скроется-оставит ее хоть на время. Не радовали Тому узорные шелка, не ласкали взгляд расписные ковры, не слышала она звона драгоценных монист, которые дарил Таян. Не лежало к нему ее гордое сердце.

Однажды, когда Таян заснул от огорчения, что не видит желанной жемчужной улыбки на губах Тома, случилось неожиданное. Через открывающиеся-закрывающиеся скалы проник внутрь дворца-тюрьмы юноша в бедной одежде, но с видом богатыря. Это был Ушай. Выследить Таяна и добраться до тайного места в горах ему помог конь Эрдине, что значит «драгоценность». Этого коня Ушай заметил еще жеребенком. Заботился о нем, как о родном. Чувствовал, что это необычный конь. Так и оказалось. Когда надо, у Эрдине появлялись крылья, глазу других людей невидимые. Когда надо, нюх у него становился как у собаки, идущей по следу. Когда

никого не было рядом, Эрдине говорил с Ушаем человеческим голосом, и они оба были довольны.

Оставив Эрдине у входа, Ушай вошел вглубь горы, украшенной расписными коврами и прозрачными тканями с золотым и серебряным шитьем. Перед ним было много дверей. Горю нетерпением отомстить Таяну, бросился Ушай в одну, бросился в другую, бросился в третью. Никого в них не видно. Лишь в четвертой увидел женщину такой красоты, будто она сама собой родилась, пупа не имея. Ее лицо подобно свежей летящей радужной воде. Ее глаза жгли, как удары лунных подков. От ее вида зазеленел бы, кажется, и сухой кедровник.

– Кто ты? – заворожено остановился Ушай. – Назови свое имя!

– Я – та, которая живет взаперти, – ответила красавица. – Таян считает меня своей женой, но разве может быть жена у гнилого дерева? Зови меня Томой. Это имя дали мне родители. Я давно не слышала, как его произносят люди, подобные тебе. Заодно и свое имя назови. Мне кажется, оно достойно человека, осмелившегося войти сюда наперекор хану.

– Люди называют меня Ушаем, – был ответ. – Таян мой народ сожрал, рабом меня сделал. Хочу, чтобы он за свое зло поплатился.

Стали они дальше разговаривать. Чем дольше разговаривали, тем сердца их громче стучали.

– Как ты прекрасна! – не мог скрыть своего восторга Ушай. – На горный цветок танталай* похожа. Я видел тебя во сне, теперь открытыми глазами вижу. Здесь ты и того лучше. Под мышкой голубой скалы у входа стоит мой крылатый конь Эрдине. Самая большая месть Таяну будет, если я заберу тебя с собой. Разделишь ли ты мои скитания?

– Я ждала тебя семьсот дней, – припала к его груди Тома. – Я ждала тебя семьсот ночей. Теперь мое ожиданье сбылось. Как же я могу не пойти за тобой, если ты зовешь?

Обо всем на свете забыли они. Собираясь идти, не шли – так им хотелось насмотреться друг на друга. Ноги не слушались. Руки не расцеплялись. Время летело незаметно.

Но вдруг зашевелились стены гор, зазвенели подвески из дра-

* Название, образованное словами ала – пестрые, тау – горы.

* Род эдельвейса.

БОГАТЫРЬ ЭУШТ

гоценных камней, задрожали светильники. Это верный конь Эрдине от нетерпения копытом топнул.

Очнулись влюбленные, поспешили к выходу. Но очнулся и Таян. Увидев убегающих, взревел он раненым зверем, выскочил из дворца следом. Тут началась у них с Ушаем беспощадная битва.

Вскочил Таян на своего клыкастого коня, ударил Ушай палицей с железными шипами. Пошатнулся Ушай, но белый, как снег, Эрдине не дал ему упасть. Подхватил к себе на спину и отпрыгнул в сторону.

Силен хан Таян. Тело у него железа крепче. Удар как молния. Дыхание как болотный туман. Но Ушай не слабее хана.

Вот носятся они по небу, похожие на темную и светлую тучи. Когда спшибаются, не дождь на землю падает, а кровь дождем сыплется. Таяна клыкастый конь белого коня Ушай зубами свирепо рвет. Изорвал совсем.

Не устоял Эрдине. Ослабли его израненные крылья. Упал на каменистую землю вместе с Ушаем.

Налетел сверху злобный Таян, мечом семидесятигранным на семьдесят частей их рассек. Потекла кровь Ушай и его верного коня сначала ручьем, потом рекой.

Узнав об этом, бросилась со скалы Тома. Поток слез подхватил ее. Долго она неслась так, пока не стала другой рекой. Там, где они соединились, зародилась Том-тура, иначе говоря, Томская крепость. Те, кто живет в ней теперь, называют ее городом Томском.

Давным-давно, на рассвете лет, когда золото валялось у нас под ногами, но брать его было некому, в лесных землях у реки с темной-светлой водой появился человек, изможденный дальней дорогой. Зарывшись в горячий песок, он уснул и проспал так три дня. Потом встал и отправился на охоту. Мало ли охотился, много ли охотился, вдруг видит, звероподобное чудовище с мохнатой шерстью на брюхе, с маленькими острыми ушами и с клыкастой пастью глотателя преследует жеребца-однолетку. Убив мать-кобылицу, он хотел и жеребенку горло порвать.

Не стал раздумывать человек, сразил чудовище своим острым копьём, а жеребенку сказал: «Со мной живи, я тебя в обиду никому не дам». Потом снял шкуру с чудовища и повесил сушиться. Рядом костер развел, стал еду себе готовить.

Не понравился дым, не понравился огонь Духу Тайги. Закашлялся он:

— Так и меня сжечь можно.

Потом велел своему сыну Золотому Кедру:

— Пойди посмотри, кто из дышащих посмел наш покой нарушить. Если он со злом пришел, пусть ноги его на этой стороне останутся, а голова на другую сторону ляжет.

Золотой Кедр сделал так, как Дух Тайги сказал.

— Откуда ты взялся? — зашуршал он над головой пришельца колючими ветками. — Здесь распоряжается мой отец, вырастивший траву на земле, иглы и листья на деревьях, направляющий птиц и зверей, владыка всех лесных созданий. Скажи, кто ты такой и что от тебя ждать?

— Мое имя Эушт, — спокойно ответил тот. — Я пришел издалека, чтобы посмотреть, хорошо ли будет здесь моему народу.

— Каждый народ должен жить там, где живет, — нахмурился Золотой Кедр. — Если все будут с места на место ходить, порядка не будет.

— Ты прав, — согласился Эушт. — Но я тебе так скажу: наверху черный берег, красный берег внизу. Не было бы красного берега, не было бы нужды покидать нам свои прежние жилища. В мыслях у меня нет ничего плохого. От-эне (мать огня), что живет в ка-

ждом очаге, научила меня не причинять вреда живущему рядом. Если твой отец и ты доверитесь мне, потом не пожалеете. Что бы ни случилось, я буду на вашей стороне.

— Тогда покажи, что ты можешь. По ту сторону реки на горе озеро есть. Оно черными слезами наполнено. От них все черно вокруг — лес, трава, птицы, звери, небо. В том озере черный богатырь живет, зла мешок. От его могучего рева беременеют все лосихи вокруг. От его вонючего дыхания поднимается ядовитый туман. Его ноздри пышут огнем, от которого тайга загорается. Слабое место у него в левом ухе находится. Если проткнуть его, все опять живым станет, черное в белое превратится.

— Ладно, — сказал Эушт. — Покажу.

Вот он надел шкуру убитого чудовища, нашел черное озеро. А под горой копьё острием вверх воткнул.

Не узнал его черный богатырь, подумал, что это звероподобный сосед-глотатель к нему в гости идет. Обрадовался ему. Огонь и ядовитый туман перестал делать. Скорей навстречу идущему поспешил. Хотел его трижды обнять, как положено. Но тут Эушт шкуру чудовища с себя сбросил, поднял черного богатыря выше головы и левым ухом на копьё бросил. Точно попал.

И сразу все другим стало. Вода и небо глубиной наполнились. Черные деревья покрылись зелеными листьями. Свежий ветер туда-сюда полетел. Черное озеро превратилось в белое. Кто из него напьется, сильным станет, здоровым станет, счастливым станет.

Эушт сам из озера напился. Заодно жеребенка напоил. И тот сразу взрослым сделался, сильным и, как озеро, белым.

Обрадовались Дух Тайги и Золотой Кедр, подарили Эушту решетки и кошмы для юрты, вырезанную из дерева посуду и многое другое. Задумались, что бы еще хорошее подарить? Но так и не придумали.

Вскоре настала зима, а зимою замерзает даже небо. Но это лучшее время для охоты. Много дичи попадалось Эушту. Он добывал ровно столько, сколько требовалось ему для еды и одежды. Очаг растапливал только сушняком, оставляя живые деревья расти.

Потом земля раскололась, и появилась зелень. Это наступила весна.

Дни шли за днями. Дух Тайги и Золотой Кедр привыкли к Эушту, стали считать своим. Порою они незримо появлялись

у дымового отверстия его юрты, через которое прорастало домашнее дерево*, и наблюдали, что он делает.

Эушт отдыхал, готовил еду или тихим голосом пел песни. Все чаще и чаще в них звучали печаль и одиночество, несовместимые с весной. Вот одна из этих песен:

Что есть ценного в лесу?
Ценен прекрасный соболю.
Что есть ценного в моих мыслях?
Это девушка с шестью косами.

Ее брови — черные бобы!
Ее душа подобна соколу.
Я для нее гусь, добыча.
Моя грудь — приманчивый бубен.

Ах, жизнь без милой,
Пусть она длится хоть тысячу лет,
Не стоит она и дня...

Как-то раз, после такой песни, спустилась с дерева к Эушту белка и, превратившись в девушку с шестью косами, одетую в платье невесты из красного сукна, встала от него по левую руку.

— Это моя дочь, — сказал охотнику Дух Тайги. — Пусть она будет хозяйкой твоего жилища, матерью твоих детей, число которых превысит выводок глухарей! Пусть их будет больше, чем ивовых прутьев! Да сияет перед тобой всегда месяц. Да светит всегда за тобой яркое солнце! Пусть перед тобой по твоему подолу идут дети, а за тобой идут большие стада! Да будет платье твое всегда чистым. Да будет спина твоя всегда здоровой. Да будет всегда быстрым твой разум. Пусть вечно длится твоя жизнь!

Не верил своим глазам Эушт, глядя на девушку. Не помня себя, слушал он неожиданные слова Духа Тайги. Огнем горело его сердце. Радостью светились его глаза. Птицами разлетались его мысли.

* Символ триединства мира: его вершина служит коновязью небесному богу, корни — подземному, ствол — земным духам и самому человеку.

Опомнившись, позвал Эушт своего верного коня, посадил девушку себе за спину и помчался ввысь, напевая:

Взмахивай своими крыльями, мой летящий конь!
Поднимайся в высокое небо! Ын, ын, ын!
Выше белых облаков, выше синих туч,
В недра голубого небесного простора.

Я хочу, чтобы нами любовались Таг-Ээзи и Алтын-Ерс*,
С которыми я давно породнился.
Я хочу, чтобы моя спутница замирала,
Когда мы скачем наперегонки
С властителями неба. Ын, ын, ын!

В прекрасной солнечной стране
Есть хороший водопой – Белое озеро.
Рядом далеко видна река Тоом.
Скитания мои кончились.
Здесь мне суждено жить.
Хватит здесь места и моему народу.

Пусть дальше скачет Эушт по небу. Все равно к своему жилищу с деревом в дымоходе вернется. Его удачу-счастье, в одно соедня, я, рассказавший все это, теперь собрал, в широкий мешок записал. В кустах я белого зайца поймал. На белого зайца навьючив, в эту землю доставил. Сидя слушавшим людям полные доли доставил, лежа слушавшим людям полдоли доставил. Хочу, чтобы они сказали: «Так! Так!»

* Дух Тайги и Золотой Кедр.

ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ОЗЕРЕ

В старое время это было, когда народ Эушты совсем молодой был, болезней не знал, зла не ведал. Кто придет, всех с радостью встречал.

Однажды пришли два человека с добрыми лицами и хорошими словами. На самом деле это были враги всего живого Дельбеген* и Каракула**. Пожили они, поели и ушли дальше, захохотав. После них стали люди в Эуште болеть и умирать.

Много народа умерло. Никто не мог понять, почему.

Стал за всех отвечающий Эушт думать. Ничего не придумал. Решил спросить совета у Духа Тайги, своего родича. Тот лишь вздохнул тяжело:

– Горошина овечьего помета целый бурдюк портит. А у тебя две побывали. С языков, источающих мед, яд может капнуть. Вот он и капнул.

– Что же делать? – озадачился Эушт.

– Грязь чистотой и бесстрашием лечат. Нет зла, которое они не пересияют. Нет болезни, которую они не одолеют. Завтра закипит озеро по ту сторону реки, огнем и смрадом покроется. Это шайтаны во главе с Дельбегеном и Каракулой на пир соберутся. Если ты в озеро завтра сумеешь войти и трижды в него окунуться, злые силы рассыплются, твой народ в покое оставят.

– Пусть высушит меня солнце, если я этого не сделаю! – поклялся Эушт.

Назавтра он рано встал и отправился к озеру. Лицо от огня прятать не стал. Не стал зажимать нос от вонючего запаха. Когда шел, глаза у него полопались, кожа задымилась, одежда в золу превратилась; Эушт все стерпел. Все три раза в горящую воду стойко окунулся.

* Дельбеген – людоед с семью головами.

** Каракула – чудовище, живущее у края неба; так же звали тайшу (самого знатного князья калмыцких племен), воевавшего с монгольским Алтын-ханом и Казакской (кыргыз-кайсацкой) ордой.

МОГИЛА ХАНА ТАХТАМЫША

Тогда вода стала чистой, жизнь сотворяющей. Шайтаны в страхе в разные стороны разбежались. У косматого Дельбеге-на из семи голов одна осталась. На время он забыл, как людских жен и детей красть, болезни на них напускать, стойбища разорять. А у Каракулы ноги переплелись, язык тугим узлом завязался, уши тощими крыльями стали. Полетел он на них, как ощипанная утка.

Пришли к озеру люди Эушты, омыли водой лицо и грудь, молодыми и здоровыми снова сделались. После этого на берегу палатку печали они поставили. Посыпая голову золой, женщины начали Эушта оплакивать:

— Наша жизнь дороже своей для него оказалась. Вот какой был у нас предводитель! Пусть его имя живет вечно! Горе нам! Слава Эушту!

Не успели они все слезы выплакать, как из молочных глубин исцеляющего озера вышел белый золоторогий олень. Все сразу поняли, что это Эушт. И до сих пор он указывает белый* путь своему народу. А озеро с тех пор Белым называется.

Это было давным-давно, в незапамятное время. На берегу светлого озера Куль жил молодой старец Тахтамыш. Никто не знал, откуда он родом. Его привезли когда-то килмешек (пришлые) в боевых одеждах и связанным бросили. Он развязался и сделал лук с десятиглазми* стрелами, которые, летя, свистели. Услышав этот свист, звери и птицы ошеломленно замирали, потом убитыми падали. Так Тахтамыш охотиться стал.

Однажды, исходив ноги по тайге, он уснул крепко, обняв пригорок с зеленой травой, как обнимают невесту. Тогда из травы появилась красавица и разбудила охотника.

— Тебя мне только не хватало, — обрадовался Тахтамыш. — Будь в моем доме хозяйкой.

С этими словами он надел на шею девицы свой платок. Так Тахтамыш обзавелся красавицей женой Томар, что значит «стрела с тупым концом». Такая стрела, попадая, не портит шкурки соболя, куницы, горностая.

Стали люди приходить к Тахтамышу. Стал он приходить к людям. Слава о его уме и меткости далеко пошла. С молодыми он вел себя как молодой. Со стариками как старец.

Никто не мог победить его в рукопашной борьбе. Никто не мог сравниться с ним в мудрости. Имеющие много табунов кааны** считали за честь сесть с ним вокруг большого камня с плоской поверхностью, чтобы играть в кости. Много коней Тахтамыш у них выиграл, но всех без жалости отдал тем, у кого их не было. Лишь одного себе оставил — лучшего. Ак-Кулатом его назвал, что значит бело-игренивый***. Так Тахтамыш обзавелся быстроногим скакуном и сам стал вместе с ним быстроногим.

Не было у Тахтамыша ближних врагов, но нашлись дальние. Явился однажды в Кызыл-Каш посланник одного из тех килме-

* З «Белый» означает «счастливый, божественный».

* Образное обозначение стрел с десятью отверстиями.

** Понятие, равнозначное слову «господин».

*** Игренивый (игрений) — конь рыжей масти с белесоватой гривой и таким же хвостом.

шек, что привезли его сюда связанным и бросили. Не стал говорить с ним Тахтамыш. Вместо этого навьючил на спину ему седло и, захохотав, отпустил.

Вот другой посланник пришел. Тахтамыш ему бороду обстриг, а это не меньшее оскорбление. Тогда явился отомстить за прежние оскорбления третий. Это был настоящий богатырь – величественный, как кедр, с плечами, похожими на камни. Сидел он на мохнатом пятнистом коне, в руках держал многосильный меч.

– Покажи, на что ты способен! – вызвал он на поединок Тахтамыша. – Я вобью тебя, как острый кол, в землю!

Усмехнулся Тахтамыш, молча вскочил на Ак-Кулата и выехал на широкий луг перед озером. Был он ростом, как все, но вдруг стал великаном, подобным приезжему богатырю.

Удивились люди: как это может быть?! Стали дальше смотреть.

Тут гром над головой раздался. Солнце скрылось за черным туманом. Полетели по небу, как змеи, молнии. Посыпались, как железный дождь, удары. Кони птицами вились. Богатыри, как падающие скалы, спшибались.

Каждая капля крови, Тахтамышем пролитая, красной ягодой становилась. Каждая капля, приезжим богатырем пролитая, в жабу превращалась, прыгать среди травы начинала.

Семь дней так бились они. Семь ночей бились. Тут не выдержала Томар, юная жена молодого старца Тахтамыша, взмолилась:

– Оставь его, муж мой! Побереги себя! О чем поспорили, расскажи! Может, зря поспорили.

Оглянувшись Тахтамыш, хотел ей ответить. Но тут приезжий богатырь вихрем налетел на него и снес мечом голову. Упала она и покатилась по широкому лугу, так что луг вздрогнул. Захохотал победитель, сказал, обращаясь к голове:

– Когда ты был великим ханом, Тахтамыш, твои нукеры так же делали. Поставив побежденного у тележного колеса, они ровняли его ростом с чекой, отрубая голову. Вот и ты поживи без головы. Боялись тебя люди. Боялись тебя народы. Ты растерзывал их, как лохмотья. Города превращал в пустыни, дороги в цепи зловонных могил. Золото и шелковые ткани, сыновей и дочерей, волов и коней – все, подобно ковру, ты сворачивал и увозил с собой. За все плохое я тебе сейчас отомстил. Все хорошее, что случилось с тобой после, останется здесь. Прощай!

Так сказал неизвестный богатырь и ускакал в неизвестном направлении.

Никто не стал его задерживать.

Все смотрели на отрубленную голову и удивлялись:

– Неужели все это время с нами жил великий хан? Как мы этого не знали?

С почестями предали земле Тахтамыша люди. Под огромной лиственницей положили его – в боевых доспехах. В жертву Ак-Кулата по обычаю принесли, голову коня возле ног хозяина положили.

Стоя над могилой, самый старый человек рода сказал:

– Настоящему охотнику зверь сам в руки бежит. Настоящий хан в бою погибает. Искал на небе, а нашел у ног. Счастье переменчиво, но плохая ли, хорошая ли память вечна. Будем ее хранить.

Что до юной жены Тахтамыша, то она, узнав, кого потеряла, бросилась в ближний водоем. С тех пор он называется Черной речкой. Впадая в большую реку, Черная речка тоже становится большой, и тогда люди называют ее Томар или Томой.

ЗОЛОТОЙ АРКАН

Около большой реки на высоком месте, окруженном золотистым карагайником (сосняком), стоял хорошо укрепленный городок князя эуштинцев Тояна, а на другом берегу жил со своим племенем мурза Басандай. Хоть и соседи они были, а согласия между ними не было. Басандай тайком посылал своих людей в охотничьи угодья Тояна, табуны своих коней, будто бы случайно, велел загонять на его пастбища, а когда в Эуште случилось несчастье, лопался от злой радости. Но при встречах речи его были слаще меда, а улыбка доползала до ушей.

Долго терпел его двуличие Тоян, наконец не выдержал:

— Вор крадет у пешего, который не догонит, или у соседа, который постесняется спросить. Не встречал ли ты подозрительных людей в моих владениях, о светильник дружелюбия, Басандай?

Услышав это, тот оскорбленно метнул бровями молнии и, упреков в бока кулаки, ответил:

— В твоих словах я слышу яд подозрения, о Тоян. Лучше бы ты потерял дар речи, чем говорить такое.

— Почему и не сказать? — усмехнулся Тоян. — Грязь с одежды сходит при стирке, грязь с поступков — от прямых слов. Не станешь же ты со мной из-за них драться...

— Стану! — рассердился необъятный телом Басандай. — С водой не шути — утонешь, с огнем не играй — сгоришь.

Стали они драться. Три дня дрались, как два могучих быка, пока не упали без сил. Лежат голова к голове, а Таг Ээзи (дух тайги) наклонился над ними и советует:

— Если правая рука соседа затеет драку, пусть левая ее остановит. Разбросать легко, собрать трудно. Чтобы птица взлетела, ей надо два крыла. Одно крыло есть у Тояна — это его сын Ушай, умелый в восьми разных делах. Другое крыло есть у Басандая — это его юная дочь Тома, прекрасная, как утренняя заря. Породнившись ими, вы забудете свои споры. Соединив силы, вы перестанете быть легкой добычей степняков, которые, приходя, разоряют ваши жилища, а тайгу выжигают вместе с травой. Не хотите думать о ней, подумайте о своем народе.

Опираясь на ладони, приподнялся Тоян и сказал Басандаю:

— Таг Ээзи правильно говорит. Горы не сойдутся, но мы — народ одной судьбы. Нельзя нам ссориться. Я беру свои слова назад и готов ради общей пользы устроить кыс сурату (сватовство).

— Э нет, — ответил Басандай. — Много могущественных владык хотело бы видеть мою дочь любимой женой. Молва о ее красоте достигла даже ушей Сарыг-хана (Желтого хана). Разве твой сын сравнится с ним? Разве остановит тех, кто сильнее Эушты?

— Кто хочет быть хитрее лисицы, того приходящие из дальних земель скоро в свою шубу превратят, — горестно вздохнул Тоян. — Прощай, не умеющий думать.

После этого они больше не встречались. Зато встретились Ушай и Тома. Во время охоты, преследуя сохатого, юноша и сам не заметил, как оказался в угодьях Басандая. Что случилось дальше, всякий может догадаться. Увидев девушку, Ушай стал подобен охваченному безумием — так преобразила его любовь. Увидев юношу, Тома расцвела, как невиданной красоты цветок.

В золотой аркан попался он. В золотой аркан попала она. С каждым днем этот аркан затягивался все туже и туже. Не проходило дня, чтобы Ушай не появлялся тайком у Белого озера, где они могли предаваться мечтам. Но даже самые красивые мечты когда-то кончаются. Кончились и эти. Сарыг-хан и правда прислал однажды двенадцать своих доверенных людей, чтобы они заключили кингеш (свадебный сговор) с Басандаем.

— О, мой отец, — взмолилась Тома, — я могу быть женой только одного человека. Это Ушай, сын благородного Тояна. Если он посадит меня позади себя на коня, я буду счастлива. Другому я не дамся.

— Ты всего лишь дочь и должна меня слушаться, — рассердился Басандай. — Я лучше знаю, за чью спину посадить тебя. С Тояном у нас разные дороги. Разными они будут и у тебя с Ушаем.

Но он не знал, насколько верна своему слову его дочь. Когда за ней прибыл свадебный поезд Сарыг-хана, она вырвалась из рук родичей и, добежав до большой реки, бросилась в нее.

Ушай в это время охотился в верховьях другой реки. Узнав о смерти любимой, он бросился в нее и повернул течение в другую сторону. С тех пор эти реки нераздельны. Одну люди называют Томой, другую Ушай-ре или просто Ушайкой.

Времена приходят и уходят, но следы памяти оставляют. Остались они и на этот раз. После смерти Ушай и Тома Сарыг-хан решил отомстить Басандаю за дочь, которая его отвергла. Он велел разорить Басандаев городок, а самого мурзу зашить в лисьи шкуры и держать в них до тех пор, пока не задохнется. Так бесславно окончил свою жизнь Басандай. Что касается Тояна, то и до сих пор над Ушай-ре кружит седой сокол, похожий на него. Если бы мы могли узнать его мысли, то услышали бы следующее:

Чтобы о земле судить, узнай –
покидают ее люди или нет.
Чтобы о детях судить, узнай –
верны ли они своим избранникам...

УШАЙ И ТОМА

Что было, то давным-давно случилось. Большие кедровые деревья тогда еще только из земли показались, отцы теперешних стариков молоко матери сосали.

В те времена правителем Эушты князь Тоян был. Ростом он до половины большого кедра доставал, умом до облаков поднимался. От его забот Эуште хорошо жилось, лучше, чем людям его соседа Басандая, на толстый мешок похожего.

Вот как в Эуште о соседях говорили:

Если ты войдешь к Басандаю
И перед ним будет еда, налитая в большую миску,
Он не даст тебе ни глотка.
Когда Басандай, насытившись, спать ляжет,
Слуги-родичи, как журавли, склоняя шеи,
К объедкам его кругом соберутся.
Будут они доедать то, что осталось,
И клясться друг другу, говорить:
«Кто бы сейчас сюда ни вошел,
Не дадим никому ни кусочка.
Пусть отсюда дальше уходят, не задерживаясь...»

Знал Басандай про такое к нему и его родичам отношение. Знал, но только посмеивался:

– Нет озера без лягушек. Пусть квакают. Много разных людей на свете, всех не накормишь.

Когда подросла дочь Тояна Тома, у Басандая слюни потекли:

– Хочу такую жену иметь. Старые все надоели. Сразу видно, дочь Тояна целомудреннее сороки, белее яйца. С ней я быстро помолодею.

Посылая сватов к Тояну, он распорядился:

– Красивых слов говорить не стоит. Сразу скажите, какой калым (выкуп) я за невесту дам. Будем считать, тогда и сочтемся.

Но рано Басандай себя удачливым женихом почувствовал. Не нравился он Тояну. Его дочери Томе и вовсе противен был. Она полюбила Ушай, меткого стрелка из лука. Никаких богатств

Ушай не имел, кроме чистой души и верного сердца.

В трудном положении оказался Тоян — дочь свою обидеть не хотел, но и поддержку сильного соседа потерять опасался.

Много обидчиков было у Эушты. То боевые кыргызы за алмазом (данью) придут, то черные или белые калмыки нагрянут. Какая-никакая поддержка от Басандая все же лучше, чем ничего. Вот и велел Тоян передать ему:

— Есть у Тома еще женихи. Пусть все решат состязания между достойнейшими.

— Не бывать этому! — ответил Басандай. — Знаю, с кем ты меня сравнить хочешь. С безродным Ушаем, которому самая большая цена — хромой конь. Я же владею тучными табунами. Поспешу с ответом, Тоян, не то я скажу всем, что обглоданную кость и собачки не гложут.

— Не конями ценится человек, делами, — сказал Тоян. — Между влюбленными садится только глупец. Сам подумай, зачем мне это?

— Тогда нам с тобой не по пути! — задохнулся от злобы Басандай. — Завтра ты будешь локти кусать, попомни, — и переметнулся на сторону врагов.

Тяжкое время для Эушты настало. С одной стороны степняки к Тоян-калле (Тоянову городку) подступили, с другой стороны озлобленный Басандай накинуться готов. Вот-вот кровавая битва начнется.

Тут навстречу грозному войску вышел бесстрашный Ушай и вызвал на поединок сильнейшего из набегчиков. Если он победит — горе Эуште, если Ушай победит — позор степнякам. Тогда они по закону единоборства должны уйти без добычи.

Согласились набегчики, выпустили против Ушая богатыря всех богатырей Тезека. Схватка без промедления началась.

Без коней бились, без мечей бились, одними руками. То один поднимет противника вверх и клонит его к черной земле, то другой, вывернувшись ловко, пересиливать начинает. Ломали они друг друга, гнули, как черемуховые стволы, душили, кулаками били. Ни один другого не может свалить.

Вот сражаются они так, пока не кончится день. Вот сражаются они так, пока не кончится ночь. Вот сражаются они так, пока не сменятся луны.

Подбадривают Ушая Тома и народ Эушты. Подбадривают Те-

зека степняки. Только Басандай не знает, что делать. Когда Тезек теснит Ушая, дрожит от радости. Когда Ушай теснит Тезека, бледнеет от страха. Не нами сказано: выпивший яд, умирает один раз, предавший своих сородичей — тысячу раз. Он подобен утке, которая задом нырять пытается. Он подобен козе, которая при каждой стрижке умирает. Он подобен зайцу, у которого в глазах двоится.

Самое большое желание Басандая, чтобы Тезек победил. Самое большое желание Басандая, чтобы степняки Тоян-каллу разорили, а Тома стала его девятой женой.

Но не бывать этому. Из последних сил поднял Ушай Тезека и бросил в пыль, как гнилое дерево. От богатырского удара оторвались у Тезека могучие руки. От сокрушительного удара отвалились его крепкие ноги. От смертельного удара лопнула огромная, как котел, голова. Полезли из нее ядовитые шайтаны (злые духи), запрыгали вокруг, как летающие кобылки, саранче подобные.

Увидев все это, степняки повернули коней и поскакали, не оглядываясь, прочь от Эушты. Следом поскакал Басандай со своими родичами. Но далеко ему не удалось убежать. Догнали его шайтаны, стали на куски рвать.

Кричал Басандай, будто его в кипящий котел посадили.

Когда из него дух вышел, шайтаны в Тоян-каллу болезни пускать побежали, воду отравлять.

Не до Ушая людям стало, не до его победы. Нашествие шайтанов страшнее, чем нашествие степняков. От них даже самый умелый кам (шаман) не спасет. Против них даже самый решительный князь бессилен.

Никто, кроме Тома, не заметил, как упал Ушай, как закрылись его залитые потом глаза, как захрипела всеми звуками его поломанная грудь, а его жизнь стала короче конского волоса.

Подстреленной птицей склонилась над Ушаем верная Тома.

— Если ты умрешь теперь, Эушта осиротеет, — поцеловала Ушая в плечо она. — И я осиротею вместе с ней. Ведь я поклялась быть твоей женой. Не оставляй меня, Ушай. Я хочу войти в твою юрту, одеться в сукно и шелка. Этого желает каждая девушка. Дай мне баюкать твоего ребенка.

— Если я умру, небо ведь не обрушится, — погладил он ее косы, — не упадет на землю. Я сделал все, что мог. Остальное не в моей власти.

Так разговаривали они до последнего вздоха.

– Утешься, милая, – успокаивал Тому Ушай. – Сердце мое восхваляет тебя. Ты прекрасна! Никогда я не стану старым. Это значит, никогда не состарится нашей любви.

– Никогда! – эхом откликалась Тома. – Куда бы ты ни ушел, я последую за тобой.

Вот и настал смертный час Ушая.

Окаменела у его изголовья Тома. Лишь слезы текли из ее бездонных глаз. Они текли все сильнее и сильнее, пока не превратились в Белое озеро.

Подошел к озеру мальчик, отравленный шайтанами, вышедшими из головы чуждадельного богатыря Тезека, напился и сразу здоровым стал. Тогда все, кого поразили такие же болезни, последовали его примеру – и тоже исцелились.

Жизнь и радость вернулись в Эушту, но уже без Тома и Ушая. Их путь рекам подобен. Их любовь Белому озеру сродни. Правильно сказал Ушай: такая любовь никогда не состарится.

СКАЗАНИЯ ТОМСКИХ КАЗАКОВ

ПО СЛЕДАМ БЕЛЫХ ЦАРЕЙ

«**П**редание о княжне Томе и Ушае», записанное И.М. Мягковым в 1918 году у деревни Кафтанчиково, начинается так: «Это было давным-давно, когда только что появилось «белое дерево» (береза), признак несчастья для чуди. Дерево, предвещающее порабощение Сибири белым царем...»

О каком белом царе говорится в этом предании? Принято считать – об Иване Грозном. Ведь именно при нем атаман Ермак «с товарищи» присоединил к России Сибирь. Вот и стал Грозный величаться не только «всего Руси самодержцем», но еще и «царем Казанским, царем Астраханским, царем Сибирским».

Однако история «Сибирской Руси» начинается вовсе не временами Ивана Грозного и атамана Ермака. Она уходит в далекое прошлое, наполненное многочисленными междоусобными войнами и мирным заселением огромных пространств людьми самых разных племен и верований. Среди завоевателей были и белые цари. К примеру, скифские.

Как известно, скифы оставили свой след не только в Северном Причерноморье, но и в степях Средней Азии. С одной стороны – это предки славян, из донской и запорожской вольницы, с другой – смесь воинственных племен кочевой Евразии. Если судить по изображениям на золотых и серебряных сосудах из скифских погребений, это были длинноволосые и длиннорылые «белые» люди. По описаниям современников, это был жестокий, закаленный в боях, невожатый в употреблении вина и в то же время благородный, отважный, справедливый народ, ласковый к чужестранцам, искусный в земледелии, беспредельно преданный своим вождям.

Однако несчастьем для мифической чуди могли стать не только азиатские скифы. В начале нашей эры из монгольских степей выкатилась могучая «панцирная» конница гуннов (хунну), ураганом прошла по Сибири, разоряя и поглощая в своем стремительном круговороте «населенников» этих мест. Завоевательный поход этого «народа-войска» начался в монгольских степях. Согласно народным преданиям, прародительница монголов Алан-Гуа зачала сво-

их сыновей от светло-русого (то есть белого) человека, который каждую ночь таинственно появлялся в ее юрте, влетая через дымник.

Вот и Ушай из томского сказания «Схватка в небесах» пел:

Мой отец с русыми волосами
И повязкой на лбу, не похожий на остальных.
Эй! Эй! Эй!..

Отец его, плененный ханом Таяном, мог быть знатным воином или предводителем одного из завоеванных найманами племен, а сам Таян – потомком христианского короля Иоанна, описанного монахом-францисканцем Виллемом Рубруком. Я уж не говорю о легендарном царе Иване, очень похожем на этого самого Иоанна. Вот сколько претендентов на роль белого царя из «Предания о княжне Томе и Ушае» вдруг обнаружилось: азиатские скифы, гунны, найманы, монголо-татары Чингисхана, его бухарский потомок Кучум... Возникает естественный вопрос: тогда какое же именно племя подразумевается под словом «чудь»?

Попробуем ответить и на него.

В курганах Западной Сибири и Центральной Азии археологи нашли немало погребальных масок, как с монголоидными, так и европеоидными чертами лица. Последние принадлежали племенам, жившим здесь еще в I веке до нашей эры. Летописцы именовали их динлинами. Это был оседлый народ. Землянкам и юртам он предпочитал рубленые дома. Поселения ставил по берегам больших рек. Умел плавить медные и железные руды, делать из них ножи, пики, мотыги и многое другое. Динлины занимались охотой и рыбной ловлей, знали земледелие. Разводили лошадей, коров, овец. Ездили не только на телегах, но и на колесницах.

По мнению таких авторитетных ученых-исследователей, как Н.А. Аристов и Г.Е. Грумм-Гржимайло, динлины – предки древних кетов, давших название Томи и многим другим рекам и озерам, болотам и лесам Западной Сибири и Северо-Енисейского края. В одной из кетских легенд говорится, что однажды напали на кетов чудовищные великаны-людоеды. Пришлось от них прятаться под землей или бежать в болотистые земли.

А «по всеобщему преданию алтайцев, – читаем мы в книге В.И. Вербицкого «Алтайские инородцы», изданной в 1883 году, –

во времена отдаленные Алтай населен был чудью, не имевшей ни ханов, ни зайсанов. В то время не было ни одной березы. Как скоро появилось это необычное дерево, чудь умозаклочила, что ей несдобровать. Выкопали ямы, утвердили в них столбы для толка из камней и земли, забрались в эти ямы, подрубили столбы и тем, без дальних хлопот, все дело покончили. Курганов, или больших конусообразных ям, обложенных камнями, которые инородцы признавали за могилы предшествовавшего им народа, в разных местах Алтая весьма много... Внутри некоторых курганов видны деревянные срубы и были находимы медные стрелы, монеты и другие металлические вещи.

Вот и в «Толковом словаре...» В.И. Даля есть ссылка на это предание, но уже с привязкой к походу Ермака. Слово «чудь» в нем толкуется как «народ дикарь, живший, по преданию, в Сибири, и оставивший по себе одну лишь память в буграх (курганах, могилах); испугавшись Ермака и внезапно явившейся с ним белой березы, признака власти белого царя, чудь или чудаки вырыли подкопы, ушли туда со всем добром, подрубили стойки и погибли».

В те же далекие от нас времена, а может, и раньше, родились сказания о волосатых быках-землероях, прятавшихся под землей от Пожирателей Всего Живого. В древнекитайских книгах они называются тин-шу, в маньчжурских — фан-шу, иначе говоря, земляными кротами, в сибирских легендах — мамутами. Ученые именуют их элефасом примигениусом, что в переводе с греко-латинского значит первородный слон.

В одном из сибирских преданий живописуется, как «земляной крот» подрался с морским чудовищем анлау, и оно выбросило его на берег, да с такой силой, что соперник глубоко в землю ушел. С тех пор там и живет, передвигаясь с помощью клыков (бивней). Если рассердится, землю изнутри трясти начинает. Вот и получается землетрясение.

В судьбе чуди и мамутов-мамонтов, согласно народному фольклору, прослеживается немало общего. Неудивительно, что томские казаки-сказители объединили их в сказании «В гостях у мамутов».

Но вернемся к чуди. Тот же В.И. Даль приводит и другие значения этого слова. Первое: странный, чужой. Второе: чудское, финское племя. Какое из них ближе к истине?

В своей книге «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни: опыт славянской археологии» (Томск, 1898) основатель и строитель Томского университета Василий Маркович Флоринский склоняется ко второму варианту. По его версии, чудь — это одно из угро-финских племен. Вышло оно из Центральной Азии и, согласно легенде, основало свою столицу не где-нибудь, а на месте современного Томска — у Белого озера на Воскресенской горе. Столица эта называлась по имени верховного языческого божества чуди Волохом или Старгородом. А крестили чудский народ в водах Белого озера сошедшие с грозного неба апостолы Фома и Варфоломей. Отсюда чудь стала двигаться на запад. Смешавшись там со славянским этносом, она образовала Русское государство со столицей в Новгороде.

В той же книге Флоринский высказал и другое предположение: томская земля и ее городища могли входить в состав Биармии, то есть Пермского государства, центр которого находился на Северном Урале. После того как Биармия стала вотчиной Великого Новгорода, она получила другое наименование — Югра.

Для европейского мира Сибирь и впрямь была открыта предприимчивыми новгородцами. Наиболее ранние известия о том, что они овладели Печорским путем в Югорские земли и обложили местную чудь «югорщиной» (данью), относятся к 1096 году. В «Повести временных лет» об этом повествуется так:

«Четыре года тому назад поведал мне Гюрата Новгородец вот что: «Послал я отрока своего в Печору, дающую дань Новгороду. И пришел отрок мой к ним, а оттуда идет в Югру. Югра же людье есть язык нем (непонятен) и соседят с Самоядью (ненцами) на полуночных странах. Югра же речет отроку моему: «Дивное чудо явилось нам, о котором прежде мы слыхом не слыхивали, с тех пор третье лето идет. А диво такое: есть горы, заходящие в луку моря, высотой до небес, и в горах тех раздается клич великий и говор, и секут гору изнутри хотящие высечься из нее. И в горе той просечено малое оконце, и оттуда говорят, и не понять языка их, но показывают на железо и подают знаки руками, прося железа, и если кто даст им нож или секиру, они в обмен дают меха. Путь же до тех гор непроходим из-за пропастей, снегов и леса, потому и доходим до них всякий раз. Продолжается он и дальше на север».

Однако «югорщину» у тех фантастически описанных жителей северного «лукоморья» новгородцы брали не только пушшиной, но и «рыбым зубом» (моржовыми клыками) и разным «узорочьем» (украшениями).

Вскоре новгородцы шагнули за Югру и прошли там «по Обе реки до моря». Неудивительно, что и Обской север с тех пор стал нередко называться Югрой. В 1465 году здесь побывал отряд вымичей и вычегжан под началом Василия Скрябы, а в 1483 году – «князь Федор Курбский Черный да Иван Иванович Салтык Травин, а с ними устюжане и вологжане, вычегжане, вымичи, сысоличи, пермяки». Они дошли до рек Пелым и Тавда, а затем по Иртышу и Оби вернулись в Югорскую землю. Еще одну крупную экспедицию семнадцать лет спустя возглавили сюда князь Семен Курбский, а с ним воеводы Петр Ушатый и Василий Заболоцкий-Бражник. Много дней искали они проход через Каменный пояс, наконец нашли и двинулись дальше на лыжах, оленьих и собачьих упряжках до вогульского (мансийского) городка Ляпина. 4 650 верст в общей сложности они прошли, в сорока приобских стойбищах ясак взяли.

Во время этих и других походов кто-то из служилых, торговых и других «охочих» людей под разными предлогами покидал отряд, чтобы остаться в Сибири, завести здесь свой дом и хозяйство, начать новую, «вольную и безбедную жизнь». Так вот и появились в Зауралье заимки, а потом и деревни с пашнями первых русских старожилов из самых разных уездов и волостей Московского государства.

Однако не только по доброй воле шли сюда люди. Беглых тоже хватало. Одни спасались от притеснений разного рода, другие от «троедушного» суда властей, третьи от войн и стихийных бедствий.

Во время одной из научных экспедиций в Среднее Приобье профессор Томского государственного университета этнограф Галина Ивановна Пелих познакомилась со старожилами, предки которых, по их словам, за десять поколений до Ермака жили за Доном в теплой степи у теплого моря, а когда там начались «страшные войны», погрузили домашний скarb на коней голубой масти («бахмутов») и двинулись на восток, ища спасение в незнакомой стороне. Фамилия у них редкая – Каяловы. Она ука-

зывает на то, что Каяловы переселились в Сибирь с той самой легендарной реки Каялы, где в 1185 году в битве с половцами, ярко описанной в бессмертном «Слове о полку Игореве», «храбри русичи... полёгоша за землю русскую».

Вот сокращенный рассказ об этом переселении, записанный Пелих:

«...Каяловы тронулись в путь, когда совершенно невозможно стало жить в родных краях из-за войн, грабежей и убийств. <...> До Иртыша шли по «самарским речкам». Потом начались незнакомые места. <...> Поселились на протоке. <...> В Приобье Каяловы продолжали разводить коней-бахмутов. Корма здесь было много, особенно на заливных лугах и островах. Кони хорошо прижились к новым местам, однако порода стала вырождаться. Кони стали лохматыми и приземистыми. Они потеряли голубой цвет – превратились в сизых, но сохранили выносливость и резвость. <...> Каяловы «до Ермака» жили с остяками «душа в душу». Теперь обозленное казаками «остячье» стало всех грабить. Не уступали им и казаки. Старая власть (остяцких князьцов) была разрушена, а новая (русского царя) еще не установилась. «Честному народу житья не стало». Каяловы снова снялись с места...»

В этот рассказ вплетается интересное предание о соседях Каяловых по прежнему месту жительства Цингалах. Они первыми отправились в Сибирь. Судя по всему, это были потомки сингáлов (львиные люди), кочевого племени Индии и Цейлона, распространившегося оттуда по всему свету, а в русских княжествах известного как цыгане. Вчитаемся:

«Цингалы были конокрадами. Соседи били их за это «смертным боем». Ничего не помогало. Тогда предки Каяловых устроили специальный молебен и просили святых угодников Косму и Димьяна образумить Цингалов. И вот однажды зашаталась под ногами Цингалов земля, их дома стали проваливаться в образовавшуюся пропасть, а река изменила свое русло и потекла вместо запада на юг. Цингалы в ужасе бежали в Сибирь и поселились там у самого северного устья Иртыша. Но и здесь они стали воровать у остяков пушнину, которая лежала в никем не охраняемых амбарчиках. Тут совсем рассердились небесные силы. Застонала земля, зашаталась горы. Сам могучий Иртыш изменил свое русло и хлынул в цингальские земли. Цингалы бросились бежать

в гору, но гора раскололась на две части. Тогда Цингалы бросились на колени, умоляя богов спасти их, и поклялись, что больше никогда не будут воровать. И сразу утихла земля и успокоился Иртыш, но он уже тек по другую сторону горы, где раньше стояли дома Цингалов. С тех пор Цингалы перестали воровать. Они помирились и породнились с остяками. И сами «обостячились». Все стали жить хорошо и дружно. На месте старого русла Иртыша осталась цепь озер, которые теперь называются Цингальскими...

Но вернемся к рассказу Пелих о Каяловых.

«...Границей между двумя слоями русских старожилов служит завоевание Сибири казаками Ермака в конце XVI века, — пишет она. — И те, и другие называются здесь (и сами себя называют) челдонами. Прозвище «челдон» производится ими от двух слов: «чело» и «Дон». Слово «чело» трактуется как самый первый, начальный. Отсюда выводится слово «человек». «От чела произошел человек, от челдонов произошло русское население Сибири».

А вот и очень важный для нас вывод: «Крутую дугу возвышенного обского берега (против северного устья Иртыша) русские старожилы называли по образцу Причерноморья — Лукоморьем».

Того же мнения придерживается и доктор географических наук профессор Томского государственного университета А.М. Малолетко. «В создании топонима Лукомория, — считает он, — «виноваты», на наш взгляд, не северяне-новгородцы, которые никогда не создавали здесь постоянных поселений, а южане из-за Дона. Это подтверждает и этноним *Samariequi* (самары) на карте Дж. Кантелли (1683 год), неизвестный новгородцам, но известный по преданиям Каяловых. Насколько верны эти сведения о выходе Каяловых с Дона? Картографические материалы в основном подтверждают устные предания Каяловых».

Как тут не вспомнить художественный образ знатока всемирной истории академика Льва Николаевича Гумилева — «этнический реактор». Вот уж действительно только невиданной силы этнический реактор мог вызвать такие перемещения народов с востока на запад и с запада на восток, с севера на юг, а с юга на север, перемешать цыган с остяками, русских с татарами и многими другими народами, занести в Сибирь такие понятия, как челдон, Лукомория... совершить множество других непредсказуемых преобразований.

На этом комментарии к сказаниям томских казаков, пожалуй, и закончим. Осталось прояснить ситуацию с белым деревом — березой. Тут нам поможет мудрая наука ботаника. Березу она относит к деревьям-первопроходцам. Издавна люди замечали, как легко она захватывает любой свободный клочок земли, будь то заброшенные пашни или обширные гари, обочины дорог или светлые перелески.

По своей природе береза неприхотлива. Растет на любых почвах, сухих и переувлажненных, плодородных и скурых. Главное для нее — солнечный свет. Если что и губит ее, то беспросветность, густая тень. А рассеивается она крохотными крылатыми плодами. В конце лета — начале осени их разносит по округе ветер. Семена попадают на одежду, на шапки самых разных путешествующих людей... И вдруг где-то далеко-далеко, за тридевять земель в тридесятом царстве, неведомом государстве, где живут люди с самым разным цветом кожи, вырастает береза и появляется березовая роща. Откуда ее сюда занесло — из Великого Новгорода или с реки Каялы? С Выми или из Вологды? А быть может, и вовсе из других стран? Одно точно: с белыми царями это вряд ли связано.

В ГОСТЯХ У МАМУТОВ

Так ли, не так ли дело было, пойдй теперь у ветра спроси. А и не так, так все равно так...

Шел себе как-то по томской Сибири странник, шел да по сто-ронам поглядывал. Родился — не торопился, а теперь ему и вовсе спешить некуда было. Красота вокруг неопиcуемая — солнышко светит, трава по грудь поднялась, птицы на все голоса распевают. Кабы не комары да слепни — чистый рай.

Вдруг, шапки с головы схватить не успел, свет теменью сменился.

— Что такое? — опешил странник.

Вокруг, куда глазом ни кинь, выжженная земля. Одни обгорелые пни торчат.

Сел странник на тот, что поближе, задумался. Как быть? Вперед идти — страшно, назад — обидно. Это только рак назад пятится. Думал, думал, так ничего не придумал. Решил поспать, пока умная мысль сама в голову не придет. Утро вечера мудренее. Выбрал бугорок помягче, да и прилег на него не солоно хлебавши. Лежит, отдыхает.

Тут слышит, под землей кто-то взад-вперед ходит, по-звериному всхрапывает.

«Свят, свят, свят!» — перекрестился странник и скорей на другое место перелег. Ухом к земле припал — авось здесь никого нет. Зря понадеялся. В ухо ему человеческие голоса скребутся. Много голосов. Будто рой пчелиный.

Подхватился странник: бежать надо!

Сказано — сделано. Бежал, бежал, пока в нору не провалился. Нора глубокая. Долго пришлось в нее падать. Наконец упал.

На дне светильники на стене копят. Люди в звериных шкурах странника окружили, на тарабарском языке чего-то лопочут. Ни слова не понять.

Полез, было, странник из норы, чтобы на белый свет выбраться, да не тут-то было: подземные люди его схватили и назад не пускают. Пришлось остаться.

На миру, как на яру: кругом тебя свет, и ты светел. А тут что

ночь, что день — тьма кромешная. Светильники в ней, как звезды на небе, повсюду горят, да мало светят.

Много ли, мало времени провел в подземелье странник, а только речь своих новых знакомцев понимать стал. Вот и поведали они ему свою горькую историю. Оказывается, предшествовавший им народ наверху жил. Все у него хорошо шло. Охота кормила. Единство согревало. Потомство множилось. Но тут налетели огнекрылые страшилища и сравняли их становища с землей. Кто уцелел, под ней спрятался. По-другому жить стали. В мамутов превратились. Звери, на которых они прежде охотились, на каменных стенах выбиты. Никто уже не помнит, как их прежде называли.

— Лоси это да медведи! — объяснил странник. — Как же вы без них теперь обходитесь?

— А мы лохматых землеpоев добываем — отвечают мамуты. — Они тут от тех же страшилищ прячутся. Хочешь, возьмем тебя с собой на охоту?

— Возьмите!

Ладно. Провертели мамуты в стене дырку, сунули в нее огонь, говорят страннику:

— Смотри!

Он глянул: батюшки-светы! Такие чудеса, что дыбом волоса. Землерой-то не зверушкой оказался, а громадным быком, у которого рога из пасти торчат, еще и на лохматую башку загибаются. Нос длинный, змеистый. Уши как лопухи. Ноги на стволы кедра похожи. Тело висящей шерстью покрыто.

От огня этот бык в ярость впал. Стал дырку клыками раскапывать. Копал, копал, пока не увяз. Тут мамуты его на копыта и посадили.

Много мяса из быка получилось. Мамуты его до отвала ели, а кровью губы своему божеству мазали. Оно, как и звери, на стене выбито было. Голова лучами одета. В руках не то копье, не то царский жезл. А под ногами рыба-кит, на которой земля держится.

Странник тоже ел без оглядки. Зато три дня потом животом маялся. На четвертый решили мамуты его женить. Невесту молоденькую нашли, по их понятиям, раскрасавицу. А ему не глянется. На такой жениться, что в крапиву садиться. Вот и бухнулся он мамутам в ноги:

– Погостевал я у вас, любезные, попиrowал, землицы сырой понохал. Пора бы и честь знать. Отпустите меня на волю вольную. Без дороги мне жизни нет. Для того и хожу, чтобы видеть. Для того и странствую, чтобы слышать. Для того и запоминаю, чтобы обо всем потом хорошим людям рассказать. Обручился я с милой дороженькой на веки вечные, и никому нас теперь не разлучить.

Мамуты спорить не стали. У них свое на уме: а ну как странник выдаст их огнекрылым страшилищам?

Тогда он еще пуще просить стал:

– Если отпустите, черную землю над вашими головами белоствольными деревьями выбелю, зелеными листьями и цветущими травами украшу. Всякая нечисть белого цвета боится. Вот и ваши страшилища прочь разлетятся. Мое слово свято! – и крест на себя по христианскому обычаю положил.

На что мамуты темные были, всяким идолам и кумирам поклонялись, а святому кресту поверили. Выпустили они странника наверх, стали ждать, что из этого выйдет.

А ничего и не вышло. Ушел, даже не оглянувшись.

Чужое время быстро летит, свое медленно движется. Наконец сошлось свое и чужое. Вернулся странник. Черные гари плодови- тыми семенами со всего света засеял, живой водой из окрестных рек и озер наполнил. Снова перекрестился и дальше зашагал. Нельзя ему на одном месте сидеть – к земле присохнет, в придорожный камень превратится. Такая у него судьба.

В третий раз он в томскую Сибирь пришел, когда черная гарь березовым лесом покрылась, высокими травами зашумела, праздничный вид обрела. Думал, встретит здесь перебравшихся наверх мамутов. А те знай себе под землей сидят, ничего о его делах не ведают. Пришлось их за руку на божий свет выводить.

Долго мамуты к земной жизни приживались, никак прижиться не могли. А все потому, что имя у них такое – подземные кроты. Наконец догадались переложить его на лохматых быков-землероев, чтобы с себя его оковы снять. И сразу все на лад пошло.

А странник и досе по белу свету ходит, новые пути для людей разведывает. Но и томскую Сибирь навестить не забывает.

ОСНОВАНИЕ ГОРОДКА БОГНОВЦА

Прежде в Новогороде князей просто выбирали. Умрет кто- рый – сейчас весь народ на реку идет и свечи в руках держит. Опустят эти свечи в воду, потом вынут. У кого опять загорится – тот и князь.

В тот давний год, которого и след простыл, свеча в руках казака Апаша загорелась. Значит, ему судьба Новогородом править. И стал Апаш в один миг Ипатием Новгородцем.

В пояс поклонились ему люди:

– Говори, княже, как дальше жить будем?

Он в ответ:

– Слышал я, братия, про клады сибирские. Туда зовет меня путь-дорога. Коли удастся с тамошними людьми дружбу завести, город у них сделаю. Будет на что потом новгородчине опереться. Коли войной встретят – оборонюсь. Ну а коли святой крест от меня отвернется, в сыру землю с честью лягу.

– Так-то оно так, да не очень, – смутились новгородцы. – Ты уйдешь, а мы с кем останемся?

У Ипатия Новгородца и на этот случай ответ припасен.

– А вы, – говорит, – как я уйду, свечи в воду вругорядь опустите. Я, – говорит, – за то в обиде не буду.

Казак он и есть казак. Хоть князем его назови, хоть в шелка и злато одень, милее всего ему добрый конь да вольная воля.

Не мешкая долго, собрал Ипатий дружину себе под стать и пустился с нею в дали сибирские. Позади него – пыль столбом да бабьи вздохи, впереди – солнце, холод и звезды.

У сибирцев хорошее правило есть: когда охотник обнаружит берлогу, он ее сначала кругом обойдет.

Вот и Ипатий Новгородец так сделал. Сперва сибирскую землю кругом обошел, потом только на реку Томь свернул, а с Томи

ЗОЛОТЫЕ ЛАТЫ

на Ушайку. Над ней горы* звонкой сосной поросли, а посреди тех гор — лбище (ровная вершина). На том лбище прежде монахи-отшельники святилище своему божеству Шакья Муни** поставили. Это святилище одно из четырех главных у них было. Если с Тибета смотреть, оно на север указывало. Три остальных в других землях — на юг, запад и восток. Но пришли откуда-то воинственные люди и тех монахов разогнали. От времени их кумирня порушилась, остатки стен болотным мхом поросли.

Ночь провел на лбище Ипатий. Все прислушивался, что вещует его сердце. Все думал, гоже ли ставить город и православную церкву там, где иноверные обряды допреж совершались. На утро вышел к дружине с просветленным лицом:

— Радуйтесь, робята! Мне нонче голос свыше был: здесь город, что я Новугороду обещал, ставить следует, а в нем — храм православный. Как его наречем, думайте.

Казаки-атаманы вокруг глазами повели, потом плечами пожали:

— А и думать нечего, княже. Городу сему зваться Сосновец!

Так и стало по слову их.

Цветно расцвел в томском краю городок Сосновец. Прихлынули к нему ближние и дальние сибирские народы. Лишь Ипатий Новугородец не захотел на месте сидеть. Кликнул он верных казаков, поклонился на четыре стороны света да и двинулся дальше — Беловодское царство искать.

Изрядное время спустя послеермаковские казаки на этом месте свой город поставили — именем Томск.

Сказывают, будто Ермак сын Тимофеевич самовольно своих казаков в Сибирь супротив Кучум-хана повел, Грозному царю Ивану об том не доложась. А как доложишься, ежели бояре перед царем его завзятым разбойником выставили, душегубом и смутьяном? Будто в прошлые годы он в поволжских степях проезжих купцов и прочих избыточных людей грабил, а теперь в Чусовских городках как волк среди овец замешался. Наняли его тамошние власти от вогулов (манси) и других немирных югорцев их владения оборонять, а Ермак того и гляди сам своих нанIMATEЛЕЙ зорить начнет. Коли не пресечь его злые замыслы, много худа может случиться.

Дело готово, хоть в рукавицу обуй. Пришлось Грозному царю Ивану воеводской ябеды ход дать. Но атаман Ермак тоже не лыком шит. У него везде уши. Прознал про боярские козни, да и решил махнуть от греха подальше за Каменный пояс в Сибирь Беловодскую. Ведь раньше она за Москвой числилась. А то, что ее Кучум, сын бухарского хана Муртазы, коварно под себя подломил, и поправить можно. Была бы охота.

Те реки, что с Камня-Урала в сторону Москвы текут, сыздавна белыми называли, а те, которые в Сибирь, черными. В сухую погоду они мелеют, в сырую выше берегов поднимаются. Для похода это самое благоприветливое время. Как ни спешил Ермак, а осенних дождей дождался. Все ж таки по большой воде легче плыть, а не скрести по камням деревянными днищами.

Казаки — народ дюжий, выносливый, артельный. Сели они в лодки быстроходные, вздули паруса подветренные, налегали на весла угонистые, да и двинулись супротив течения вверх, на кручи поднебесные. Дело это только на словах легкое, а ежели на месте гребцов оказаться — чур! чур! чур меня! Жилы трещат, руки отваливаются, ругательные слова поневоле из горла выскакивают. Назад их не затолкнешь. Так вот до седловины на Каменном поясе с божией помощью и догреблись. Осталось лишь суда с белых рек на черные по каменистым волокам на своих горбах перетаскать, а дальше в Сибирь на них с ветерком вниз скатиться.

Ладно. Куда ночь, туда и день. Куда неделя, туда и месяц. Куда

* Скорее всего, район Степановских гор, где ныне находится Академгородок.

** 2 Одно из имен Будды, имя которого переводится как «просветленный»; а «шакья муни» означает буквально «отшельник из шакьев».

смекалка, туда и доблесть. Где беспечность, там и поражение. Не ждал Кучум-хан незваных гостей, а они тут как тут. Свалились будто снег на голову, взяли кучумовских уланов на сабли, одним махом Сибирь отбили. Не зарься-де, хан, на чужое, ступай со своим войском назад в Бухару, а мы тут с остяками и прочими обскими людьми общий язык, бог даст, найдем.

И ведь нашли. Для этого всего-то и надо было сказать:

— Как до Кучума жили, так и теперь живите! Забудьте его побои и насилия. Теперь вы под высокой рукой Москвы. Жить будем в дружбе и согласии!

На правду слов немного надо, особо если их такой человек, как атаман Ермак сын Тимофеевич, речет. Душа у него на лице видна. Она сквозь боевые шрамы и отметины негасимым огоньком просвечивает, зорким умом притягивает. О таких говорят: «Добром пришел, добром встречен!»

Уже на второй день после сражения у Чукманова мыса остяки как гостеприимные хозяева казаков мясом и рыбой угощать стали, на пятый — дочерей в жены предлагать. А это хороший знак.

Тут, не мешкая, Ермак своих наипервейших друзей-товарищей в стольный град Москву к самому Грозному царю Ивану с посольством отправил. Пусть челом ему Сибирью ударят. В оно время он царем сибирским титуловался. Вот и впредь пусть так величается. Гордись, Москва! Торжествуй, Русия! Гуляй, честной народ! Нынче на нашей улице праздник! Не каждый день Русское государство новыми землями прирастает!

Услышав такую весть, царь от радости даже помолодел.

— Вот, — говорит он боярам-ябедникам, — устал я от ваших врак, тараканы запечные. На атамана Ермака столько налживили, что и лопатой не разгребешь. А он верой-правдой отечеству служит, ероем себя на сибирском поприще показал, Кучум-хану и прочим набегчикам носы утер. За то награждаю его золотыми латами двенадцати пуд весом и велю при каждом парадном случае в них быть. Чтоб все видели, кто перед ними. Сверх того даю Ермаку свет Тимофеевичу обельную грамоту на особое денежное жалование из роду в род и царские подарки всем и каждому из его дружины. А тем, кто его бессовестно хаял, велю пойти вон. Сегодня я добрый. В другой раз шкуры спущу и на барабаны пущу. Узнаете, каков я во гневе.

Бояре-доносчики слушали царя, ровно мыла наелись. Не успел он свою речь досказать, а их уже и след простыл. Жаль, конечно. Надо было бы их и впрямь на барабаны пустить. Ведь всяк знает, что богатому да бесчестному место при царском дворе черти куют. А хорошо бы — могилу.

Тем временем недобитый Кучум в верховья Иртыш-реки отбежал и там до поры до времени затаился. В Бухару возвращаться ему позор. Победенный хан что беззубый волк. Его палкой можно перешибить. Оставаться в Сибири — другой позор. Почти все остяки и татары от него отвернулись. У Ермака и пяти сот казаков не наберется, а попробуй подступиться к нему. Он для обиженных Кучумом сибирцев теперь не просто атаман, а полномочный представитель Московского государства. Силой его не возьмешь, только хитростью.

Вот Кучум и придумал, как Ермака в ловушку заманить. Пустил слух, будто в русский стан из азиатских земель движется большой торговый караван, а Кучум-хан в устыжение Москве хочет его пограбить. Для верности еще и подложных гонцов с грамотой от хозяев вымышленного каравана прислал — за их рукой, с сине-зеленой печатью.

Делать нечего. Решил Ермак сам навстречу купцам поспешать. Негоже давать их в обиду зловерному хану. Хотел было в свои легкие боевые доспехи облачиться, да повеление Грозного царя Ивана вспомнил: при каждом парадном случае быть в его золотых латах. А тут как раз такой случай предстоит. От него не отворотишься.

Поневоле надел латы Ермак. Взял с собой икону Пресвятой Богородицы в образе Казанской Божией Матери, да и отплыл по Иртышу навстречу своей судьбе.

Что дальше случилось, всяк знает. Заночевали казаки в пути. А тут буря сделалась. Гром. Молнии... Кучумовы воины к ним безвестно и подобрались. Врасплох застали.

Сеча короткой была. Ермак за десятерых бился. Ждал, когда все его ратники на струги с высокого берега попрыгают. Потом и сам прыгнул, да, видно, уже ранен был. Борт под ним качнулся. Не удержался на нем атаман, в воду рухнул. Латы в двенадцать пуд весом его на дно разом и утянули. Вот вам, братцы, и царский подарок. Хоть по плохому, хоть по хорошему, золото легким не бы-

вает. Добра от него не жди. Хотел Грозный царь Иван превелико наградить Ермака, да сильно переусердствовал. И так бывает.

А с иконою Пресвятой Богородицы, дарованной Ермаку владыкой Казанским Еρμοгеном, по-иному вышло. Ее старый казак Ананий Грешник от кучумычей уберег и много лет с ней не расставался. А был этот казак собой не мудрый, зато проворный и везде первый. Силенок ему было не занимать. Грудь в грудь любого зашибет. В любую работу первым впрягался. Но и грешник, каких поискать. Выпьет ведро горячего вина и давай песни орать, драки затевать, мироедов за бороды таскать. Ни одну девку или там бабенку мимо не пропустит. Где ни пройдет, везде ребятенки на него похожи. Бывало, и чужое не спросясь брал. Но не у любого, а у тех только, кому оно в тягость. Такой правдолюб, что душа нагишом, весь в долгах, как в шелках, а на штанах дырки. Иной раз самому Ермаку, как малому дитяти, с умным видом глупые наставления давал. Но тот все его выходки терпел и перед другими оправдывал. Очень уж Ананий на казацкую службу безотказный был, край какой терпеливый и надежный.

Когда атаман в царских латах на его глазах безвозвратно утоп, горько заплакал Ананий Грешник, поцеловал икону Пресвятой Богородицы Казанской и поклялся на ней в Сибири навеки остаться, от мирских дел прочь уйти, вины свои горькие отшельничеством замолить. Выстругал себе дорожный посох, поклонился друзьям-товарищам, да и пошел куда глаза глядят. Долго странствовал, пока не усох, седыми волосьями не убелился, себя прежнего не позабыл.

Пришла пора место для святой обители, которую он задумал построить, выбрать. А вот и оно — меж двух небольших речек, впадающих в полноводную реку Томь, угнездилось. Укромное. Светлое. Угожее. За Томью юрточный городок князя Тояна-Эушты дымит. Народ там, сразу видно, мирный, добродушный. Чудно им видеть беловласого отшельника с Руси, но вида не показывают. Будто его здесь и вовсе нет.

Перекрестился Ананий на все стороны света, достал из котомки резвый топор, поплевал на ладони и ну ронять строевой хвойный лес. Наронял, сколько надо, стал первую клеть укладывать. За первую клетью еще две выросли. Любо-дорого поглядеть.

Тут откуда ни возьмись подходит к нему зрелых лет монах с го-

лубыми глазами и почтенной бородкой. Поклонился и говорит:

— Бог в помощь, отче. Как тебя звать? Что делаешь?

Тот в ответ:

— Благодарствую, божий человек. Зови меня батюшкой Ефремом. Не ошибешься. А тебя-то самого как зовут-величают?

— Алексей я. Ищу, где себя приложить.

— Считай, что нашел, Алексей. По виду ты человек не простой, всякого навидался. Но я тебя об том спрашивать не буду. Коли сочтешь нужным, сам расскажешь. А для начала знай: я здесь обитель памяти атамана Ермака Тимофеевича строю. Слышал о таком?

— Слышал. У Царя нашего Небесного, Господа Бога, он в большом почете.

— Ну так и становись со мной в товарищи. Вдвоем сподручней Богу усердствовать. Но сперва Пресвятой Богородице помолись. Это она тебя сюда привела. А еще Ермаку Тимофеевичу.

Так вот на перекрещении разных времен и судеб и родился в Томских землях Богородицкий мужской монастырь. Жить ему и здравствовать!

ОТЧАЯ СИЛА И КРЕСТ СВЯТОЙ

Год на год не приходится. Одним летом служилые казаки город над рекой Томой вскинули, другим надо при нем государеву пашню распахать. Мать сыра земля всех кормит, всех поит, всех одевает, всех своим теплом пригревает.

А земляца у Тома тучная, мягкая, по работушке крестьянской соскучилась. Здешние сибирцы ячмень сеют, да мало. Они отродясь коневоды, да охотники, да рыбаки, рожь да пшеница им не в обычай. А казаку лишь тогда хорошо, когда Бог на стене, хлеб на столе, а от татей* вокруг застава крепкая.

Еще по зиме взялись казаки сохи делать. Этот колодку из рябинового кряжа вытесывает, тот обжи да рогали (оглобли и рукояти) стружит, третий лемеха с полницами для отвала земли ладит. Трудятся и поют себе распевают, как шумливые птицы на солнечном припеке. Одному поле-раздолье на думку взошло, другому — ретивая зазнобушка, третий оттого в веселье впал, что передний заднему — мост на погост: живет — не оглянется, помрет — не спохватится. Зато причет у всех один-общий: которая-де служба нужней, та и честней. А честнее земельной службы ничего на свете нет и не было. Господь повелел от нее кормиться.

Вот пришла весна — красна да голодна. Собрались отошавшие казаки на пашню. Один из них, Ивашка Простота, тут и говорит:

— А пора бы нам, ребята, земли побрататься.

— Это как же? — спрашивают сослуживцы.

— А вот как, — отвечает Ивашка Простота. — Каждый из нас горсть родимой земли из отцовских краев на груди принес. Ежели по щепотке складчину собрать, пригоршня и получится. Покрестим ее да рассыпем пошире в свежие борозды. Человек с человеком сходитя, а земле с землей почему не сойтись? Общую да крещеную никакая беда-напасть не возьмет. Станем и мы у нее за спиной, как за каменной стеной. Одна крепость есть, устроим другую.

Удивились казаки:

— Ай да Ивашка. С виду прост, а на поверку мозговит. Славно придумал.

Расстелили они чистую холстину и ну по щепотке родимой земли в нее сыпать. Вятская щепоть с костромской смешалась, олонецкая с пермской, новгородская с астраханской, вологодская с великоустюжеской, рязанская с соликамской, мезенская с подмошковой. Одним словом, чуть не половина Руси на той холстинке в пригоршню собралась.

А дальше и вовсе чудо чудное приключилось. Землица вдруг на глазах казачьего круга стала расти, множиться, пока всю холстину с опупком (с горкой) не закрыла.

Одним это в радость показалось, другим в укор. Ведь не всякий казак — пахарь и народу защитник. Есть и такие, что на службу государеву из гулящих людей заверстались. Слух прошел, будто на Сибири их большая пожива ждет. Как тут не оказачиться? Но гулящие люди сроду ладанок* с отчей землицей в дорогу не брали. Раньше это в глаза не бросалось, а тут видно стало. Вот и разделились казаки на тех и этих.

Те в сторону отошли, а эти два поля за речкой Ушайкой высмотрели. Одно поле в низинке перед Юрточной горой раскинулось, другое в лесу на ее маковке затерялось. Не поле даже, поляна. Точнее сказать, елань, таежная плешина. Оба эти места и решили казаки на починок распахать.

За коньми дело не стало. У сибирцев-эуштинцев их табун на табуне. Выбери любой. Да вот беда — сильно норовистые, от пашни воротятся, от сохи шарахаются. Как быть?

Тут вышел вперед казак прозвищем Микулушка Селянинович. Хоть и не быллинный богатырь, но тоже не промах. Походил он меж коней, посмотрел, какой из них для пашни подходящ. Который поглянется, он его одной рукой поднимет, другой на весу погладит, да и скажет ласково: «Здорово, кормилец!» А как на ноги поставит, тот за ним, будто жеребенок за маткой, иго-го-го бежит. Так вот и набралось семь коней-пахарей.

* Вор, разбойник.

* Мешочек с пахучей смолой (ладаном) или с какой-либо святыней; носили его на шее вместе с крестом.

Что на Руси, что на Сибири семь – подходящее число. На неделе-то семь ден и все для работы. Трудись миру на пользу, зато спи для себя. С коньми и того проще: двое пашут, пятеры им хвостами машут.

Ну и вот. Поделили казаки отчую землицу для побратания на два поля, стали думать, кому первый клин у реки доверить.

А тут и думать нечего. Ясное дело, Ивашке Простоте. Он нынешней складчине зачинщик, ему и честь.

А верхнюю елань-поле доверили зачать казаку прозвищем Микулушка Селянинович. Тот распивную рубаху и лапти, будто у себя на Рязани, по такому случаю проворно надел, подворотки до колен крест-накрест подвязал, бороду, как на праздник, распустил. Идет себе, посвистывает, одной рукою соху несет, другой птиц на лету ласкает. Улыбка у него от радости от уха до уха. Любо-дорого посмотреть.

Следом казаки со своей половиной землицы поспешают, понять не могут, отчего им соха на плече у Микулушки девицей-раскрасавицей кажется. Видно, день такой, что все вокруг цветет-молодеет, растет-прибывает.

Как только пришли казаки на елань, так и шумнули нижним оратаям (пахарям):

– В добрый час!
В добрый так в добрый.
Тут на обоих полях казаки, помолясь, разом грянули:
Гой, земля еси сырая,
Земля матерая,
Матерь нам еси родная!
Всех еси нас породила,
Воспоила, вскормила,
В Сибирь нарядила.
Тяжка тяга там земная.
Святогору не поднять.
Помоги же ее спыймать...

Тут-то и пошли с края на край Ивашка Простота да казак прозвищем Микулушка Селянинович. Один ловкостью удалецкой играет, другой силушкой молодецкой. Женихи да и только. А не-

вестами у них сохи-сестры свет Андреевны*.

Лепота** вокруг неопикуемая. Грачики по раскрытой землице попрыгивают, червячишек, будто яства заморские, из нее выхватывают, шумят-пошумливают, летят-полетывают. Ну божья благодать – ни в сказке сказать, ни пером описать.

Остальным казакам-пахарям тоже пожениться с Андреевнами охота. Каждый к ним в очередь по общему согласию встал. А пока земельку с холстинки по свежим бороздам крохами раскидывают, оратаям песенными причетами советы подают:

Держись за сошеньку,
За кривую ноженьку.
Она в люди вывезет.
Не с неба роса,
Сколько пот с лица
Красит молодца.
Утрись, не утрись,
Новый выступит,
Рожу выдубит.
Ходи веселей.
Сапог не жалей.
Даст Бог дождь,
Уродится и рожь.

А рядом другие песни-припевки звучат:

Любезная матерь-земля,
Ты – наша семья.
Скрепи и помилуй!
Солнышко, повернись!
Красное, разожгись!
Отмкни нам летечко,
Летечко теплое.
Лето хлебородное!

* Так в старину величали соху-орало.

** Великолепие, пригожество, красота.

Только ангелы с неба
 Не просят хлеба.
 А нам без него
 Ни туды, ни сюды.
 Коли хлебушко есть,
 С ним можно
 и беду-ябеду съесть.

Пели казаки да пахали, про напасть не знали. Тут налетела на город туча — туча черная, бусурманская*. Это воистые** киргизы воровски подкрались. Раньше они да черные и белые калмыки здешний народ эушту данями и насильствами обижали, а как стала эушта за спину Москвы, пришли Томской расейский город разорить.

Тех горе-казаков, у которых ладанок с отецкой землицей отродясь не бывало, киргизы без труда побили-поранили, а об караулы истинных казаков-защитников споткнулись-рассыпались. Те по ним с пушек ударили да с ружей-пищалей. Потом в рукопашную не страшась пошли. Таких мало повалить, надо убить. А они не убиваются.

Тогда киргизы за речку Ушайку бросились — пашенных казаков погромить. Да не тут-то было. Увидал их Ивашка Простота, знак своим подал:

— Прыгайте, ребята, в борозды! В них сила отчая и крест святой!

Подхватил его клич на своем поле казак прозвищем Микула Селянинович. И попрыгали служивые, как им сказано, в борозды глубокие, повернулись к набегчикам встреч лицом, а в руках-то голым-голо. Не подумали они на пашню оружие взять, а надо бы.

Ну, ничего. На сей раз с божьей помощью обошлось. Мечут киргизы в пахарей свои стрелы. Те им прямо в грудь летят, да уязвить не могут. Перед казаками будто невидимая стена выросла. Всё об нее ломается, всё расшибается.

Вот казак прозвищем Микулушка Селянинович и сообразил. Пока киргизы новые стрелы достают, высунется из-за этой стены

наружу, хват в каждую руку по ротозею — да и спшибает их лбами намертво. Только треск стоит.

За ним и другие пахары хватать-колотить неприятеля начали. Много наколотили, всех не сосчитать. А со спины киргизов казаки из крепости побивают. Такие жернова закрутились, что ай да ну. Лучше в них не попадать.

Крепко наседали поначалу набегчики, да против отчей силы и святого креста у них кишка тонка. Как ни бились, а все одно побежали. Такая пыль от конного толпища поднялась, что солнышко запылилось.

Переглянулись казаки, да и рассмеялись вослед:

— Этим бы войкам у себя на базаре пылью торговать!

Стали дальше жить.

Всяко жили — когда пусто, а когда и густо, когда по доброму, а иной раз и по злomu.

Ивашка Простота в атаманы выбился, пошел дальше сибирскую землю разведывать, новые крепости ставить. А казак прозвищем Микулушка Селянинович за службу честную землицу под Томским городом получил, нашел себе справную женку эуштинского роду-племени, срубил деревеньку (избу), кучей детишек обзавелся. Чем плохо? Закваска-то у него как была, так и осталась казацкая. Чуть что, верхом на коня и айда сибирскую землю защищать.

Да и прочие казаки, кто не сгиб и не помер, тоже на судьбу не жалуются. Их дело — государеву службу исправно нести, с ближними и дальними народами дружиться.

Они и теперь дружатся. Только на пашню все равно оружными ходят. Береженого Бог бережет.

* Нехристианская, иноверная.

** Воинственные, боевые.

ВОЗРОЖДЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ

Жили себе Богородицкие чернецы мирно-дружно, рожь сеяли, скот пасли. Помолятся – потрудятся, снова помолятся – снова потрудятся. Богачества у них не было, но и нужда в дверь не стучалась. Человек к человеку, так семь десятков монахов скоро и набралось.

А настоятелем у них был старец Ефрем, человек мудрый и хозяйственный. Всех судил по правде и совести, всех любил, аки сынов своих кровных. К одним подойдет, расскажет, покажет, как быть, что делать. С другими вместе помолится. Третьих Божиим словом и снадобьями на ноги поставит. А кому срок пришел упокоиться с ангелами, «Иже херувимы» пел.

Пять раз осаждали монастырский острожек пришлые киргизы, но монахи, аки Пересвет и Ослябя, с ними бились, живота не жалея. Грудь в грудь их не возьмешь, разве только вкраднем подобраться. Тут разные способы есть – кротом из-под земли выкопзти и спящую братию порезать, воду для еды-питья отравить, забросать монастырь градом огнищ. А лучше то, другое и третье разом устроить.

Так киргизы и сделали.

День простояли против них монахи, ночь продержались. Ни один из семидесяти не дрогнул, ни один спины неприятелю не показал. Ложились и умирали, как подобает Христову воинству. К концу третьего дня остались в живых лишь игумен Ефрем да юродивый Христа ради Максим. Лоб у него кованым обручем схвачен, железные тернии в кожу впились, семь железных обручей в тело вросли, на груди восьмиконечный крест к обручам прикован, а глаза кротким светом исполнены.

Вот и говорит старец Ефрем Максиму:

– Нас теперь двое в живых осталось, чадо. Провались земля, а Пресвятую Богородицу мы должны из поल्या вынести и сохранить. Готов ли?

– Готов! – улыбнулся ему полопавшимися губами Максим.

– Тогда побежим к лодке. Я икону понесу, ты отталкивайся.

Но отталкиваться не пришлось. Едва они в лодку вспрыгнули, она сама от берега отошла и к Томскому городу против течения поплыла.

Киргизы по берегу стаяй гончих псов бегут, из луков стреляют, копья мечут. Да куда им в божьих людей попасть, когда над ними сама Пресвятая Богородица! Ноги коротки да кривы от седел. Руки неверны да слепы от злости. Глаза потом залиты. А свыше завеса незримая опущена. Попробуй прострять сквозь нее. И захочешь, не получится.

Так и доплыла лодка до устья Ушайки, целая и невредимая. Повернула в нее, дальше поплыла, да и пристала к берегу под Юрточной горой. А там на ту пору святой старец Алексей в тесном скиту жил. Никто, кроме воевод да игумена Ефрема, не знал, что некогда старец Алексей был архимандритом*. Тогдашний патриарх Иов послал его с православной миссией в далекие восточные земли. На обратном пути миссия попала в руки немирных инородцев и была уничтожена. Уцелел лишь архимандрит Алексей. Его выкупили люди князя Тояна и привезли в свой городок на Томи. Тоян оказался умным и дальновидным правителем. Послушался он Алексия и отправился в Москву к царю Борису Годуну просить, чтобы Русия на Томи крепость поставила и со всех сторон зушту от врагов заступила. Тем временем Алексей с Ефремом, который допреж под началом самого Ермака Тимофеевича у Кучум-хана Сибирь назад отбирал и звался Ананием Грешником, обитель для божьих людей на Томи срубили. А когда сборный отряд сибирских казаков под началом Гаврилы Писемского и Василия Тыркова Томской город поставил, Алексей удалился в келью на Юрточной горе. Звал его игумен Ефрем назад в Богородицкую обитель, но старец на это загадочно ответил:

– Придет день, и мы станем заодно, отче. Нашей жизни на это хватит.

Вот и сбылось его предсказание. Богородицкий мужской монастырь перебрался на Юрточную гору, чтобы возродиться и стать Богородице-Алексиевским.

* Настоятель монастыря.

ПОЗАРА

Э то случилось в те поры, когда на Руси первый царь из корня Романовых правил — Михаил Федорович.

Пришла ему как-то челобитная от томских воевод. Жалобились они слезно, де на Сибири железа много, а пищали железные, ядра к ним, сошники, косы, серпы и прочую утварь для крестьянских работ присылают в Томской город из Устюжны Железнопольской либо из Новгорода, Деилова, Тулы, Олонецких земель. Долго это и хлопотно. Пересылки в пути застревают. Кабы дал государь им опытного кузнеца-рудознатца, они бы у себя то железо сами сыскали и выплавку наладили.

Царь-государь бровью повел, рукой боярам махнул:

— Правильно мыслят томские воеводы. Послать к ним сей час же дельного мастера, который в железе смыслит. Как что у него получится, сразу мне докладывать.

Сказано — сделано.

Сыскали государевы слуги в ближнем Новгороде смыслящего в железе казака Федьку Еремеева Позару, сунули вместе с семейством в сани.

— Езжай, — говорят, — в Сибирь, в Томской город, железные руды проводывать! Не посрами, — говорят, — чести новгородской!

— Ладно, — отвечает Федька, — постараюсь по силе мочи своей. Только вы со мной Пятуньку Кизила отрядите. Я с ним привыкши все в четыре руки и в две головы делать.

— Небось и без Кизила обойдешься, — усмехнулись государевы слуги. — Кизил — ягодка дикая, кислая. С нее оскомина бывает.

— Ах так? — осерчал Федька. — Тогда сами езжайте на Сибирь железо искать! Так и знайте: без Пятуньки с места не сдвинусь!

Пришлось государевым слугам согласиться. Одним казаком меньше, другим больше, стоит ли из-за этого голову ломать? Послали обоих-двух.

Вот приехали новгородские мастера в Томской город. Осмотрелись. Город как город. Из двух рек умывается, подолами рубах утирается, с горы на гору пересвистывается, топорами постукивает, во все стороны поглядывает, не идет ли откуда ворог разбойничать, тутошних сибирцев забижать, с Москвой свару

заводить. Чуть чего, ворота на запор и — в ружье! Голыми руками его не возьмешь.

Первый день мастера отдыхали с дороги, на другой — наладились железо искать. Уговор у них простой: Федька вверх по Томи от Ушайки идет, Пятунька вниз. По тайге да по болотинам рыскать — толку мало. А речной бережок подсказать может, что под землей лежит. Надо только под ноги да на осыпи зорко поглядывать, смекать, что к чему. Не зря говорится: за чем пойдешь, то и найдешь.

Так и вышло. Не успел Федька и трех верст от Ушайки прошагать, на высоком яру за поворотом ржавцы показались. Срубил он на склоне березку, нижним концом в заводь под ржавцы сунул. Кора на том конце сразу и оголилась, будто ее в кипятке макнули. Стало быть, железная руда рядом. Это она Федьке знак подает.

Вернулся Федька к воеводам: так, мол, и так, надо берег в том месте копать для опыту по железное камень.

Раскопали. И правда, есть! Стали то камень ломать, на яр затаскивать и дробить намелко.

А Пятунька назад с пустыми руками возвернулся. Глядит, на яру дым коромыслом. Опечалился, что не он железо нашел.

Заметил это Федька, хлопнул друга-товарища по плечу:

— Переложил печаль на радость, Пятунька. Последняя удача лучше первой. Чем кваситься, берись домницу делать. Ты по этой части पहले меня. Мою заслугу своей покрой, вот и сравняемся.

Долго ли, коротко ли, сделали печь с широким челом, с мехами для дутья и хорошим поддувалом. Засыпали в колошник просеянную через решето руду, разожгли ее на дровах. Через время слилось из той руды железо, да такое крепкое, какого ни в Новгороде, ни в Устюжне Железнопольской не дельвали. А все потому, что руда здесь не луговая, не озерная, не болотная, а такая, что только в горном краю бывает.

Обрадовались воеводы: экие мы мозговитые, наперед все узрели! Не мешкая, отправили к государю гонца. В отписке не забыли себя похвалить: все-де вышло, как мы тебе обещались, царь-батюшка, ждем-де твоей милости и дальнейших указаний. Думали, он их к себе в Москву тот час отзовет, новыми чинами и землями пожалует. Да прошиблись маленько. Государь в ответ своего гонца прислал: жалаю-де сам видеть Федьку Еремеева; как он при

мне из томского камня сибирское железо сольет, так и поверю вашему письмишке.

Делать нечего. Велели воеводы наломать побольше железной руды из притомского яра и погрузить ее на телеги. Сто телег нагрузили. На сто первую сели Федька с Пятунькой. И на этот раз Еремеев отказался без Кизила ехать. И на этот раз пришлось государевым слугам к нему приноравливаться.

Вот едут они, беседуют, что слышали о Москве, вспоминают. А слышали они разное. Москва – всем городам мать. Это понятно. Раз царь-государь в ней живет, то и Москва всем городам царский город. В нем сорок сороков церквей. Как заблаговестят, на десять верст окрест слышно. Кому не охота московского хлеба-соли покушать, красного звона послушать? Бывалые люди сказывали: в Москве каждый день праздник. Там все найдешь, даже птичье молоко. Однако проскальзывала в их словах и опаска: в Москву идти – голову нести. А хуже того присловие: московские люди землю сеют рожью, а живут ложью. Где правда, где напраслина, издали не разобрать. А вблизи глаза могут разбежаться.

В конце концов друзья-товарищи рассудили: в большом городе всего больше – и светлого, и темного, и спасительного, и губительного. Одни честно государю-батюшке служат, а другие лишь прислуживают, свою выгоду наперед ставят. От них всякое неустройство в делах и проистекает.

Три месяца обоз до Москвы добирался. На четвертый въехали Федька с Пятунькой в стольный град. Явились пред светлые государевы очи, челом ударили, привет от Томского города передали.

Государь привет принял, хитро глянул и спрашивает:

– Пошто тебя, Федька, Позарой кличут? Нешто ты и впрямь на чужое добро позариваешься? Или озорничать горазд, вздорить да буяннить? Любопытно знать.

– Зачем мне чужое, когда свое есть? – обиделся Федька. – Кузнец молот одевает, наковальня обувает. На семейство покуда хватает. Спать долго – жить с долгом. А я по заре встаю, вместе с птицами за работу принимаюсь. За то меня люди Позарой и прозвали.

– Ладно, не обижайся, Федька, – пресек его изъяснения государь. – Это я так, к слову молвил. Теперь к делу перейдем. Ты мне на Пушечном дворе железо из томской руды выплавил, а я посмотрю, хорошо ли. Коли хорошо, награжу. Коли плохо, выпорю.

Согласен?

Ударили они по рукам.

Федька фартук кожаный на себя надел, волосы через лоб сыromятным ремешком подвязал, на ладони поплевал, да и давай вываривать, отжимать, проковывать и плющить в пудовые полосы томское железо. Пятунька у него на подхвате чертом вертится. Любо-дорого посмотреть.

Выше всяких похвал железо получилось. Пришлось государю удвоить Федьке и Пятуньке жалованье, обласкать принародно и на Томь с почетом отпустить. Они там нужней. Пусть русское железо на Сибири варят, чтобы не хуже, чем у кузнецких людей, было.

Вернулись мастера в Томской город, домницу расширили, новые меха для дутья поставили, да и отлили для Взвозной Бугровой башни пицаль* полковую скорострельную, а к ней 155 ядер чешуйчатых. Затем пицаль для Бугровой острожной башни со стороны киргизского прихода сделали, а к ней ядер железных по кружалу числом 151. Так дело и пошло.

Федька как прежде по заре вставал, с птицами пересвистывался. Любил повторять: «Все на свете к лучшему. Бог не без милости, кузнец не без счастья».

Однако счастье от него вскоре отвернулось. Железная руда на томском яру понемногу иссякла. Новые воеводы не позволили другое место для пушечного производства разведывать.

– Ах так! – распушился Федька. – Вот я государю на вас челом ударю. Где это видано – супротив его воли железное дело свертывать?

– Бей на здоровье! – разрешили воеводы. – Да только лоб не расшиби. Или он у тебя чугунный?

Слово за слово, и вот уж Федьку плетью секут, а его железный наряд по разным сибирским крепостям служить рассылают.

Не стало рядом верного Пятуньки Кизила. Не стало и других мастеров-послужильцев. Вдвое усохло жалованье. Зато едоков у Федьки в семье прибавилось. Другой бы на его месте руки опустил, на чужое позарился или в какое-нито озорство впал, а Федь-

* Пушка.

ка чист. Только злей на работу стал. Серпы для пашенных крестьян по две штуки за алтын делает и отдает с припевкой:

Нам хотели запретить
По этой улице ходить —
Стены камены пробьем,
По этой улице пройдем!

Так и помер на Железной улице.

Часть третья

КАК ПОЛОМОШНЫЕ СИБИРЬ ОБЖИВАЛИ

Авторское сказание
Памяти Валентина Григорьевича Распутина

ОТЦЫ И ДЕТИ

Не зря говорится: кому где выпало жить, тот там и живи. Так нет, не сидится людям на месте. Вот как устюжанину Ивашке Поломошному по прозвищу Авось. Других торговое или какое иное прибыльное дело по свету гонит, нужда или немилость барская, а его — нрав любознательный, мечта найти райские кущи в стороне незнаемой. Кем он только в жизни не был — перегонщиком скота, ямщиком, промысловщиком, гребцом судовой рати, пешим казаком. Одним словом, человек хожалый, куда хошь пожалуй.

Ходил себе Ивашка, ходил, да с годами ногами износился. Вот и осел поневоле в одной из деревенок Лальского погоста* Соль-Вычегодского уезда, куда к тому времени его родичи по отцу торговые крестьяне Поломошные перебрались. Поначалу возле них всякими подработками кормился, потом отделился, свой дворик срубил. Глядь, а рядом Варюха-безмужница с хворым сынчишкой Семкой в кособокой избенке прозябает. Лет эдак на двадцать его помоложе. Из себя ладная, тихая, телесная. А если которым деревенским сплетникам верить, то беспутней ее за сто верст в округе бабы не сыскать.

Однако сплетни — дело ненадежное. Они ведь, как крапива жгучая, бездельно растут. Выдери ее с корнем, чище и урожайней земли не сыщешь. Что, если и с Варюхой-безмужницей так?

Опять же Ивашка и сам не ангел. Быстрец. Гультай. Бабий поломошник. Недосуг ему было в прежние годы семейной жизнью себя утруждать. Наловчился мимо девиц и молодок шаловливым окуньком проскальзывать. А на Лальском погосте у него оседлая жизнь пошла. Тут надо либо мужем в мужьях быть, либо бобылем в бобылях. Вот как он, непутевый. Ни тебе ласки, ни тебе заботы, ни жены, ни детишек. Хоть плачь.

А поскольку Ивашка плакать или долго печалиться не привык, то и заслал он наудачу сватов к Варюхе-безмужнице. Очень уж она ему ту милену напомнила, о которой он в прежних странствиях грезил.

И ведь не ошибся хожалый, хоть и действовал, как всегда, на авось. Сошлись они с Варюхой, как церковная свеча с домашней иконкой. Он горит, а она на него с душевной кротостью и прощением взирает.

В книге Премудрости сказано: не согрешишь, не покаешься. А каяться по-всякому можно — не только словесно, но и делами житейскими. С них Ивашка Поломошный и начал. Перво-наперво годовалого Семку обласкал, к себе прилучил, на ноги поставил, а после к земскому старосте отправился — мальчонку на свое имя записывать. Усыновить, стало быть, решил.

Все бы ничего, да борзой писец на самом важном месте росписи прошибся: вместо Семен имя его матери старательно вывел: Варюха. Видать, по какой-то мужской навязчивой причине о ней думал. Написал, и сам от этого поначалу возрбел. Хотел было оплошку свою мелом забелить или еще как-то свести, да поостерегся: так ведь весь лист испортить можно. После, немного взбодрясь, перо о желтые, как пакля, волосья почистил и приписал впереди тесными буквами нужное слово. Получилось Семен-Варюха Поломошный.

Час от часу не легче. Будто и так бывает, что отчество ребятенку по матери дается.

Хотел Ивашка на такое вредительство падкого до чужих баб писца оскорбиться, но тут ему ангельский голос свыше сошел:

— Не обращай внимания на сию несурязицу, сердешный. Значит, так Богу было угодно.

Ивашка и успокоился: авось пронесет. Два имечка для мальчика тоже неплохо. Коли одно в будущей жизни опростоволосится, за другое спрятаться можно. Чего только судьба с человеком не выкидывает. В заморских вон странах, сказывают, и по десять имен за раз ребятенку дают. Или русский человек хуже других прочих?

Не успел Поломошный с Семкой разобраться, посыпались у него и свои прямые детишки. Что ни год, то семейное пополнение. Сперва появился на свет оручий Васька, следом смирные, как мать, дочери Устька и Акулька, ну а напоследок вновь шумливый сынок Гришка.

Само собой, главными помощниками родителям Семка с Васькой стали. И странное дело, чем старше они делались, тем больше друг на друга лицом и повадками сворачивали. Оба-два телом лег-

* Сельский приход из нескольких деревень.

кие, языком бойкие, соображением хваткие. Одним только и разнились — отношением к жизни. Семка по природе своей в мать пошел — простодушный, артельный, нестяжательный, а Васька себе на уме. Всем хорош, но выгоды своей ни в чем не упустит. На первый взгляд братовья Поломошные два сапога пара, а на второй взгляд — лапоть с голенищем.

Долго ли, коротко ли, оперились они, возмужали, бородки для пущей важности отпустили. Пришла пора их на крыло ставить. Вот и призадумался Ивашка: к какой службе их лучше всего приставить — к военной, торговой, промысловой или ремесленной? В какие края на поиски судьбы направить?

А времечко-то было ох-ох-ох! Смутное. Немилосердное. От сокрушительных природных стихий неурожай сделался. Владетельные люди всех чинов и сословий цены на хлеб вмиг вздули, вот и не стало чем остальному народу кормиться. С того и начались на Руси голод и моровое поветрие. Одни богатеют, другие все, что жуется, поневоле едят, а потом замертво на дорогах падают.

Выборный царь Борис Годунов до той поры если и не хорош, то уж точно не плох был, а тут враз испротивел. Вот и возопил всяк на свой лад: «Боже милостивый, дай нам справедливого царя!»

Услышал эти вопли дьявол, да и перехватил дело в свои руки. В польских землях, не иначе как по его наущению, объявился вскоре чудом восставший из мертвых меньшей сын Иоанна Грозного Димитрий: я-де и есть тот справедливый государь, которого вы ждете! И что же? Не только низы, но и многие царские приспешники из бояр и дворян тут же к нему качнулись. В лихие годы всегда так. За чины и пожалования перевертни разных мастей мать родную продадут, не то что царя, которому только что славу пели.

Вот и тут все с ног на голову стало. Привел новоявленный царевич Димитрий собранное из ляхов, бунташного люда и литвы войско к Москве, а та ему руками завязтых перевертней ворота сама отворила и под звон колоколов на трон торжественно усадила. А ведь к тому времени уже известно было, что имя покойного царевича положил на себя беглый чернец — расстрига Гришка Отрепьев и что из православия он успел в католическую веру перевертнуться.

И года не прошло, как опомнились те же московские переменчивые люди, Отрепьева смерти и позору предали, а державную

корону на боярина царских кровей Василия Шуйского возложили. Но смута уже вширь и вглубь пошла. Поляки, как тараканы, в Кремль успели поналезть, своего королевича Владислава в московские цари прочат. Того и гляди новый самозванец на Руси появится.

Учтя все это, Ивашка Поломошный умом и раскинул: если Семку и Ваську в казацкую службу к Москве наладить, они в этой кутерьме и запутаться могут, в соблазны впасть, не к тем людям прибиться. Особенно Васька. А им сейчас не только мужать надо, но еще и заступниками отечества, его заботниками и радетелями становиться. Не лучше ли в таком разе сыновей за Каменный пояс услатить? Волны лихолетия и новые поветрия туда если и докатываются, то с большим запозданием. Власть на Москве уже не раз поменялась, а в Сибири все еще по старому устроению идет. Оттого там и путаницы в головах куда меньше, зато больше порядка и единства.

«Родительский совет на шее не виснет, — повеселел от такого поворота мыслей Ивашка. — Мое дело подсказать, а детушки пускай сами решают, что да как. Авось Сибирь их на ум наставит».

Тем же днем вывел он своих возмужалых птенцов к Успенской церкви, трижды перекрестился и спрашивает:

— А скажите-ка, чады мои, прибытчики, куда вас больше от дома родительского тянет — налево, в московскую сторону, значит, али направо, к Сибири? В казаки али в разбойники?

Ваську, конечное дело, к Москве потянуло.

— Там хоть и смутно нынче, — рассудил он, — зато легче в жизни устроиться. На месте и решим, чем нам при ней лучше заняться.

А Семка на Сибирь закаменную настроился.

— Православные люди правой рукой крестятся, — напомнил брательнику он. — Ну а раз Сибирь от нас сей час направо лежит, то к ней и идти следует. Где нам теперь быть, как не в казачьем Лукоморье?

— А ты, Варюха, лицом в обратную сторону стань, — посоветовал ему Васька, — Москва у тебя направо и окажется. Любое дело к своей пользе повернуть можно, была бы охота. Это для тебя Сибирь — казачье Лукоморье, а для меня, к примеру, иноверная глухомань. Чем в ней прозябать, лучше сразу на большую дорогу жизни стать.

– От церкви лицом не отворачиваются, – укорил его за такие слова Семка. – Батюшка нас к ней, поди, не зря вывел...

Ну и заспорили они с пылом, как не раз бывало. У каждого своя правда.

Слушал их Ивашка Поломошный, слушал, да и говорит:

– Раз не можете вы сами к согласию прийти, задам я вам вспомогательную загадку. Кто ее отгадает, за тем и решающее слово будет. А загадка простая: почему голова раньше бороды седеет? Вот как у меня.

Глянули на него спорщики, бородки свои кучерявистые огладили и давай размышлять, как на такой каверзный вопрос ответить. Раньше они по молодости лет над такими странностями не задумывались – до стариковства им, слава богу, далеко. Да и других таких разномастных мужиков, как их отец, на Лальском погосте днем с огнем не сыщешь. Здесь ежели кто и сед, то сплошь, а не наполовину.

Не найдя ответа, Васька на всякий случай отцу подольстил:

– У тебя, батюшка, голова бороды мудрей, вот почему.

Тот ему:

– Чем докажешь?

Васька и споткнулся на ровном месте. А Семка негромко подсказывает:

– Волосья на голове с рожденья растут, а борода только с возмужания. Оттого голова и седеет раньше.

Услышал его шопоты Ивашка и возрадовался:

– Истинная правда, сынок. Волосья, как трава, одни раньше всходят, другие по мере жизни. По ним сразу видно, когда человек на свое перепутье вышел. Вот как я ноне. Одно только крепко запомните: прожитое не всегда мудрость жизни дает. Хоть ты седой, хоть ты какой, а ежели Бога в душе нет, откуда она возьмется?

– Об том я и имел в виду, батюшка, – тут же подстроился к отцу Васька.

– Добра соль, а переложить, рот воротит, – усмехнулся на то Ивашка и прежним голосом продолжил: – Вы тоже на свое перепутье ноне вышли, ребята. Потому я эту загадку вам и задал. Врать не буду, рад я тому, что дорога в Сибирь вам пати запала. Превелико рад. Ведь жизнь с нее куда как видней, чем с московского многовластья. Цари на Руси волей случая меняются, а она на-

перекор всем превратностям, как была, остается. За нее в любом задальном краю служить должно и почетно, тем более в молодые, как у вас, нетвердые до поры до времени годы. Вот и служите! Что до Москвы, родимые, то и она никуда от вас не денется. Наберитесь только терпения и старания. Дальняя служба вас чаще будет к ней приводить, чем ближняя. Уж поверьте на слово. Авось и Господь вам на том поспешествует.

Обоза на Сибирь долго ждать не пришлось. И недели не прошло, как он на дороге у Лальского погоста появился. К нему Ивашка Поломошный сынов тот час и пристроил. Да не попутчиками, а сразу служилыми казаками. Ведь такие, как они, добры молодцы везде нарасхват. Особенно за Камнем. Оклад им на год положили обычный для холостых необученных казаков – четыре рубля с полтиной, а к ним тридцать пудов ржи, двадцать четыре пуда овса и полтора пуда соли. Остальное – что сами попутно своей ухваткой и досужеством добудут. Не зря говорится: было бы старание, будет и рубль.

Провожая сыновей в новую жизнь, Ивашка Поломошный к этому добавил:

– Только честный рубль душе опора, – и строго-настрого наказал: – Чужой ум не попутчик, своего держитесь, родимые. Это раз. Одних друзей и врагов имейте, тогда не рассоритесь. Это два. Живите на двое: и до веку, и до вечера. Это три. Остальное само приложится.

На том и расстались.

Путь за Камень Семке и Ваське вышел долгий, изъедчивый. Через доли пришлось идти, через горы и реки, то по суху, то по хлябям болотным, мимо редких пашенных сел и острожных застав, мимо порубежного города Верхотурья в стольный град московской Сибири Тоболеск.

Думали братовья в нем остаться, да не вышло. Тобольские управщики их дальше отправили – в самую окраинную на то время в Сибири Томскую крепость. А это еще чуть не две тысячи верст речным ходом – сначала вниз по Иртышу, а потом вверх по Оби и Томи.

В отличие от других сибирских крепостей Томская по челобитию тамошнего татарского князя Тояна-зушты поставлена. Не имея возмоги от енисейских киргизов, белых и черных калмы-

ков, казахской орды своими силами оборониться, решил он стать за спину Москвы. Сам в царь-граде у покойного ныне Бориса Годунова побывал и с тех пор своими делами верность Московскому государству крепит.

Одно плохо: казаков в крепости и семи десятков не наберется. Да и те большей частью в окрестных дозорах, на посылах или в ясачных отлучках пребывают. Если степняки, сговорясь, скопом ее осадят, трудно будет оставшимся казакам с ними совладать. А из Тоболеска ни пополнения, ни хлебного жалования служилым людям давно нет, одни только обещания.

А тут собрали наконец то и другое. Сорок новоприбранных казаков, в их числе Семку и Ваську, усадили гребцами на дощаники с хлебным, соляным, денежным довольствием для томских послужильцев — и в добрый путь до Томи на весельно-парусной тяге прогуляться!

Речная лямка оказалась не легче походной, зато на томскую землю Поломошные ступили бывалыми казаками. От тех домашних деревенских недорослей*, что на поиски своей судьбы четыре месяца назад выступили, и следа не осталось. Теперь из них хоть веревки вей — задубели, возмужали, артельному делу научились. Таких голым пальцем не проткнешь.

Томской город братьям поглянулся. Не велик и не мал, не узок, но и не широк, поставлен на обвалистом бугре между родниковой воды Томью и упрятанной в неширокое ложе столь же чистой Ушаевой речкой. Стены его собраны из широких срубов-городен. Их крепят кряжистые дозорные и проездные башни. В центре города в голубое небо впечатался шатровый Троицкий храм с Божиим крестом. С одной стороны город выходил на мыс к Ушаевой речке, с другой — соединялся с жилецким посадом, обнесенным заостренным частоколом. Издали поглядеть — ну точь-в-точь небесный корабль. И что примечательно, каждое бревнышко этого корабля, каждая доска золотились, словно вчера срубленные и обтесанные. Тут хочешь не хочешь, а спросишь: сколько же Томской крепости лет от роду? И удивишься, что ей еще и года нет. Считай, вчера из пеленок...

* Не достигший 20 лет.

Глянул Семка на эту красоту и разом решил:

— Быть мне казаком-древододелом. Господь строил и нам велел.

А Васька в ясачные сборщики подался. Глаз у него острый, ум цепкий, подход ко всему деловой, наглядный, не то что у Семки. Вот и смекнул он, что самая, пожалуй, опасная, но и прибыльная при этом служба — подати с сибирских инородцев по таежным глубинкам собирать. Не случайно ведь у ясачных десятников и их помощников дворы на посаде самые крепкие, кони самые породистые, а повадки самые ущипливые. Наловчились часть ясака, взятого мягкой рухлядью* или красной рыбицей, мимо государевой казны как ни в чем не бывало проносить, а потом тайно сбывать заезжим перекупщикам. На это у них много секретов имеется.

Ну а Васька до таких секретов падок. Вот и решил: коли к Москве ему идти не досталось, то уж в прибыльные казаки он выбиться обязан. Ради этого любые походные мытарства и раздоры с сибирцами претерпеть можно. Рано или поздно все спишется, зато будет на чем завтрашнюю жизнь начать...

Первый год в задальнем краю для Поломошных как один день пролетел — с таким рвением они за дело взялись. Семка за это время на постройке мельницы, моста через Ушаеву речку и трех пригородных застав потрудился. Поначалу жил в наугольной городской башне с такими же, как сам, холостыми послужильцами, потом на заставах в дозорных избах. А собственного дворишка к зиме так и не поставил, хотя леса вокруг много и умение в руках есть. Времени не хватило.

Васька тоже не барствовал. Во многих татарских юртах и остяцких становищах успел побывать, дневал и ночевал где придется, не раз в сложные передраги попадал, но своей цели вскоре добился. За выдержку и сообразительность ясачный десятник Пронька Похватаев его своей правой рукой сделал. С того Васька в гору и пошел. Приоделся. Приобулся. Нанял людей, они ему дом на посаде к холодам и вскинули. На новоселье, само собой, Семку позвал и по-братски жить у себя оставил.

Все бы ничего, да невестами Томской город вконец обнищал. Не успели власти на государеву пашню детных крестьян из Хол-

* Пушнина.

могор и Каргополя перевести, неженатые казаки их дочерей тот час за себя расхватали. Даже самые неказистые молодницы, в девках засидевшиеся, в ход пошли. А остячкам, татаркам эуштинского рода-племени или там карагаскам с Чюлыма креститься их старейшины не велят. Вот и живут казаки с иными из них без венчания – в грехе и блуде. А без законной семьи жизнь не в жизнь, служба не в службу. Ретивое сердце быстро выдыхается.

– Не горюй, Варюха, – сказал брату Васька. – Мы это дело скоро поправим. Не знаю, как, но жонок себе мы точно добудем. Сам знаешь, я слов на ветер не бросаю.

Сказал как в воду глядел. И дня не прошло, как вызывает его к себе новый томской воевода Матвей Ржевский и велит с ясачным обозом к Москве собираться.

Обмер Васька, но вида не показывает. Стоит. Слушает. Сообразить старается, что к чему.

Ржевский в Томском городе без году неделя, а славу успел пустить о себе недобрую. Следуя к месту службы, набрал в казаки гулящих людей, а их оклады себе взял. Заодно ясачных остяков по пути пограбил. А старослужащим хлебное и денежное жалование распорядился выдавать под заемные кабальные записи. Вместе с другими обиженными и Васька на кругу у Троицкой церкви против его поборов глотку драл.

А после случилось новое позорище: киргизский князь Номча с Белого Июса свою жену с посольским делом к Ржевскому прислал: хочу-де с тобой, воевода, замиришься и под высокую царскую руку со всем своим Алтысарским аймаком стать. Как там у них переговоры шли, никто толком не знает, но только Ржевский непристойными действиями их вконец испортил: сорвал с княгини шубу из первостатейных соболей и, как дворовую девку, за ворота выпроводил. А Номча в отместку за это томских ясачных людей на Чюлыме вконец разорил. Вот и служи такому самодуру.

С другой стороны, и не служить нельзя, тем паче, когда тебя в царь-град посылают. Москва – предел Васькиных мечтаний. Как тут не вспомнить предвидение отца, что дальняя сибирская служба в первопрестольную скорей приведет, чем ближняя?

Стоит, значит, Васька в воеводской палате дальше. Слушает. Удивляется про себя: с чего это голос у Ржевского такой не по чину свойский, обходительный? Наконец сообразил. Заодно с госу-

даревым ясаком надумал воевода отправить в свое имение под Москвой то, чем успел в Томском городе разжиться, – пушнину, крупы, масло, сало, мед, осетровую икру. Да не как-нибудь отправить, а по одной с ясаком государевой проезжей грамоте, без пошлины. Иначе говоря, за казенный счет. А чтобы это вдруг не открылось, нужны ему подходящие люди. Вот как Васькин покровитель ясачный десятник Пронька Похватаев. Это он своего подручного Ваську Ржевскому в обоз взять посоветовал.

Вообще-то Васька человек разговорчивый, но тут у него слова поперек горла стали. Молчит и слушает. Слушает и молчит.

Ржевский на него за это даже осердился.

– Ты чего умничаешь? – спрашивает. – Говори! Беседуй! Или моему поручению не рад?

– Рад, – чистосердечно соврал Васька. – Да не положено мне вперед высываться. Жду, не скажешь ли ты еще чего, воевода. Уж больно новое для меня это дело... Справлюсь ли?

– Захочешь, так и справишься, – ухмыляется Ржевский. – Человек ты, я вижу, смекалистый, вот и удиви своей хваткой. Коли удивишь, награжу, а нет, прогоню взащей. Уж не взыщи на прямом слове.

Тут Васька Поломошный и раззадорился.

– Ладно, – говорит, – но с одним условием. Хочу, чтоб по обратной проезжей грамоте дозволено было мне двадцать невест на Томь беспрепятственно ввезти. Ага.

– Ну ты и хватил, однако, – опешил Ржевский. – Куда тебе столько?

– Не мне одному, – вовсе осмелел Васька. – Мало ли казаков без жен мыкается? Ныне на Сибири для служилого человека это самый ходовой товар. Подороже соболей и горностаев будет.

– А и правда, – почесал в затылке Ржевский. – Как это мне самому на ум не пришло? Казак без семьи, что конь без привязи. И боевой дух у него не тот, и мысли куда попало разбегаются. Опять же товарищ сам себя хвалит. Особый товарищ. Как я погляжу, голова у тебя, Василий, не для виду приставлена. Удивил ты меня, братец, премного удивил. А я слов на ветер не бросаю. Обещал наградить, значит, награжу. Отныне ты у меня в полном доверии. Дерзай! Ввози! Но так, чтобы нам обоим от этого польза была. Понимаешь: обоим!

— Чего же тут не понять? Коли ты ко мне с доверием, то и я к тебе, — заверил воеводу окрыленный своей находчивостью Васька.

Так вот и стал он нежданно-негаданно вершителем многих казачьих судеб, а также своей и Семкиной.

Следуя с ясачным обозом в Москву, Васька на Лальский погост не преминул нагрязнать — родных повидать, себя в новом виде показать. А в родительском доме вопреки его ожиданиям скорбь и уныние царят. Отца старость замучила, хвори одна другой сокрушительней. Устал он с ними бороться, лег под святые образа и в мир иной отойти приготовился. А тут сын в двери. Пал рядом на колени, шепчет:

— Погоди, батюшка! Рано тебе в земле лежать, в очи Христа видеть. Еще не все слова сказаны. Еще не все дела сделаны. Вставай! Выслушай! Напутствие дай...

От такого сердечного вспыла недужный родитель и впрямь ожил. Встать со смертной лавки не встал, а поговорить по душам поговорил. И наказы на будущее тающим голосом успел дать.

— Езжай, — говорит, — себе дальше, как служба велит, сынок. Ни об чем постороннем не думай. Мое дело известно: пожил и хватит. А мать с братом и сестрицами на возвратном пути с собой забери. Не здесь же им без меня бедовать. Авось лишними не будут.

— Заберу, батюшка, заберу, — пообещал Васька, — но только с тобой заодно. А ты к тому времени на ноги встанешь. Ладно?

— Чем перебивать, лучше дослушай, — заволаговался отец. — Ну дак вот. Мать в доме теперь главная. Хоть со мной, хоть без меня. Уразумел?.. Что до Гришки, то ему самое время в казаки определяться. По вашему с Семкой примеру. А Устьке с Акулькой взамуж пора. На Лальском погосте женихов подходящих не видать. На проезжих тоже надежи мало. А в Томском городе да под братским присмотром авось и найдутся. Как думаешь?

— Тут и думать нечего, батюшка. Непременно найдутся. Там у нас на девок самая настоящая голодуха, — с готовностью подтвердил Васька. — К слову сказать, мне ноне как раз по этой причине сколько-нибудь невест в Томской город попутно завезти поручено. Кого хошь в проезжую грамоту вписать могу. Об Устьке с Акулькой разговору нет. А ежели у Гришки кто на примете, ее тоже могу.

И других прочих. Во как!

— Дельно придумано! — оживился немощный родитель. — И кому же эта мыслишка в голову пришла?

— Мне и пришла, — приосанился Васька. — Ага. А воевода Ржевский ее поддержал.

— Видать, заботливый воевода, ежели о послужильцах думает.

— Я бы так не сказал, — впал в затруднение Васька. — У нас его не хвалят. Да особо и не за что.

— Так, понятно, — не стал уходить в подробности родитель. — Бог с ним, с воеводой. Давай подумаем, кого бы в ту проезжую грамоту для вас с Семкой вписать. Ну вот, скажем, дочерей звонаря Офони Сопатого, Анютку и Дарьку. Чем плохи? Сам-то Офоня зимним делом рыбу ловил и под лед провалился. Следом Сопатиха с непосильных трудов преставилась. Вот уже год, как девки сиротствуют. Были соплухи, а теперь не узнать. Ладные, да пригожие, да работающие. Кабы мне годков этак двадцать с проходом сбросить, я бы и сам на которую из них покусился.

— Ох, поломошный! — покачала головой огрузившая, но все еще миловидная хозяйка дома. — То совсем помирал, а то вдруг взбодрился, козликом запрыгал. Тю на тебя, старый!

— Не мешай, мать. Кто скучно жил, тому и помирать скучно. А мне стыдиться нечего. Мы с тобой, слава богу, ладили. Я тебя, как другие, не мытарил, в заклад не отдавал, с горячего вина* не буйствовал. Жалел и уважал истинно. А что взбрыкивал порой и с властью неуживчив был, за то прости. Уж такой уродился.

— Ладно, чего там, — смахнула слезу Варвара Поломошная. — И ты меня прости, Ваня, за язык, за бабы глупости.

— А тебе, сынок, я так скажу, — перевел взгляд на Ваську отец. — Хоть по-новому, хоть по-старому, без семьи человек и не человек вовсе, а чистое недоразумение. На чем, думаешь, мир держится? Да на ней же, на семье! Это Господь тебя надоумил — одиноким казакам и себе заодно с жонками пособить. Вот и пособилай. Но прибыли для себя от этого не ищи. Прибыль твоя в другом будет: с сослужильцами на бескорыстном деле породниться. Сумеешь ли?

* Водка.

— На все воля божия, батюшка, — ушел от прямого ответа Васька. — Что до меня, то я со всей душой... Не сомневайся.

— Да уж постарайся, родимый, — едва ворочая языком от слабости, попросил отец. — Трудное это дело — поперек своей выгоды идти. Зато спасительное... А теперь ступай. Устал я. Но помирать погожу. Расшевелил ты меня своими заботами.

Убедившись, что муж и впрямь помирать еще не думает, Варвара Поломошная увела сына на другую половину дома и ну его обнимать да расспрашивать: надолго ли ему отлучку в обозе дали, да какая такая у него служба, да как и когда он невест для томских казаков думает набирать...

Васька в ответ: отпущен-де до самого до утра. Что до невест, то собирать их пока рано, этим он на обратном пути думает озаботиться. Велел Гришке расседлать своего жеребца, поставить в стойло, а поклажу с него принести в горницу.

Тот мигом обернулся. На каждом плече по дорожной суме внес.

С важным видом Васька развязал их. И потекли на стол подарки: два отреза камки китайской, зеленой и гвоздышной*, по четыре аршина каждый, и пояс шелковый с кошельком — матери; шапка с багрецовым верхом, золотой нашивкой, соболями исподом и кушак с ножом — отцу; зеленые сафьяновые сапоги — младшему брату; да по цветному платку и по трем соболям хвостам — любимым сестрицам.

Мать и сестры от таких щедрот руками всплеснули: откуда?!

— Оттуда, — исполнился значимости Васька. — Стало быть, заслужил.

И стал он живописать страну-сказку Сибирь. Все в ней диковинно — таежные дебри, могучие реки, поднебесные горы, невиданные звери, птицы и рыбы. Особая статья — тамошние многоплеменные люди. Одни из них охотой, рыбной ловлей и прочими мирными занятиями живут, другие войной и разбоем кормятся. Вот и взяла Москва мирные народы под свою высокую царскую руку, защитные крепости тут и там поставила, пашни, торговые и всякие нужные ремесла завела, а на содержание всех этих дел ясак на сибирцев положила — десять соболей с женатого человека,

пять с холостого, исключая женщин, стариков и детей. При согласии соболей можно бобрами, горностаями или, скажем, лисицами заменить, но поскольку у них цена другая, то и счет ясаку другой будет. Однако со счета и цены на него дело, по словам Васьки, только начинается. Главная трудность — по дальним юртам и становищам его собрать, в целостности и сохранности в воеводское хранилище доставить, а затем в Москву, как положено, явить. Этим Васька Поломошный и занят. Его служба всем службам служба. На ней такого натерпишься и насмотришься, что язык немеет.

— Взять хотя бы остяков, — разговорился Васька. — Если на наш язык это слово перетолмачить, то выйдет, что они себя обскими людьми называют. А Обь — это такая река, что и представить себе трудно. Когда разольется, берегов не видать. Как море становится. Ага. Вообще-то остяки народ смирный, но, если их кто-то с толку собьет или крепко обидит, воинственными становятся. Однако прежде чем боевые действия начать, они железную стрелу отливают, а на ней одиннадцать шайтанов, бесов по-ихнему, нарезают. Ага. На той стреле каждый боец должен поклясться, что не отступит и не сдастся недругу ни в каком случае. Потом эту стрелу выстреливают в неприятельский стан. А себе лоб кровью намазывают, чтоб далеко видно было. Такой у них знак войны. Обычай для сибирцев превыше всего. Ага.

— Плохой обычай! — возмутилась Акулька.

— Зато честный, — вставил свое мнение Гришка.

— А вот еще, — продолжил рассказывать Васька, — волосья на голове побежденных врагов резать. Это у вашего женского сословия косы принято для пущей красоты держать, а у обских мужиков это знак их природной силы. Не у всех, конечно, длинные волосья есть, только у самых молодецких. Не зря их косатыми кличут. Ага. Срезать такому волосья — все равно что убить. А в давние поры косы с побежденных и вовсе вместе с кожей снимали. Как обувку с ног.

— Экий ты кровожадный какой, Васюша, — упрекнула его мать. — Все бы тебе стрелять да резать. Нешто хорошими обычаями сибирцы обнищали?

— Да ни бже мой, маманя! По простоте души они все готовы отдать...

— ...за горячее вино да всякие побрякушки, — подхватил каверз-

* Цвета гвоздики.

ный Гришка. — Мне приезжие люди много чего про вашу ясную службу порассказывали.

— А ты не влазь не в свой разговор, умник. Губы приberi! — пресекла его бдительная мать. — Лучше отца проведай. Не надо ли ему чего?

— Вот так всегда, — забормотал себе под нос строптивый Гришка. — Слова лишнего не скажи, враз обрежут, — но послушно отправился на родительскую половину.

— Да шапку, что Вася привез, захвати, — напутствовала его мать. — Пусть порадует.

Затем она отослала куда-то Акульку, а Устьке велела на стол собирать, ведь сыночка долгожданного одними разговорами не потчуют.

Акулька вскоре вернулась, да не одна, а с двумя товарками.

«Этих-то зачем привела? — недовольно подумал Васька. — Я же ясно сказал, что невестами мне нынче заниматься недосуг».

Зато мать встретила их как желанных гостей.

Пригляделся Васька: ба, да это никак дочери звонаря Офони Сопатого, о которых недужный отец с таким оживлением недавно поминал. Повыше которая — Анютка, пониже — Дарька. У той и у другой продолговатые лица заборными веснушками усыпаны и глаза с преленью. Раньше они Ваське пугалицами казались: руки длинные, шеи тонкие, ноги короткие, голоса писклявые, а тут откуда ни возьмись стала появилась, соразмерность, женские округлости, а вместо бледных конопущек золотистые веснушки высыпали. И в глазах застенчивость пополам с любопытством перемешана.

Надо сказать, в полюбовных делах Васька не новичок, но тут у него сердце как-то по-особому трепыхнулось. Хороши! Ей-богу, хороши! Сразу и не понять, которая из них лучше.

То, се. Дружно переговариваясь, за стол сели. И потек у них разговор — тихий, чтобы не потревожить задремавшего отца, задушевный, как и полагается в домашнем кругу. Главный разговорчик, ясное дело, Васька. Все на него с обожанием глядят, все его с почтением слушают. Да и как не слушать? С одной стороны, он лихой сибирский казак. Молодой быvaleц! Пройдисвет! С другой стороны, свой человек, не с улицы. Любящий сын, заботливый брат, завидный сосед.

Мало-помалу Васька разохотился. И посыпались из него истории, одна занятней другой. Взять хоть такую. Как-то возвращался его отрядец с ясаком из Кабаньясова юрта. Места там глухие, охотничьи. Ловушек всяких на зверя много поставлено. Вот Васька в одну из них по невнимательности и угодил. Точнее сказать, в яму для лоса с обманым настилом провалился. Ногу подвернул, а так ничего страшного. Для начала осмотрелся, дух перевел. Стал ветки сверху обваливать, ломать и горкой в углу складывать. По той горке он вскоре до края ямы добрался. Осталось окончательно из нее вымахнуть. Но тут кто-то Ваську по лицу лапой хлясть. Прямо когтем в ноздрю угодил. От неожиданности Васька назад прынул. Опора из-под ног ушла. И снова он на дне ямы оказался. Лежит и понять не может, чья это лапа его подкараулила...

В этом месте своего рассказа Васька сделал несколько глотков из кружки с клюквенным квасом и, разжигая любопытство слушателей, обвел их испытующим взглядом.

— Чья? — первой не выдержала неизвестности Анютка Сопатая.

— Медвежья, — милостиво уронил Васька и вновь приложился к кружке. — Ага.

— Час от часу не легче, — сизой орлицей встрепенулась Варвара Поломошная. — Да говори ты, горюшко мое, что дальше-то было? Не томи.

— Я и говорю: медвежья, — поперхнулся квасом Васька. — Правда, когда я пригляделся, оказалось, что это медвежонок-пестун. Стоит в проеме над моей головой, из стороны в сторону раскачивается. Будто дразнит или играть в свои игры намерился. Но я-то знаю: где малый, там и старый. Того и гляди медведиха заявится. Уж она-то заломает меня как липку. Ага.

— Неужто и впрямь заявлялась? — в волнении намотав на палец конец тугой русской косы, снова спросила Анютка.

— А как бы ты думала? — снисходительно ответил Васька. — Гляжу, рядом с пестуном косматая морда появилась. Грозная, как туча. В таком разе медведю в глаза лучше не смотреть. Ага. Ну я и зажмурился. Затаился. Жду. Сверху земля комочками сыплется. Зверюги сопят, а уходить не уходят. Чтоб им пусто было. А время идет. И тут, хоть верьте, хоть не верьте, меня смех разобрал. Вспомнилось вдруг, как ты, маманя, на чем-то с батюшкой сильно повздорила. А он, молодец, возьми да и пошутит: не прав де мед-

ведь, что корову съел, не права и корова, что в лес зашла.

— Отец у тебя и верно шутник, — подтвердила Варвара Поломошная. — Его спросишь: что деток мало бьешь? А он в ответ: больше не стоят.

От таких слов все за столом разом задвигались, заулыбались. Поняли, что Васькина медвежья история к благополучному концу повернула.

— Ну так вот, — не стал затягивать с развязкой он. — Надоело мне в гнилой яме отсиживаться. Думаю: была не была! Выбрался наверх, а там ни-ко-го. Солнце вовсю светит. Ага. Птички чирикают. Жизнь вокруг, как в те времена, когда Христос вместе с апостолами по земле ходил. Мне даже их голоса явственно слышались... На самом-то деле это казаки из нашего отряда искать меня вышли. Среди нас всякие люди встречаются. Но закон в тайге один: выше той службы не бывает, когда казак казака из беды выручает. Большая это беда или малая — не суть важно. Важно — умеешь ли ты с остальными людьми братствовать. Не умеешь, так лучше дома сиди...

Много чего еще Васька из своей походной жизни мог бы порассказать, да мать его ласково приземлила:

— А не засиделись ли мы под долгожданные разговоры, детушки? Ночь на дворе. Будет еще время побеседовать. Чай, не одним днем жизнь стоит.

— Засиделись, тетя Варя, ой засиделись, — выпорхнули из-за стола сестры Сопатые. — Спасибо за хлеб, за соль. Счастливой дороги, Василий Иванович!

А ему отпускать их не хочется. Думает, чем на прощание одарить?

А вот чем — кедровыми шишками. Он их из самой Сибири вез, да забыл из сумы вынуть. Спелые шишки, смолистые, каждая обхватом в мужскую ладонь.

Молчавшая весь вечер Дарька прижала свои шишки к пышной груди и говорит:

— Очень они для игры в отгадыши хороши.

— И в чем эта игра заключается? — поинтересовался Васька.

Дарька и давай объяснять:

— Загадываю я, значит, желание. По числу орешков и разгадка будет. Если число четное — сбудется, а нечетное — прошиблась.

Можно и наоборот. Это кому как захочется.

— А тебе-то самой как?

— Я сроду нечетная.

И так она это горестно сказала, что Васька даже посочувствовал:

— Не может такого быть!

— А ты проверь, братуха, — посоветовал ему неумный Гришка. — Вдруг твой чет с ее нечетом сойдется.

Варвара Поломошная на это только головой покачала:

— Нет такого дерева, чтоб на него птица не садилась, нет такого разговора, чтобы наш умник в него не влез.

Однако Гришкино предложение ей понравилось.

— Ты вот что, голубушка, — велела она Дарьке, — загаданную тобой шишку мне оставь. Я по ее орешкам буду считать, сколько дней до Васиного возвращения осталось. Коли их до той поры хватит — обниму, коли нет — вместе с тобой поплачу. Глядишь, он и поторопится.

— Тогда и мою шишку возьми, тетечка Варя, — взволновалась Анютка. — Чем она хуже?

— Возьму, солнышко мое, возьму. Вы мне обе как дочери родные. Такая у нас женская доля — ждать да провожать. Тут поневоле на отгадыши потянет... Твою-то шишку по какому счету будем проверять, Анюта?

— По четному.

— Вот и ладно, вот и хорошо. А я по вашим орешкам и свое желание загадаю. У меня, чай, еще сыночек есть. Обо всех сразу думать приходится...

Утром чуть свет Васька обнял отца, младшего брата и сестриц, а матери в ноги поклонился:

— На тебя во всем полагаюсь, маманя. Как батюшка сказал, так тому и быть. Собирайтесь в Томской город. Когда я назад поеду, чтобы все в полной готовности были. А назад, я полагаю, быть месяца через полтора, а то и поболее. Тут и не спеша можно успеть.

— Успеем, сынушка, как не успеть? — заверила его мать и перекрестила на дорогу. — Бог в помощь, родимый. За нами дело не станет...

За ней и правда дело не стало. За то время, которое сын ей отмерил, Варвара Поломошная дом и дворишко сборщику пода-

тей Ямской слободы отложенным делом сторговала, а живность соседям скорой ценой распродала. Заодно успела нужные бумаги у земского старосты выправить, шесть лальских молоден в Томской город сговорить, а сверх того – своего Гришку-домоседа под венец подвести.

Ждать не устать, было бы чего. Вот и Поломошние Ваську благополучно из Москвы дождались. Глянули, а он сам на себя не похож. Будто не из царь-града явился, а из таежной глухомани. На лице и на шее раневые борозды, точно его медведь драл. В глазах – усталость. В словах – скрытность.

Первым делом Васька спросил, жив ли отец. А тот из спальни на хромой палке, скрючась, навстречу ему выбирается:

– Вот он я, сынок. Живу-поживаю, тебя дожидаюсь. Авось хватит силенок до Томского города добраться... Ты-то как? По виду сказать, не очень хорош. Бурундук, да и только. Ну, хвастай, кто это тебя так разукрасил?

– Было дело, – с трудом выжимая из себя слова, пустился в объяснения Васька. – Уже на Московском тракте наскочила на наш обоз бродячая литва вместе с воровскими черкасами*. Кое-как от них отбились. Ага. Там меня маленько и подрыпали. Не стоит внимания.

– Что-то ты ноне не больно разговорчив. Будто языком о порог споткнулся. Или по службе какие нелажности? Или Москва не показалась?

– И по службе все ладно, батюшка. И Москва показалась. А настроение и впрямь не то. Вроде своя столица, а поглядишь – чужая. Ляхи вокруг хозяйничают, та же литва. У нас сроду не водилось кресты ниже пояса носить, а они сапоги ими украшают. В церкву на коне могут въехать, икону в огонь бросить. Ага. А законная власть до того упала, что на польских саблях только и держится. В верхах лада некоторого нет, в низах и подавно. У одних душа покачнулась, у других вера усохла. Одним словом, смута смутная. Как из нее выбираться, никто толком не знает.

– Русский терпелив до зачина. Авось и теперь выберемся, – заверил сына неунывающий родитель. – Всяк на своем месте хорош,

Вася. Одним колесо гнуть, другим для него ступицы сверлить. А там, глядишь, снова своим ходом покатымся.

– Дай-то бог!

– Вот и я так думаю... Может, что еще о своих московских делах расскажешь?

– Да я вроде все рассказал, – увильнул от прямого ответа Васька. – Остальное и внимания не стоит.

Не станешь же расписывать отцу, как ясачный десятник Пронька Похватаев после нападения на обоз бродячей литвы и воровских черкас предложил Ваське часть груза с подвод воеводы Матвея Ржевского у придорожных людей на время спрятать, а после сбыть по хорошей цене и поделить по старшинству. В другой раз Васька согласился бы на это не раздумывая. Ведь если он сегодня о своей выгоде думать не будет, откуда ей завтра взяться? Но тут ему родительские наказы вспомнились – про то, что лучше свое отдать, чем чужое взять. А еще про то, что идти поперек своей выгоды ради общего блага трудно, но спасительно. Вот он и сказал «нет», а после не раз пожалел о своем чистоплюйстве.

Пронька-то Похватаев умней оказался. Свои воровские проделки удалось ему на дорожных грабителей списать. Жена Матвея Ржевского, толстобрюхая гусыня, его рассказам довольно легко поверила. Да и как не поверить, если вокруг ее подмосковного имения то бездельные казаки, то мятежная голытьба, то польские фуражиры рыщут. Томских казаков-обозников она тоже забоялась. Наскоро грузы у них приняла и тотчас за ворота выпроводила.

Ну а дальше у Васьки неожиданные трудности с обратной проезжей грамотой начались. Подьячие приказа Казанского и Мещерского дворца, ведающие сибирскими делами, вконец своим крючкотворством его разорили. Прошение воеводы Матвея Ржевского включить в проезжую грамоту двадцать пять переведенцев с Лальского погоста и других волостей они безо всякого внимания оставили. Тебе надо, ты и проси. Без посулов* у них разговор короткий: вот Бог, а вон порог. Всякими правдами и неправдами вытянули из Васьки все, что у него с собой было. Пришлось

* Запорожские казаки.

* Взятка.

одалживаться у того же Проньки Похватаева... Это надо же, ехал в Москву с большими надеждами, а убыл из нее с большими долгами! Как их теперь выплачивать?

И отец еле дышит. Ну какая ему сейчас дорога?! А изменить ничего нельзя. Так все перепуталось, что хоть волком вой.

— Взялся за дело, терпи, — словно угадав его мысли, молвил отец. — Наперед не узнаешь, где найдешь, где потеряешь... И обо мне не казись, не надо. Я сам эту кашу с переездом в Томской город заварил, самому ее и расхлебывать. А что в дороге помру, так это еще и лучше. Казаком жил, казаком и уйду. У старого до смерти душа не вынута. Вот и будет мне напоследок радость — свежего ветра хлебнуть, на мир глядячи, молодость невозвратную вспомнить. А другая радость, что буду я лежать в домовине, своими руками изготовленной. Много места на возу она не займет, зато даст время в ней обжиться. Вон она, полюбуйся.

Только теперь в углу опустевшей спаленки Васька заметил выдолбленный из обхватистого дерева гроб. Он был невелик и не глубокий, до половины застелен серым тюфяком, поверх которого уложены подушка и туго свернутое одеяло. Как тут не вспомнить еще одно название домовины — деревянный тулуп? До поры до времени он превращен в постельное ложе, да так буднично, словно это для Поломошных дело обычное.

«Чудит батюшка», — подумал Васька, но от этого чудачества ему стало легче. Чудит, значит, еще в силах с немощью бороться, духом не пал.

— Злому смерть, а доброму воскресенье, — продолжил свои размышления отец. — Не тот живет больше, кто живет дольше, а тот, кто чаще на Бога оглядывается. С другой стороны посмотреть: кабы люди не мерли, разве могла бы земля всех сносить? То-то и оно!

«Это он себя успокаивает», — понял Васька и вдруг заметил на подоконнике два блюдца с расколушенными кедровыми шишками. Возле каждой высилась горка ядреных орехов.

— Ну и что напрозорчили эти отгадыши? — поспешил он к ним.

— А то и напрозорчили, — тот час появилась рядом мать, — Дарьке идти под твой потолок, Анютке — под Семушкин. Или ты другого мнения держишься?

— Я такого мнения держусь, что мне они обе поглянулись. Ага.

А которая больше, пока не понял.

— Вот и ладно, что обе. Которая больше, время покажет. Теперь они за нами, как нитка за иголкой. Хоть завтра в дорогу, только позови.

И сразу на душе у Васьки повеселело. Завтра так завтра. Чем скорей, тем лучше. В пути нельзя расслабляться. Да и обоз долго ждать не будет...

От Лальского погоста Соль-Вычегодского уезда до Лялинского караула при первом сибирском городе Верхотурье около двух недель пути. Все это время донельзя усохший, белый как лунь Ивашка Поломошный был бодр и даже весел. После каждого переезда в десять верст он выбирался из своей домовины, чтобы размяться, обсудить с Васькой текущие дела, дать необходимые распоряжения своей неутомимой Варваре, которая для него так Варюхой и осталась. Шутка ли сказать, в Кай-городе, в Соли-Камской, на Павде она сумела зазвать в Томской город еще пятнадцать озябших сердцем девок и безмужних молодых. Чем не женский табор?

Так до Лялинского караула и добрались. Здесь Ивашка Поломошный в последний раз из домовины встал и на четыре стороны света прощально полюбовался. Красота-то какая! Куда ни глянь, могучие скалы, гулкые пропасти и цветущие долины. Между скал кипучая река Ляля свои студёные воды мчит, Каменный пояс разрезая. По одну сторону от него Москва со многими городами и весями раскинулась, по другую — Сибирь с первыми русскими крепостями. Недалеко то время, когда она вся навеки с Русью сроднится.

Мал Ивашка Поломошный, но и велик, поскольку своими малыми делами великому делу служил, смену себе успел вырастить. Вот она, рядом с ним в Томской город направляется, душу готова за общее дело положить. Смута — дело преходящее. Главное, ей не поддаваться. Государства чинят, не только рубахи. Надо только постараться. Авось и получится.

Тут ноги Ивашки Поломошного подкосились.

— Что с тобой, батюшка? — кинулся к нему Васька.

— Кроме смерти, ото всего вылечишься, — улыбнулся отец. — Одни уходят, другие приходят. Как только я уйду, с Дарькой под венец ступай. Вот и будет обо мне память. Обещаешь?

– Обещаю.

В последний раз вздохнул всей грудью старый казак, и отлетела его душа белым облачком на ясное, пронизанное внешним солнцем небо, и затерялась там среди других душ, рожденных на жизнь и смерть матерью сырой землей.

Похоронили его тут же, на берегу Ляли, чтоб высоко лежал, далеко мог видеть. В ногах столб с иконкой Николая Чудотворца поставили, на камень рядом шапку с багрецовым верхом, золотой нашивкой и кушак с ножом положили. Пусть все знают, что здесь простой русский казак Ивашка Поломошный лежит. Ибо нет имен супротив Ивана и нет икон супротив Николы.

Поклонимся же и мы его праху. Поклонимся и помолчим.

МАТЕРИНСКОЕ СЛОВО

А теперь перенесемся за Каменный пояс и представим себя на месте тех томских казаков, что семь недель спустя стали очевидцами такого вот поистине сказочного события. К высокому берегу Томи чуть пониже устья Ушаевой речки прихлынула вереница разновеликих дощаников. Плавучим теремом среди них смотрелся струг с резным носом и накладными украшениями на бортах. Но даже не это приковывало к нему внимание, а красны девицы, приплывшие на нем.

При виде их казаки поневоле в замешательство впали. Они сразу сообразили, что на дощаниках возвращается в Томск ясачный обоз, убывший в Москву санным ходом. Озадачило их другое: откуда столько красавиц в задальнем сибирском краю взялось? Чудеса, да и только. Все как на подбор крепкотелые, ясноглазые, улыбчивые. Стоят вдоль бортов, с уха на ухо меж собою перешептываются, к береговым казакам застенчиво приглядываются. Словно понять хотят, чего им от сибиряков ждать следует — добра али худа? А между девиц всталась дородная баба, издали похожая на расписную матрешку. Видать, их нянька-наставница.

Глянул на нее Семка Поломошный: боже мой! Сердце от радости так и заколотилось. Да это же его матушка, Варвара Пантелеевна, по которой он сызмала смешное прозвище получил — Варюха. А к ней сестрицы Устька и Акулька жмутся... Ай да Васька, ай да молодец! Отправляясь в Москву, обещал себе и Семке по невесте добыть, а привез столько, что глаза разбегаются. Еще и родню в Томской город доставил. С ним не соскучишься.

Тем временем известный в городе балагур конный казак Михалка Жданов прощупывающий разговор с гребцами головного дощаника завел:

— Челом да об пол, братцы гультяи! По добру ли по здорову в Москву к нашему развозжаю царю-батюшке сбегали?

Причуда у него такая — в похвалу царю-батюшке и его наместникам непременно ругательное слово влести: развозжай, пусто-пляс, нетудыка, растопыря или того хуже — душегуб-кормилец, а казаков гультяями, буянами, упряями, шибалами и еще невесть

как величает.

Гребцы с дощаника, такие же, как он, казаки-пересмешники, ему в ответ:

— Сбегали-то борзо, да в пути маленько запыхались.

— Чего так?

— Да уж больно дорога далека, царь-батюшка неласков, а жизнь изъедчива. Не отмолиться, не отплеваться.

— И чем вас царь-батюшка за труды ваши пожаловал? Уж не эти-ли ли красунями, птицами залетными?

— Мы люди неродословные, стало быть, и жаловать нас не за что, — включился в шутивную перепалку казак-обозник Бурнашка Помелец. — А с красунями история другая. Их в Москве нынче не сыщешь. Которые померли, а которые на замосковских отшибах попрятались. Зато новые по лесам вокруг народились, ну как грибы после дождя. Там их Васька Поломошный и насобира.

— При чем тут Васька? — попался на обманный крючок Михалка.

— Ну как же. Где он пройдет, ни грибов, ни девок до заговенья не сыщешь, только хрен да редьку.

— Ах-ха-ха-ха! — дружно заржали довольные удачным розыгрышем казаки. — Ух-ху-ху-ху! Ох-хо-хо-хо!

А Бурнашка Помелец смиренно посоветовал:

— Да вот он, Васька. У него и спроси.

Подождав, пока смех уляжется, вперед выступил Васька Поломошный. — Смех смехом, господа казаки, а дело делом! — веско, как умудренный жизнью старшак, заговорил он. — Перво-наперво со встречей поклон вам кладу, — тут он руку к груди приложил и поклонился. — Ежели по простоте, без хитрости сказать, привез я с собой маманю с меньшими братом и сестрами. Ага. Вот они перед вами собственноручно, — тут Васька рукой в сторону расписного струга повел. — Теперь о красунях. Всяк знает, что к обедне ходят по колокольному звону, а в гости по первому зову. Вот и решили мы с маманей красунь в Томской город позвать. У нас ведь на Руси ныне как? Здесь девками улица полна, а тут с парнями перебор. Что делать?

— В гости друг к дружке ходить, — подсказал догадливый Михалка Жданов. — Бог велит всех знать. Живи, не скупися, с гостями веселися. Давай, Васька, так сделаем: то я к тебе в гости, то ты меня

к себе. Ага?

— А чего ж, приходи, — легко согласился Васька. — И братовьев своих с собой приводи. Не то они без твоего бойкого языка еще чего доброго заработают. Но сперва давай уговоримся: баловства в голове не держать. Чтоб все по-людски было.

— Это само собой, — заверил его Михалка. — Эт-то мы умеем. Прокатится грош ребром, покажется рублем... Так и зарубим: первая очередь в гости к тебе идти за мной. Завтра и жди...

После таких веселых разговоров всё на берегу в движение пришло. Вместо одной сходни казаки к бортам струга аж четыре представили. По той, концы которой на сухое место легли, в объятия Семки Поломошного его матушка неуклюже скатилась, следом легко сестрицы сбежали, потом дочери Офони Сопатого сошли. Остальные девицы предпочли по тем сходням спускаться, которые в воду поставлены. Там их добры молодцы ждут, чтобы на руки принять и, не дав ног замочить, с почтением на берег вынести.

Смех. Переглядки. Касания как бы невзначай. Обмен именами. Многозначные шутки. Быстрому да шустрому и пяти минут хватит, чтобы сердечное знакомство с незнакомкой завести, сказку былью сделать.

Вот и Семка Поломошный, не будь плох, вслед за сестрицами дочерей Офони Сопатого обнял. Уж больно пригожи. Особенно та, что ростом повыше, веснушками на лице побогаче. Хотел спросить, как ее звать-величать, но тут на него шутивно-радостно брат Васька налетел:

— Мою женку обнял, и хватит, а свою, если хочешь, так еще и поцелуй, — распорядился он и взглядом на Анютку выразительно указал.

Семка и рад стараться. А что поделаешь, если все так удачно складывается? Руки сами Анютку к груди прижали. Губы сами с ее губами слились. Да так, что не оторвешь.

Красны молодцы и красны девицы вокруг замерли, Семкиной смелостью залюбовались. А Васька притворно пристыдил брата:

— Ну ты, Варюха, и хват. Кто ж на людях так долго целуется? На это дом есть. Время. Али до свадьбы потерпеть не можешь?

Семка поневоле смешался. Анютка и того больше. Семкины сестры все уши про старшего брата ей прожужжали. Вот она душой на него и настроилась.

— Я тебе, Вася, так скажу, — вменялась Варвара Поломошная, — умеи поозоровать, умеи и перестать. А ты, Семушка, его не слушай. Веди к себе. Для начала нам посмотреть надо, уместимся ли. Мы, чай, с дороги, а не с гуляния. Разговоры и на потом отложить можно.

— Уместимся, матушка! — заверил ее Семка. — Пока Васька в Мо-скву ходил, я себе тоже дом смахал. В два порядка. На том же подворье. Правда, из стоялой утвари только две лавки да стол успел поделать. Внутри голо, зато стены есть.

— Вот и ладно, голубчик, — приласкала его мимолетно мать. — Пока и на полу спать можно. Небось, не बारे-бояре, не рассыплем-ся. В такую жарынь даже еще и лучше...

Оставив обозно-судовую рать разгружать дощаники, красны девицы во главе с братьями Поломошными птичьей стаей вспорхнули с прибрежных песков и, едва касаясь ногами земли, устремились вверх по склону к обнесенному острожной стеной посаду.

Уже к вечеру следующего дня к Поломошным, как и обещал, заявился Михалка Жданов, да не с пустыми руками, а с пузатой плетеной корзиной. От нее веяло запахом свежей рыбы и донной травы. Одет празднично, совсем как жених.

— Ну, здравствуй, соколик! — с улыбкой оглядела его Варвара Поломошная. — Что скажешь?

— А что спросишь, тетенька?

— Я много чего могу спросить. Ну, к примеру, который час?

— После давешнего первый, — без запинки ответил Михалка.

— А давно ли мы с тобою виделись?

— Как расстались.

— И когда же, по-твоему, черт помрет?

— Он еще и не хворал.

— Правильно, — похвалила гостя хозяйка. — Ну, раз ты такой догадливый, входи. А корзину у порога оставь. Она тебе, поди, всю руку оттянула.

— Своя ноша не тянет, тетенька, — солидно ответил Михалка. — Это вам гостинец из седнешнего улова, — и сдернул с корзины влажную тряпицу.

Красны девицы, случившиеся рядом, перевели заинтересованные взгляды с находчивого Михалки на его дары и ахнули: среди щучек-травянок, язей и другой сорной рыбы в корзине вороча-

лись не уснувшие еще нельмы и муксуны. Руки сами к ним разом потянулись. Корзина и опрокинулась. Ее содержимое, трепеща, растеклось по полу. Девицы, сталкиваясь лбами, бросились собирать рыбу.

Стоя среди этой живописной возни, Михалка Жданов вдруг представил себя на месте библейского рыбака, которого Иисус Христос сделал ловцом человеческих душ, иначе говоря, апостолом Петром. Однако в следующий миг это видение исчезло, а рядом вновь очутилась Варвара Поломошная.

— Что, милый, — впиалась она в него пронизательным взглядом, — уж не к Петрову ли дню* мысли твои часом повернули?.. Вот и правильно, коли так. Но заметь себе, что это не только апостольский праздник, а еще и девичье веселье. Смекаешь, куда я клоню?

Озадачился Михалка, но виду не подал. Решил отшутиться:

— Мы люди неграмотные, едим пряники неписанные, но к девичью веселью всегда готовы.

— Ох и замшели вы тут у себя в Сибири, — ласково укорила его хозяйка. — Неужто не слышал, что девичьим весельем Петровы качели называются? Еще наши деды говаривали: как не сторонись, девка, а на Петровых качелях с парнем все равно покачаешься... Взять тебя, Михалка. Ты к нам нынче в гости припожаловал, а к кому именно, сам не знаешь. Так ведь? Теперь, представь, что на пустыре против нашего двора качели стоят. Другое совсем дело. Они бы тебе сами выбор сделали.

— С-откуда у нас качели? — простодушно вздохнул Михалка Жданов.

— А у них, мамынька, казаки безрукие, — прыснула смешливая Акулька Поломошная. — Их с ложки кормят, полотенцем губы утирают. Куда им до качелей?

Вслед за ней захихикали другие девицы.

— Хорошо, хоть рыбу научились ловить...

— ...да в гости ходить.

— А что, девки, не взяться ли нам самим за топоры? Ох и повеселимся!

— Тогда пусть здешние ухари к нам не ходят...

* 29 июня по старому стилю, 12 июля по новому.

— Ладно, — переждав их задиристые речи, примирительно заключил Михалка Жданов. — Спорить не стану. Сойдемся на том, что наш брат казак задним умом горазд, а ваш... даже и не знаю, как сказать... передним. Спасибо за подсказку. Надолго не прощаюсь. До скорой встречи, цекотухи, — и легкой походкой удалился.

Скорая встреча состоялась через день. Солнце уже садилось, когда Михалка Жданов и его братья Игнашка, Микитка, Петрушка и Тимошка сгрузили с возов напротив двора Поломошных стопу гладко оструганных бревен и досок. Играючи, они тут же три столба на четверть в землю вкопали. Один из них тележным колесом увенчали, два других перекладной соединили. К перекладине широкие качельные доски подвесили, а к тележному колесу веревки с сиденьями. Эта забава не хуже качельной: разбежался, ноги поджал и крутись. Но рассчитана она на несколько человек сразу. А это не всем понравится.

Ту же Акульку Поломошную взять. Она первая оценить работу братьев Ждановых вышла. К карусельному столбу даже не подошла, сразу к качелям направилась.

— Прости, — говорит, — Михалка, что руки твои давеча обидела. Исправные руки. Теперь ты мне свою удаль покажи. Вот и видно будет, хороши ли качели.

Стали они качаться. Все выше, выше и выше. Того и гляди, доска за перекладину улетит.

Первым не выдержал Михалка. Не за себя испугался, за Акульку. А ей того и надо!

— Эх ты, — говорит, — Михалка! Удальства у тебя хоть отбавляй, да терпения маловато. Ну да это дело поправимое. Хорошие качели чему хошь научат.

С того и началась на Томском посаде новая жизнь. Прежде нешумный, полупустой, по-мужицки неухоженный, он вдруг наполнился женскими голосами, домашними запахами, пестрыми одеждами.

Что ни вечер, то у двора Поломошных казаки в круг собираются. И не только молодые. Кому не охота на заезжих девиц полюбоваться, свои беспашабные годы вспомнить, себя показать, других уму-разуму поучить?

Братья Ждановы во главе с Михалкой среди них поначалу ко-

зырями ходили: это-де мы качели поставили, нам-де на них без очереди и качаться, а нет, так свои качели соображайте.

Те им в ответ:

— Неважно, кто качели ставил, важно, кто на них качается. На смотринах все князи. Тут и прямой товарищ кривым может стать.

От таких словесных перестрелок и до ссоры недалеко. Вот Варвара Поломошная девиц и надоумила:

— А ступайте-ка вы, голубушки, солнце караулить. И казаков с собою захватите. На Петровки солнце, как на Светлое Христо-во Воскресение играет. Попоете, похороводитесь, глядишь, и сыщется для каждой из вас дружок заветный. А чтобы всем спокойно было, сама с вами пойду и сынов для порядка захвачу.

Так они и сделали. В ночь на первое воскресенье после дня святых апостолов Петра и Павла гурьбой вышли за переднюю острожную стену, которой посад от набегов воинственных киргизов огорожен, и на лужайке возле озера Ак-куль, что значит Белое озеро, в песнях и играх того часа дождались, когда солнце первыми лучами заиграло.

Ожидание всегда нетерпение рождает, а нетерпение слезы. Вот и на этот раз без слез не обошлось. Но это были слезы радости, слезы благодарности животворящему светилу, сплетающему разные судьбы в единый венок.

А тут вдобавок к девичьим слезам небесные слезы по щекам побежали. Это утренний ситничек на землю просыпался, молодой, бестолковый. Просыпался и тут же иссяк, будто его и не было. Однако когда казаки с девицами гурьбой к острожной башне подошли, настиг их еще один — на этот раз окатный дождь, да такой густой, что разом всех до нитки вымочил. Ну а третий дождь в этот день случился к вечеру, но опять сквозь солнце.

— Хорошая примета — три дождя на апостола Петра, — засудачили посадские. — После них богатырский урожай жди. И грибов нынче вволю насыплется. Бери — не хочу!

А Варвара Поломошная затуманилась вдруг. На крыльцо вышла, руку под редкие уже дождинки подставила, всхлипнула горестно.

— Что с вами, Варвара Пантелеевна? — тотчас окружили ее девицы. — Ведь все хорошо. Зачем плакать-то?

— Это не я плачу, — с трудом выговаривая слова, объяснила она, —

это апостол Петр плачет. Тяжко ему головой вниз распятому висеть. Ох, тяжело. А он терпит. И нас научает терпеть.

— Почему вниз головой? — посыпались вопросы. — Почему распятому? А мы причем?

— Разве не знаете? Ну так слушайте. Когда его за проповедь Слова Божия на смерть повели, святой Петр изрек: «Я креста не боюсь. Я на него молюсь. Христос за людей на нем муки принял, а я за Христа хочу их принять. Для того распните меня вниз головой!» И было по сему... Вот и наша женская судьба то благодать, то распятие и терпение. Дай вам Бог, доченьки, своего суженого найти, семью построить, а распятия миновать. Тогда и я с вами порадуясь.

— Ой, мамынька, — омочили ее четвертым дождем быстрые на слезы девицы, — не оставляй нас своим участием, родненькая. Помоги на ноги встать.

— Не оставляю...

Через день так же дружно, как солнце караулить, отправилась посадская молодежь под началом Варвары Поломошной в таежное разнолесье по грибы. Столько набрали, что не унести. Тут тебе и маслята, и рыжики, и боровики, но больше всего белых грибов. Крупные, плотные, будто горячим воском обрызгнутые. Девчата их сразу в водопойных корытах промыли и, нарезав кружочками, стали под навесом во дворе Поломошных для просушки раскладывать. Другие тем временем на суровые нити грибы нанизывают, жарят, парят, солят. Одним словом, к вечерним посиделкам готовятся. Ведь апостольский пост, или, попросту говоря, Петровки, на грибах, да на рыбе, да на овощах держится.

В этот раз на качельный круг один из самых богатых посадников Корней Жданов припожаловал. Свой жизненный путь он пешим казаком в Туринском остроге начинал. Потом на одном из обских песков рыбную ловлю у тамошних остяков то ли купил, то ли выменял. Еще позже охотничью артель из гулящих людей близ Сургута завел. А года с два тому назад в Томской город со всем своим многочисленным семейством перебрался, торговую лавку занял, двор во втором ряду у передней городской стены поставил. От него до пустыря с качелями полверсты ходу, однако, беседуя с Варварой Поломошной, Корней в том смысле выразился, что он сюда мимоходом заглянул. Будто у него только и дел, что

в вечернее время по дальним углам острога разгуливать.

— Давно пора перевидеться, — укорила его Варвара Поломошная. — Сынов твоих знаю, мил человек, а тебя днем со свечой поискать. А ведь это они тут качелю с каруселью поставили. Похвальные ребята.

— Да уж не последние, — горделиво согласился Корней.

— Каковы детки, таков, видать, и родитель.

— Не мне об том судить. Но слышать приятно... Ты вот что, Варвара Пантелеевна, лучше изъясни: по какому такому чину привозных девиц нам считать следует?

— Как моих дочушек считаешь, так и их считай, — простодушно разулыбалась она.

— Так не получится.

— Это почему же?

— За твоих дочерей, если кто-то к ним завтра посватается, с тебя приданое положено. Чем больше, тем лучше. Зато отступное за девиц — тебе. Ты ведь на них вон сколько сил потратила — и везла, и кормила, и наставляла. Подарки любят отдавать. Так? Нет? Видишь, какая разница получается?

— Выходит, ты сюда свататься пришел? — поймала его на слове Варвара Поломошная.

— Не совсем, чтобы свататься, а кое об чем заранее сговориться.

— Ну давай сговариваться. Об которой из девиц у нас речь пойдет?

— В том-то и дело, что о двух сразу. А может, и о трех. Игнашку моего Наташка Кайгородская сглазила, а Микитку — Анька Соликамская. Тимошка вон тоже мается. Этому сразу несколько твоих красавиц любви. Как с цепи сорвался, прости меня, Господи, за грубое слово. А мне их метанья расхлебывай. Будто карман у меня бездонный. Будто такие дела одним разом делаются.

— Свадьба и впрямь дело расходное, — подтвердила Варвара Поломошная. — С другой стороны, когда еще у тебя случай появится сыновей разом женить? Вот и выходит, что не в бездонном кармане счастье. Доброе дело не за прибыль делается, а за родство душ. Стало быть, никаких отступных мне от тебя и не надо.

— А мне от тебя! — обрадовался Корней Жданов.

— Постой, постой! За что это ты, любезный, отступные с меня взять намерился?

– Не отступные, а приданое, – поспешил исправиться Корней. – Я ведь тебе еще про Михалку не сказал. Он на твою Акульку нацелился, она на него. С ними тоже как-то решать надо. Ну просто голова кругом идет.

Тут обоим смешно стало, да так смешно, что парни и девицы у качелей на них заоглядывались.

– Ну ты и гусь, Корней Назарович, – отсмеявшись, укорила Жданова Варвара Поломошная. – Ловко считаешь. Одно приданое с тремя отступными уравнил и хоть бы одним глазом сморгнул.

– Ошибаешься, Варвара Пантелеевна. У меня на уме другое было. Свадебные расходы я готов полностью на себя взять. Разом-то оно дешевле выйдет. А материнское слово со стороны дочери и других невест ты скажешь. Вот и сравняемся. Как тебе такой расклад?

– Уже лучше.

– Тогда по рукам? – протянул ей свою цепкую лапицу Корней.

– По рукам! – деловито пожала ее Варвара Поломошная. – Клянйся своей половине, соседушка. Да снеси ей от меня белых грибов. Скажешь: от святых Петра и Павла.

– С превеликой радостью, Варвара Пантелеевна, – отвесил ей на прощанье поклон Корней Жданов. – Хорошо побеседовали...

И надо же такому случиться: неподалеку от них в тот час ясачный десятник Пронька Похватаев отирался. Всего сказанного он, конечно, не расслышал, но про девиц и про отступные явственно уловил. О рукобитии и говорить нечего. Именно так торговые люди выгодные сделки заключают.

«Стало быть, Поломошные нынче в прибыли, – рассудил он, – и Васькин московский долг смогут отдать».

С тем и подкатился к заемщику. Сперва о том о сем покалякал, а потом и открылся: я, мол, к тебе не по грибы пришел, а по долги.

Васька Поломошный ему в ответ:

– Так я же у тебя займы без отдачи брал, Прохор Фомич! Или не помнишь? Можно сказать, из чистого уважения. Ага.

– Как это? – захлебнулся от негодования Пронька.

– Очень даже просто. Я твои грехи по прошлой дружбе забыл, и ты мои из памяти выкинь. Что было, то прошло. Охота тебе всякие пустяки помнить?

– Ничего себе пустяки: сорок пять рублей, а с ростами все пятьдесят. Такие деньги на дороге не валяются.

– Где же ты их взял, если не на большой дороге? Не тебе бы такие речи говорить, Проня, не мне бы их слушать. Ага. А если чем недоволен, пошли к воеводе Матвею Ржевскому. Он нас живо рассудит.

– Пошли! – распетушился Похватаев. – Думаешь, Ржевский твоим рассказам поверит? Отнюдь. Москва вон где, а близких доказательств у тебя на меня нет. Сухую грязь к стене не прилепишь.

– А я попробую. И не только московскую. Есть что и про ясачные сборы под твоим началом вспомнить. Ага. Мне, Проня, терять нечего, так и знай.

– Ну, это как посмотреть, помощничек, – заухмылялся Похватаев. – Только что у меня на глазах твоя мать сколько-то привозных девок Корнею Жданову сторговала. Не знаю, какой ценой, но, думаю, недешево.

– Врешь, гнида! – схватил его за грудки Васька Поломошный. – Быть такого не может! У меня с твоей помощью совесть и впрямь с краю подмочена, зато у мамани чиста, как божья роса. Еще одно слово против нее скажешь, прибью!

– Тебе видней, – стушевался Пронька Похватаев. – Отпусти! На нас люди смотрят, – с этими словами он одернул короткопалый казацкий чекмень, поправил опояску и уже ровным голосом добавил: – А долг тебе все равно отдать придется.

– Это как водится, – непослушным от гнева голосом заверил его Васька Поломошный, – но с одним условием. Ты долг мой на ту же стену напиши, о которой давеча упомянул. А не покажется, смарай...

Встретились они с Похватаевым тем разом, не здороваясь, вот и разошлись, не прощаясь. А ведь раньше неплохо между собой ладили. Видать, всему свой срок – заблуждаться и пробуждаться, терять и находить.

Дождавшись, когда Пронька удалится, подошла к сыну Варвара Поломошная:

– На тебе лица нет, родненький. Что ему от тебя зандобилось?

– Аживет вздумал. Ага. Будто Корней Жданов к тебе невест торговать приходил. Так я ему и поверил!

— И не верь, сынушка. С Корнеем у нас о другом разговор был — как его детям свадьбу устроить, наше море веслом не расплескав.

— И как?

— А вот послушай, — и рассказала все без утайки.

А он ей про свои прежние прегрешения открылся.

— Не замоча рук, не умоешься, — обняла его мать. — Рада я за тебя, сынушка. Вижу, в отцовское стремя ступил. Вот и держись, пока сил хватит...

Следом за Корнеем Ждановым зачастили к Поломошным и другие рукобитчики. Но с Корнеем их не сравнить. Свой брат — служилые казаки. Сразу и не поймешь, кто из них сват, а кто жених.

Того же Бурнашку Помельца взять. После Михалки Жданова первый в округе острослов. Вот конный казак Молчан Лавров и отправил Помельца одну из Лальских девиц по дружбе за себя сватать.

Бурнашка и рад стараться. Заявился к Поломошным, как завязтый сват: голова с поклоном, ноги с подходом, руки с подносом, язык с приговором. Но вместо того, чтобы невесту славить, давай ее хаять. Она-де такая спесивая, в окно глянет — конь прянет, на двор выйдет — три дня собаки лают. Чтобы не лаяли, на коня ее посаживай, к лешему во темный во лес проваживай. Со чужим со чуженином ей жить-поживать, а мне-де и дальше дурака валять...

Тут Бурнашка Помелец в лице и голосе переменялся и ну ворковать, что по правде-то невеста пáva, в одном не прáва: жар-птицей порхает, а своей истинной красоты не знает. И давай сравнивать ее земную красоту с неземной — с сиянием солнца, мерцанием звезд, дуновением ветра, нежностью аленького цветка, умом Василисы Премудрой... Такой уж Бурнашка уродился: мелет языком, как дворник помелом. Да так мелет, что поневоле заслушаешься.

И тут случилось неожиданное. Девица, которую сватал Помелец, вдруг из соседней комнаты вышла да и говорит:

— Коли ты такой пряткий, Бурнашка, за другого меня не сватай, а сам в жены бери. Или мы зря с тобой белые грибы собирали?..

Молчан Лавров, ясное дело, такому повороту дел опечалился, но виду не подал. Ежели по справедливости рассудить, сам виноват. Прежде чем свата к лальской девице посылать, надо было с ней самому объясниться. Так нет, посчитал, что ей и тех при-

стрелочных взглядов хватит, которыми они успели обменяться. Вот и получил от ворот поворот. В другой раз осторожней будет, предусмотрительней.

Вообще-то Лавров человек бывалый, основательный, немногословный, а тут сплеховал. Но это, пожалуй, и к лучшему. Успокаивать его взялась Устька Поломошная, да так нежно, что Молчан к ней ответной благодарностью воспылал...

Уже к концу Петровок казаки разобрались, какая из приезжих девиц кому любя. Оттого и разговоры у них все больше о свадьбах пошли, а потом и об одной общей свадьбе. Но это дело нешуточное. Собрать ее в летнюю страду вряд ли получится. Правильней до осени отложить — до Покрова Пресвятой Богородицы. А поскольку у Корнея Жданова сразу четыре сына в женихи попали, вот бы на него свадебные сборы и возложить. На него да на Варвару Поломошную с сыновьями. На кого же еще?..

Все это время воевода Матвей Ржевский ждал, когда наконец Васька Поломошный с ним делиться своими прибытками начнет. Ведь отболотный угол посада, где он с девицами обосновался, в последнее время на ярмарку похож. Иной раз голоса с нее до воеводских хором долетают, а они аж за бугровой башней в городе поставлены. Надо бы Ваське за шум попенять, да ярмарка без шума не бывает. Чем она громче, тем торговлишка веселей идет, тем выручка больше. Поскорей бы узнать, какая она у Васьки на сей час? Не утерпев, воевода послал за виновником затянувшихся ожиданий дворового человека.

Васька сразу сообразил, зачем он Матвеем Ржевскому понадобился, но вид сделал, что даже и не догадывается. Доложился, как положено, и стоит. Ждет. Грудь колесом, борода торчком, в глазах служебное рвение. Думал, воевода для начала вокруг да около ходить станет, а тот его прямо в лоб спрашивает:

— Ну и как твои качели поживают, Василий? Много прибытков к нашей с тобой пользе накачал?

— Не могу знать, Матвей Якимович, — со рвением отвечает Васька. — Я качелей не ставил. Какие у меня с них прибытки могут быть? Ты об том лучше братьев Ждановых спроси.

— Вот, значит, как... Занятно, — притворно разулыбался Ржевский. — А невестами разве не ты у нас занимаешься?

— Стараюсь по мере сил. Ага. Понеже они у казаков силу духа

подымают. Сам говорил: казак без семьи как конь без привязи.

— Я-то говорил, а ты обольщал. Лучшего-де товару не сыскать. И все такое прочее. Было?

— Было, — согласился Васька. — Но тогда я про то не учел, что родня не покупается, а Богом дается. Стало быть, и на жену цены нет. Ведь ей потом детной матерью становиться. Ага?

— Ишь, разагакался, как гусь лапчатый! Или забыл, что Христа ради невест замуж не выдают?

— У всякого своя правда, Матвей Якимович. Не во гнев твоей милости, не в зор твою чести я так скажу: премудрость одна, а хитростей много. По той хитрости, что мы с тобой в тот раз решили, мне быть негоже. Извиняй, если что не так. По совести говоря, некорыстное это дело — невестами заниматься.

— Да ты, я гляжу, с языка свихнулся. Ишь какими праздными, бездельными, богомерзкими словами заговорил! — не на шутку возгневался воевода. — Забыл, кто ты есть на самом деле? Холоп! Облыжник! Прощельга! Наглец!

— Сам прощельга, коли на то пошло! — не выдержал поношения Васька. — Сверху легко плевать, а ты снизу попробуй. Раз воевода, думаешь, тебе все дозволено? — тут он сложил из трех пальцев выразительную дулю и сунул Ржевскому под нос. — На-ка, выкуси! Что, не нравится? Метил барыш взять, а наскочил на убыток? Привыкай! Не все же тебе править, как черт болотом. Найдется и на тебя божья кочерга!

— Да как ты смеешь?! — затопал ногами Ржевский. — Да я тебя, стервеца, в кнуты возьму! В тюрьму вброшу! Станешь ты у меня рылом хрен копать!

От таких угроз Ваське не по себе стало. Дуля у него сама собой развернулась, лицо завиноватилось.

— Есть такое присловие, державец, — уже более миролюбиво заговорил он, — не тычь в подворотню палкой, собака и не залает. Ты-то чего зазря тыкать начал?

— Как это зазря? — не понял такой его уступчивости Ржевский. — Какой палкой? Опять тебя не в ту степь понесло. Опять умничаешь. Слегка говорить с началом так и не научился, лаешь

на него, как пес из подворотни. Ну так не взыщи! За твои досады и грубости велю тебя, не мешкав, выпороть. Чтоб другим неповадно было.

Тут воевода позвал стрельцов и велел им вести Ваську Поломошного к съезжей избе. Там его по пояс раздели, на деревянного козла при всем честном народе уложили да и вкатили за милую душу двадцать пять плетей. Так разъездили спину, что смотреть тошно. А Ваське хоть бы что. Встал, перекрестился и с превеликим трепетом говорит:

— Спаси Бог нашего воеводу Матвея Ржевского! Широко человек: берет все, что глаза видят. Отец у него именем Барыш, мать — Кривда, брат — Подкуп, сестра — Нажива, все детки с той же ветки. Был я нынче у Матвея в гостях, поиграл он прилюдно на моих костях. Поиграть-то поиграл, да язык у меня короче не стал. Мой тебе совет, воевода: хоть в рубль себя ставь, да и нас в полушку не клади. Недолго и просчитаться!

За такие гордые и нелицеприятные речи добавил ему Матвей Ржевский еще двадцать пять плетей: говори-де, Поломошный, да не заговаривайся! А чуть спина у Васьки поджила, отправил его с глаз долой — на дальнюю заставу, в отъезжий караул. Думал сломать и унижить, а на деле укрепил и возвысил. Страдальцев-то народ у нас любит, особенно тех, кто за правду прилюдно нашел в себе силы заступиться.

Не успел Васька до заставы добраться, а тамошние казаки-годовальщики уже знают, кем и за какую провинность он к ним послан. Больше того, знают, что именно Васька Поломошный более двадцати невест вместе со своим семейством в Томской город ухитрился доставить. Разве рядовому казаку такое по силам? Не иначе, как сам Господь ему помогает. Вот и размечтались: а вдруг через Поломошного Бог им тоже семейную жизнь устроить пособит?

Едучи на заставу, ничего подобного Васька и в мыслях не держал. Думал, там его как опального встретят, а попал в такой почет и уважение, что поначалу даже растерялся, подумал, не вышла ли какая-нито ошибка. Лишь к ночи все выгоды своего нового положения осознал.

Главная забота у караула южную дорогу на Томской город от джунгар, белых калмыков и барабинских степняков охранять. Для этого при дороге косой острожек поставлен. Три его часто-

* Лгун.

кольные стены с четвертой стороны избой-двойней дополнены. Вместо дозорной башни на ней срублена высокая нагородня с перилами. В одной избе отъезжий караул разместился, другая служит постоем для ясачных сборщиков, торгово-промысловых и других проезжих людей. Ее-то Васька по общему решению и занял. Как-никак человек он женатый. Со дня на день, глядишь, и сама к нему пожалует.

Так оно и случилось. Дарька ждать себя не заставила — в сопровождении Семки Поломошного на заставу вскоре жить перебралась. И сразу уборку затеяла: стены вымыла, столешницу и полы до блеска выскоблила, постель перестелила, занавески повесила. Любо-дорого посмотреть. Нежилая клеть сразу просторной и уютной сделалась.

Тем временем братья Поломошные за острожек вышли — в кои то веки по кедрачу пройти, текущими новостями без помех обменяться. У Васьки их пока немного, зато у Семки воз и маленькая тележка.

В Томском городе только и разговоров, что о Васькиной стычке с Матвеем Ржевским. Воевода будто с цепи сорвался. На всех кричит, похабными словами лается. К Поломошным неожиданно-негаданно нагрянул, стал требовать за девиц какие-то «отпускные памяти», по которым они в Томской город прибраны, а коли не предъявят, грозил денежное взыскание на всех разом наложить. Но мать в эти его угрозы не поверила, терпеливо выслушала, да и говорит: «Добрый путь, но к нам больше не будь!»

С Корнеем Ждановым разговор у Ржевского тоже не заладился. И казаки на него ополчились: не трожь девиц, не то мы тебе поперек горла станем.

Тогда воевода запретил настоятелю Троицкой церкви казаков до Покрова Пресвятой Богородицы венчать. Кормиться-то девицам будет нечем, вот и станут они для Поломошных обузой, а там и по рукам могут пойти, в кабалы попасть. Но мать и тут выход нашла. Одних девиц в поле отправила — с обрученными женихами сено косить, других в лес по грибы-ягоды, третьих — обстирывать одиноких казаков. Ну а те в долгу оставаться не привыкли — кто чем богат, тем и делится...

Говорили бы братья еще, да Семка в город, пока его там не хватились, заторопился:

— Ну, Вася, пора мне. Подколенки чешутся, дорогу слышат. Сдал тебе Дарьюшку с рук на руки и айда назад. Скоро опять наведаюсь. Скажи только, что в другой раз привезти.

— А ничего больше не надо, Варюха. Себя привези!

— Привезу, — пообещал Семка и вдруг добавил просительно: — Ты уж больше меня Варюхой не зови, брат. Ни к чему нам всякая путаница. В Лальске одно было, тут другое. Теперь мамынька не только нам мать, но и другим многим. И не Варюха она, а Варвара Пантелеевна. У меня опять же свое имя есть. Семкой не нравится, Семейкой кличь, все равно Семен получится.

— Прости, Семушка, — обнял его Васька. — Твоя правда. Выросли мы. Пошутили, и хватит. Шуткою прав не будешь.

Вскочил Семка на борзого коня, и помчалась под ним дорога, только пыль столбом...

Три следующих месяца, будто эта дорога, вскачь пронеслись, да и уперлись в долгожданный день Покрова Пресвятой Богородицы. А известен он с тех стародавних пор, как святая Дева по земле странствовала. Попросилась она как-то на ночлег к добрым людям. А они на самом-то деле скаредными и немилосердными оказались. «Ступай прочь! — говорят. — Самим тесно!» Тем временем мимо святой Ильи-пророк пролетал. И такая его от этих слов обида взяла, что начал он сверху грома-молнии метать, дожди-ливни на нечестивых обрушивать. Возопили они, каяться стали, прощения просить. Богородица их, конечно дело, пожалела: развернула над ними святой омофор и укрыла от неминуемой гибели. С тех пор люди к ней при всякой невзгоде за помощью обращаются, а день праздника Покрова Пресвятой Богородицы еще и Батюшкой-Покровом величают. Да и как иначе, если к октябрю поля и огороды убраны, изба с дровами, мужик с лаптями. Самое время девицам петь: «Батюшка-Покров, покрой мать сыру землю снежком, а меня женишком».

Как ни брыкался Матвей Ржевский, какие препятствия женихам и невестам ни чинил, не раньше и не позже, а именно на день Покрова в хоромной избе Корнея Жданова собрался общий свадебный стол, да такой богатый, что всем елось, пелось, пилося и плясалось, еще и на другой день осталось: ведро осетровой икры да бочка белых грибочков, да две бочки разносолов, да пять верст душевных разговоров, да воз холода — хоть всю сказку начинай

с конца. А если по правде сказать, то главным на этом торжестве было не угощение и не пляс в три ноги, а напутственное слово Варвары Поломошной.

– Детушки мои милые, воробушки ненаглядные, – возговорила она. – Много слов у меня в душе теснится, не знаю, с каких и начать. На всяких свадьбах мне бывать случалось, а такую воочию первый раз вижу. Даже не верится, что я на ней посаженная мать, и не одну родительницу мне заменять выпало...

От такого начала не только у невест, но и у женихов дыхание перехватило.

– Что есть семья по-божески? – повела речь дальше посаженная мать. – Это когда молодые в малую церковь духовно и телесно скрепляются, дабы жить по заветам Господа нашего Предвечного и потомством отчину множить и ширить. А у нас ныне вон сколько семей разом ангельский чин принимают – едва в горнице Корнея Назаровича поместились. И каждая семья своего почета требует.

– Ты сперва в общем скажи, матушка, – посоветовал ей Корней Жданов, – о каждой отдельно еще успеется.

– Пожалуй, что и так, – согласилась Варвара Поломошная, – по порядку и впрямь лучше будет... Широка Московская Русь, аж в Сибирь за Каменный пояс заступила. Легко ли здесь мужикам одной рукой города ставить, пашни распахивать, оборону от немирных соседей держать, а другой рукой домашнее хозяйство вести? Еще как нелегко-то. А приходится! Однако не зря говорится, что города без баб не стоят. Без нас, значит. Без таких пожилух, как мы с Марфой Ждановой, и таких лебедушек, как те, что за этот стол дружно слетелись... Да и для чего городам стоять, ежели в них ни матерей, ни детишек, ни много еще чего не будет?

Свадебщики запереглядывались: а и правда, для чего?

– Стало быть, хватит казакам как медведям по берлогам отсиживаться. Замшелы совсем. Кроме службы ничего не знают и знать не умеют. А девкам хватит красу свою на одиночество тратить. Как ни заплетай косу, не миновать ее расплестать. Так я говорю, мои хорошие?

Бурнашка Помелец тут как тут.

– И в раю тошно жить одному, Варвара Пантелеевна, – улыбкисто подтвердил он.

– Сиди ты, – по-хозяйски одернула Бурнашку молодайка

из Лальска, выбравшая его в мужья вместо Молчана Лаврова. – Глаза бы мои на твой рай не глядели. Не рай, а стояло какое-то.

– Так и я не боярин, а конный казак, – отшутился Бурнашка. – Другого у меня покуда нет.

– Вот и пособи ему, Настюшка, стояло в светелку превратить, – заступилась за Бурнашку Помельца посаженная мать. – Он топориком что хошь по дому спроворит, а ты ему чистоту дай, уют, ласку. Согрей, обними.

– Обнявшись, веку не просидишь, – вставил свое словцо и Михалка Жданов.

Теперь встепенулась самолюбивая Акулька, его избранница.

– Как, то есть, не просидишь?

– А некогда будет, доченька, – вмешалась в готовую разгореться перепалку Варвара Поломошная. – Детки пойдут. Им внимание дай... Опять же хозяйство. Служба. А в случае нападения, слыхала я, бабы тоже за оружие берутся.

– Бывало и такое, – подтвердил Корней Жданов.

– Лучше б не бывало. Котору сторону воюют, в той и горюют. Прежде всех бабы и дети. А Сибирь страна особая, народов здесь много. Одни с другими не дружат. Как тут Москве быть? Этим она заступница, тем противница. Вот и приходится служилым людям на разные стороны разрываться. И нам вместе с ними... Иной раз сразу и не поймешь, за кем правда. Очень уж много жестокосердия вокруг накопилось. Среди казаков тоже. Слышала я, как они тем похваляются, чего стыдиться надо, и не видят того, чем гордиться впору. Тут бы жене и уронить подсказку. Не навязать, а вот именно уронить. А мужу бы поднять ее, как свою собственную. Глядишь, нравы-то и помягчают. Новая жизнь, новые и порядки. А?

– Помягчают, мамынька, как не помягчать? – дружно закивали молодые.

– С Васиной Дарьюшкой что ныне приключилось, слышали? – повела дальше свое материнское слово Варвара Поломошная. – Перестряли ее за караульным острожком наезжие джунгары. Споначалу-то чуть саблей не ссекли, а после глядят, она на сносях. Ну и не поднялась рука на злое дело. Друг с другом воюй, а бабу не трожь. С того мирное дело и начинается.

– У нас бы на их месте тоже рука не поднялась, – заверил ее самый молодой из женихов пеший казак Федька Батрапин. –

Мы люди уживчивые. А как ты нам посаженная мать, Варвара Пантелеевна, учини свою милость, благослови!

— С превеликой радостью, дети мои, — расчувствовалась посаженная мать. — Первый поклон кладу Господу нашему Пресветлому. И вы кладите! Второй — хозяину с хозяйшкой, что нас приютили. Опять вместе! Третий — всем добрым людям! А теперь благословляю вас на жизнь совместную, долгую и разумную. Всяк сам себе друг и недруг. Друга в себе растите, недруга изживайте. Читите детушек своих, ибо они не только в радость и утеху нам Богом даются, но и на воспитание. Эта обязанность с вас до той поры не снимется, пока чада любимые в этой жизни на ноги не станут. Почитайте старость и родителей своих, ибо старость — последнее в нашей жизни испытание, и пройти его надо с честью и терпением. Ну а напоследок прошу: чего в других не любите, того и сами не делайте. Верю, что каждая пара добрыми делами и уважением свое имя покроет. И пойдут ваши корни по всей Сибири, поскольку на Томском городе она не кончается. Живите, как заповедано: благ блажи, благое благому. Аминь.

— Ей, гряди отныне и вовеки! — дружно ответили молодые.

А дальше дело в завязку пошло. По зиме Дарья Поломошная осчастливила своего мужа Ваську первенцем. Назвали его Богданшкой. Богом данный, значит. Под стать имени и мальчонка уродился — телом крепкий, руками хваткий, взглядом внимательный, нравом тепеливый. Словом, такой, что лучше и некуда.

Следом новая радость: Матвея Ржевского и его напарника Семена Бартенева на воеводстве Василий Волинский и Михаил Новосильцев сменили. Да не как-нибудь, а с обличением превеликим. Собрали они в съезжей избе лучших служилых и посадских людей вкуче со знатью ясачных волостишек, высыпали на стол привезенные из Москвы жалобы томичей и давай их зачитывать. А там — слезные вопли на кривой суд, поборы, взятки, утеснения инородцев...

— Не бывать боле таким бесчинствам! — заверили собравшихся Волинский и Новосильцев. — Жить вам отныне в довольстве, тишине и покое, как о том о всем в государевом наказе писано. А кто на Матвея и Семена явку еще не подал, пусть подаст. Мы их по совести разберем. Всякому безвинно пострадавшему мы заступники, а всякий пострадавший нам первый помощник.

«Сильна рать воеводою! — после таких речей возникновал душой

бесхитростный Семка Поломошный. — О Гавриле Писемском и Василии Тыркове, под началом которых Томской город ставился, и досе добрая слава идет. Даст бог, и эти себя не хуже покажут. А Ржевский с Бартеневым забудутся».

С тем и поспешил он на заставу к опальному Ваське — о новых веваниях в Томском городе поведать, ближние действия обсудить. Думал, тот сразу за явку на Ржевского засядет, а Васька выслушал брата со вниманием, усмехнулся да, и говорит:

— Не под дождем, подождем!

— Что так? — опешил Семка.

— Сомнения меня берут, братуха. С чего это новые воеводы нынче такие добрые и справедливые? Взяли да и бросили щучек в воду.

— В каком таком смысле?

— А в прямом. Ржевскому с Бартеневым от наших обличений не жарко и не холодно. Жалобы-то на них в Томском городе остались. Значит, в Москву они чистенькими вернутся. Ага. Еще и пожалования за верную службу станут просить. Будто мало на Сибири покормились.

— Твоя правда, Вася. Покормились они изрядно.

— Теперь новым надо кормиться. Попомни мое слово, Сема: завтра народ и от них заплачет. Тогда все вины они на прежних воевод станут валить. Для того и стараются. Опять же всех жалобщиков им заранее знать надо. Одних прикармливать станут, других служить на лысую гору ушлют. Нет уж, лучше от них в стороне держаться. Ага. Целёй будешь.

— А кто тогда правду в глаза нахрапникам скажет? — заволновался Семка. — От тех твоих слов у съезжей избы, помнишь, люди хоть маленько духом воспрянули. И с женками ты многих казаков облагодетельствовал. Знаешь, что у них теперь на языке? Кабы всякому по нраву невесту, так и царства небесного не надо.

— На мне, чай, свет клином не сошелся, — поморщился Васька. — Плетей я, сам знаешь, не боюсь, но и за ними не гонюсь. Хочется мне просто обжиться, никуда не вступать. Ага. Не верю я, что новые воеводы от старых порядков откажутся. Волк каждый год линяет, да обычая не меняет.

— И я не очень-то верю! — охотно согласился с ним Семка. — Тут царь строгий нужен. Не поздоровилось нам с Василием Шуй-

ским. Шаткий уж больно. Поляки ему в ухо одно, бояре – другое. И против самозванцев слаб. Даже с Тушинским вором справиться не может. Оттого и воеводы у него через пень-колоду глядят. Но не век же смута глаза нам застит будет. Где-то уже ходит другой царь, еще не венчанный. На него вся надежда. Как весь народ вздохнет, так и до него дойдет, а через него и до воевод. Тут они вмиг поменяются!

– Это ежели царь не боярский будет, а казацкий, – спустил брата с небес на землю Васька, – или просто мирской. Но ты и без меня знаешь, что на нашей жизни этому не бывать.

– Бывать, не бывать – время покажет. На Дону казаки и ныне без царя и бояр своими порядками и вольностями живут. А мы чем хуже? Коли дело не по-нашему пойдет, и мы у себя Дон заведем. Так? Нет? Сибирь большая! – и, не дождавшись ответа, вынужденно добавил: – А явку на заворуев ты все же напиши! Лишней не будет.

– Ну так и становись на мое место! – отрезал Васька. – Я мешать не буду. Ага. Мы ведь с тобой оба Поломошные. Какая разница кому на Сибири Дон заводить?

– Коли придется, так и стану! – разом посуровел Семка. – Уж не взыщи...

Случались и раньше меж ними разногласия. Не желая их усугублять, Семка по-братски всегда уступал младшему брату. А тут вдруг почувствовал себя как конь, которому вожжа под хвост попала. Очень уж Васька переменчив. На уме у него одно, на деле другое. Не поймешь, куда его завтра кривая выведет. Да он, поди, и сам этого толком не знает. А пора бы...

Так и не дождавшись от Васьки Поломошного явки на прежних томских голов, новые воеводы его в Томской город вскоре вернули, да не рядовым послужильцем, а десятником конных казаков.

Новое назначение Василий принял не раздумывая, хотя раньше мыслил от начальства в стороне держаться. А когда Семен ему про это напомнил, разговор на шутку перевел:

– И охота тебе, братуха, к словам цепляться? Или я десятником быть не заслужил? Или с воеводами на худых делах съякшался? Живу, как судьба велит. А что в чужие дела не лезу, так это и правильно. Каждый сам за себя в ответе...

На смену глухозимью пришло водополье. За ледоходом вес-

на поднялась ото сна. Слышно стало, как почки набухают, трава растет. Видно по цвету, что дело повернуло к лету.

В эту пору у каждого в Томском городе свои заботы – казаки в поле либо в боевом дозоре, а у молодых, что на Покрова Пресвятой Богородицы разом свадьбы справили, своя, сугубо бабья страда началась, да такая дружная, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Открыла ее жена Молчана Лаврова Устинья, в недавнем прошлом Устька Поломошная. Родила она богатыря Семку. Вот радости было! Вот разговоров!

В тот же день жена Бурнашки Помельца принесла девочек-двойняшек. Нарекли их не по святцам, как положено, а по душевному вспылу: одну Улыбой, другую Капелиной. Надо сказать, удачно нарекли. На одну глянешь, сам разулыбаешься, на другую посмотришь – поневоле залюбуешься. Но казаки народ непредсказуемый. Вместо того чтобы на новорожденных полюбоваться, они первым делом зубоскалить над счастливым отцом взялись:

– От прыткой козы ни забор, ни забор не устережет... Теперь у тебя, Бурнашка, бабий язык на три версты протянется... – и дальше в том же духе.

– Это вы на что намекаете? – обиделся Помелец.

– Про то тебе лучше знать, никудышник...

Так и пошло: что ни божий день, то у казаков пополнение. Подходящих крестильных имен не хватило, пришлось к мирским обратиться. Тут тебе и Добрыня, и Жданка, и Петрушка с Павлушкой, и Любим, и Веселка, и Воин с Благушей, а еще Умник, Чудила, Дружина и Тишко. Сыновей больше, чем дочек. В суровые времена всегда так. Вот и получается, что зря Бурнашку Помельца осмеяли. Он среди редкостных на ту пору в Томском городе папаш оказался. А с ним Михалка и Игнашка Ждановы.

Что до Семки Поломошного, то Анютка Сопатая его наследником одарила. Сразу видно: косая сажень у мальчика в плечах. И ума палата: глазами говорит, да так понятно, что и толмача не надо. Нарекли его Дмитрием, поскольку он третьего июня, на день царевича Дмитрия, меньшого сына Иоанна Грозного, родился.

Удивительная пора наступила. Выйдешь, бывало, вечером на посад, прислушаешься – чуть не в каждом доме младенцы на разные голоса курлычут. Будто и нет вокруг ни раздоров, ни смут, ни военных столкновений; будто мир наполнен согласи-

ем и любовью.

Вздохнет Варвара Поломошная, улыбнется чему-то да, и задумается: у кого из молодых ей завтра роды принимать... Такая уж ей судьба выпала: сначала посаженной матерью стать, а потом и повитухой.

НЕ СТОЯТ ГОРОДА БЕЗ БАБ

Что верно, то верно: города без баб не стоят. Но и то верно, что в их честь города и веси* называть не принято.

А ведь называли.

Взять, к примеру, село Варюхино. От Томского города вверх по Томи до него и пятидесяти верст не будет. Село крепкое, работающее, старинное. И название у него само в память просится.

О том, откуда оно взялось, разные мнения бытуют. Знатоки полагают, что в давние времена притомские крестьяне здесь брагу из хмеля и солода варили. Почему именно брагу, а не, скажем, варенье, они не уточняют. Кто такая варюха — тем более. То ли это имя, то ли занятие, пусть каждый сам домысливает.

Согласно другому толкованию название это восходит к имени оброчного человека Григория Варюхина, который в одной из старых Переписных книг Томского города упоминается. Но опять-таки непонятно, совпадение это или всего лишь указание на то, что онный Григорий родом из Варюхина.

Не будем гадать. Те, кто следит за нашим сказанием, должны бы уже догадаться, что на самом-то деле село Варюхино к имени Варвары Поломошной тяготеет. Если в первой половине жизни она Варюхой звалась, почему бы на склоне лет ей под тем же именем на одной из заимок в нижнем Притомье себя не проявить?

Вот она и проявила. А вместе с ней ее сын Семен, по невниманию писца еще в детстве Варюхой в именную роспись вписанный.

Но перед этим Варвара Пантелеевна чуть не десять лет в Томском городе жила. Да так жила, что и стар и млад за материнскую доброту и заботу ее всем сердцем возлюбил. Даже скупой на похвальные слова Корней Жданов на кругу у съезжей избы как-то признался, что «сня женщина» столько нужного для города сделала, что вполне достойна «третьим лицом» после воевод Васи-

* Деревня, село, поселение.

лия Волинского и Михаила Новосильцева считаться. Для одних она прямая родительница, для других посаженная мать, для третьих-пятых-десятых свекровь, теща, повитуха, наставница, советница, заступница и так далее. Всех ее ипостасей не счесть. А разве не по ее почину молодые семьи через год после артельного венчания таким же образом ситцевую свадьбу отметили, через пять лет – деревянную, через семь – медную? Где еще такое могло быть? Только в Томском городе – при Варваре Пантелеевне! Ребятишки к ней липнут – спасу нет. О кровных внучатах и говорить не приходится. Выйдет Пантелеевна во двор, одного кликнет, а к ней уж пятеро бегут. Одним словом, «третья воевода».

Так именно Корней Жданов и сказал. Однако, почувствовав, что выразился не совсем удачно, стал подыскивать другие слова. Собравшиеся принялись ему помогать – кто на полном серьезе, кто с насмешливой улыбкой. Сошлись на том, что Варвару Пантелеевну правильной называть так: «бабья воеводушка». И ласково, и внушительно, а главное, заслуженно.

За минувшие годы присланные из Москвы воеводы четырежды сменились, а Варвара Поломошная как была бабьей воеводушкой, так ею и осталась. Еще и укрепились в этом звании.

Одно плохо: здоровье у нее как-то вдруг распаталось. Прожитые годы, само собой, не молодят. Но дело не только в них. Она вдруг сохнуть стала, сморщиваться, желтеть, на неизбыточную усталость жаловаться. Будто червь ее изнутри точит, жить, как прежде, не дает. Хоть плачь. И сыновья по полгода, а то и больше в отлучке. Случись что, без них ее хоронить придется.

Ваську взять. Бесшабашный, ухватистый, непредсказуемый. А как в десятники вышел, его будто подменили. Строгий стал, рассудительный, ответственный. О подначальных ему казаках печется больше, чем о себе самом. В посторонние дела не вмешивается, но и в свои лезть не позволяет. Куда его ни пошли, какое дело ни поручи, все сделает наилучшим образом. Потому его в дальние походы чаще других и посылают.

Давно бы мог стать десятником и Семка, да кто ж ему, такому неуживчивому, даже самую малую власть доверит? Привык правду-матку в глаза резать. Ладно бы только казакам и посадским людям, а то ведь всем без разбора. Чем Васька переболел, схлестнувшись когда-то с Матвеем Ржевским и Пронькой Похватаевым,

тем Семка ныне занедужил. Вот и гоняет его началье туда-сюда, лишь бы в городе глаза пореже мозолил, народ не баламутил, с тем же Васькой пореже встречался.

А Гришка, меньшой сын Варвары Пантелеевны, на каверзные вопросы горазд. Иной раз такой задаст, что люди, умом его крепче и чином повыше, десять раз в затылке почешут, прежде чем ответить решатся. В былые годы Гришка во всем старался Ваське подражать, а теперь Семке в рот смотрит. Стоит ли удивляться, что и он в городе стал лишь наездами бывать?

Балагур Михалка Жданов по этому поводу не преминул позубоскалить:

– Три шурина у меня. Один лучше другого. А вместе взять: три сапога пара. Но в разные стороны...

Однако шутками здоров не будешь. Видя, что Варвара Пантелеевна с каждым днем чахнет все больше, Корней Жданов на правах свата отвез ее в то самое место, где вскоре возникла Варюхина заимка. Вот уже несколько лет туда подкочевывало многочисленное семейство мурзы Саганака. Русские старожилы называют его народ порубежными калмыками, а те уверяют, что они вовсе не калмыки, а туболары. Какая разница? Главное, что это семейство не воинственностью славилось, а своей знахаркой Ырыспай.

Три месяца Варвара Поломошная провела в сооруженном из жердей берестяном балагане айлу на телячьих шкурах. Ырыспай подкладывала под них то синий раскаленный песок, то сосновые шишки, поила болящую настоем из целебных трав и корней, смеси каменного масла*, кедровых орехов, живицы, меда диких пчел, барсучьего жира и много еще чего другого.

Покой. Родниковой чистоты воздух, налитый цветочными запахами, солнцем и пением птиц. Плеск воды. Потрескивание костра. Вкус острого, бьющего в нос кумыса, кислых и копченых на дыму сыров, тающая во рту кыйма – овечьи кишки, начиненные потрохами, крупой и вываркой из молодых рогов оленя. Что может быть живительней? Будто кто-то свыше новую жизнь в Варвару Пантелеевну вдохнул.

Вернулась она в Томской город окрепшей, помолодевшей,

* Белое мумие.

да и отправилась на воеводский двор. В то время там Федор Бабарыкин и Гаврила Хрипунов начальствовали. Надо сказать, это были управители средней руки, но уже и не такие заворуи, как рожденные Смутным временем Матвей Ржевский и Василий Волинский со товарищи.

Зная, что Варвара Пантелеевна в народе бабьей воеводушкой слывет, Бабарыкин с сахарной улыбкой поспешил к ней навстречу:

— Чем могу быть полезен, сподручника?

— Недовольна я на тебя, Федор Васильевич, — пропустила мимо ушей его подковыристое «сподручника» она.

— Что так? — посерьезнел Бабарыкин.

— А то, что обижаешь ты моих детушек. Ох, обижаешь! У других казаков по двадцать десятин пашни, а то и поболее. Да столько же десятин перелога. Да дворы при них крепкие. А мои чем хуже? Или они данных грамот на свои пашенки от государя не заслужили? Или мало стараются его ради?

— О каких-таких пашенках речь? Говори толком, Варвара Пантелеевна, а то у меня мысли в стороны разбегаются.

— Я и говорю, милостивец мой. Не век же нам, Поломошным, на посаде ютиться. Пора бы и свою займку где-нито завести. К природе поближе, к своему здоровью. Хоть бы и там, где нынче колмаки мурзы Саганака стояли, а я свою хворь их умением лечила. Вишь, какая живая оттуда вернулась — сама себя не узнаю.

— Ах, вот ты о чем, — на лице Бабарыкина вновь затеплилась сладкая улыбка. — Да с милой душой! Я и сам удивляюсь, чего это твой Василий ко мне за землицей под свое хозяйство не идет? Уж ему-то мы готовы где получше дать. Вон хоть бы и на Семи Лужках. К Томскому городу они куда как поближе. И от набегчиков не так опасны.

— Велика ли разница — с киргизского прихода пашню иметь или с колмацкого? С обонх сторон живи да оглядывайся... Но за Василия я после твоих слов спокойна. Вот вернется он с посылки в Кузнецкие земли, сам себе место и выберет. А пока ты нам с Семушкой прошеное дай. Дорога туда торная. Да и по реке плыть недалече.

Почесал Бабарыкин бороду, поерзал на лавке, крытой зеленым сукном, а делать нечего.

— Для тебя, — говорит, — сударыня Варвара Пантелеевна, ничего

не жалко. Остальное с нашим дьяком решай. Я свое слово ему скажу.

— За сударыню благодарствую, — отвечает она, — сроду в них не была. Бабой оно как-то привычней. А ты ноне и впрямь сударь. На все стороны хорош. Так дальше и оставайся, державец...

Вскоре с разных сторон вернулись в Томской город ее сыновья. Дождавшись первых морозов, отправились они к месту будущей займки да и нароняли там столько сосен, сколько надобно, чтобы крепкую избу и косою острожек поставить. В морозы-то лишняя сырость из бревен уходит, потом их легче досушивать.

А по весне, как только земля прогрелась и заневестилась, Поломошные вновь праздник топора в том краю устроили. На этот раз они взяли с собой четырех братьев Ждановых, Бурнашку Помельца, Федьку Батранина, Остофея Ляпу и других казаков, для которых Варвара Пантелеевна давно уже не посаженной, а родной матерью стала. И вот пожалуйста: всего за несколько дней, как по щучьему велению, по ее хотению, вырос в Томском приречье сосновый дворец. Живи, матушка! Радуйся! Здоровья набирайся! Семейная артель круговой порукой сильна, а сноп — перевяслом.

Михалка Жданов еще и спутил:

— Эх, братцы! Вот бы всегда у нас служба, как сегодня, шла: плюй в ружье, да не мочи дула!

— Кабы не мороз, овес до неба дорос, — срезал его Бурнашка Помелец. — По мне так лучше вовсе не плевать, а то ведь ружьецо и выстрелить может.

Пониграли они словами и тут же о них забыли. А шутка-то и сбылась.

Пока добры молодцы хоромы матушке рубили, ружья в сторону отложив, в Томском воеводстве большая драка случилась. Черные калмыки тайши Пегима и белые калмыки тайши Абака, проще говоря, западные монголы и алтайские телеуты, на время взаимные распри отложив, вторглись во владения союзных Москве обских татар — чатов. Их предводитель князь Тарлава тотчас гонца в Томской город с просьбой о помощи отправил. С ним-то строители Варюхиной займки и встретились. Чат едва в седле держался. Глянули казаки, а у него в спине две стрелы торчат, одна глубже другой. Сразу видно, не жилец он уже.

Поняв, что промедление смерти подобно, Васька Поломошный развернул своего коня и, не разбирая дороги, помчался в сторону

Чатского городища. Остальные – за ним. С умирающим гонцом по знаку Михалки Жданова его младший брат Тимошка остался. Русский человек выручкой славен. Назвался другом – становись рядом, да не для вида, а для общего одоления противника.

Каждые двадцать верст казаки давали роздых коням. Не позволяя себе расслабиться, промахнулись шестой. И вдруг впереди, среди только-только проклюнувшихся на небе звезд, появилось множество огненных пятен. Они то сливались, то распадались, образуя зловещие узоры. Это были отсветы костров черных и белых калмыков, подступивших к ставке князя Тарлавы.

Большинству казаков, соратников Васьки Поломошного, уже приходилось нести сторожевую службу в Чатском городище. Стоит оно на высоком крутом мысу в междуречье Умара и Таштагана – так татары называют Обь и впадающую в нее речку Каменку. Дозорные башни городища, соединенные двойным частоколом, похожи на минареты. На двух из них установлены медные пушки. Вместе с чатами крепость охраняет отрядец Ивашки Хлопина. Таковую твердыню калмыкам стрелами и саблями не взять. Но и казакам, пришедшим на помощь чатам, просто так в нее не попасть, очень уж плотно степняки ее обложили.

Выход один: как только калмыки на ночь спать улягутся, с ружейной пальбой прорваться за валы к воротной башне. А там, бог даст, Хлопин со товарищи из пушек и ручниц огонь со своей стороны откроют, да и впустят их под пальбу в городище.

Так оно и случилось. Без единой царапины простряли поломошницы в ставку князя Тарлавы. Тот глазам своим не поверил, когда увидел перед собой русских храбрецов. Однако тут же не преминул заметить, что казаков могло быть и больше.

– С людьми Ивашки Хлопина в самый раз, – пожал на это плечами Васька Поломошный. – С миру по нитке – голому рубаха.

– А если по-вашему, по-чатски, сказать, – добавил неугомонный Михалка Жданов, – и комары лошадей заедают. Али мы хуже комаров?..

Лишь наутро калмыки опомнились и пошли на приступ. Сотни огненных стрел посыпались на головы защитников Чатского городища. В разных его частях вспыхнули деревянные постройки. Сходу зааркавив острие частокола, прямо из седел полезли на крепостные стены кривоногие всадники. Их встретили копья и саб-

ли казаков и чатов. Крики. Стоны. Свист стрел. Ржание коней. Пушечные и ружейные выстрелы. Огненные всполохи в городище и вокруг него.

Не сумев прорваться с передней стены, калмыки решили зайти с боковых. И вновь неудачно. Тогда они вверх по глинистому обрыву со стороны Оби-Умара полезли. Береговой уступ то и дело осыпался под ними. Но они упрямо цеплялись за него, обрывались, скатывались в воду и снова лезли. Будто шайтан в них вселился.

С холодным упорством их неистовые броски отражали казаки под началом Васьки Поломошного и Ивашки Хлопина. Поначалу Тарлава путался у них под ногами, давая не всегда верные указания. Однако, сообразив, что не урусов, а своих чатов он должен вести в бой, взялся за саблю. Тогда и стало ясно, что Тарлава действительно князь, хорошо владеющий холодным оружием. И не просто князь, а бик-мурза, что значит большой князь.

К вечеру, понеся большие потери, калмыки беспорядочно отступили. Однако чуть свет они вновь бросились на приступ. И вновь безуспешно.

В третий раз Абак и Пегим рисковать не стали. Зачем терять воинов понапрасну, если можно решить дело осадой? Для этого всего-то и надо – отрезать подходы к Умару и Таштагану. Пусть жажда иссушит осажденных! А еще надо на всех дорогах и тропинках, соединяющих ставку Тарлавы с внешним миром, метких стрелков расставить. Пусть охраняют не только землю, но и небо! Ни одна птица не должна пролететь в сторону городища и стать добычей его защитников. Пусть голод сделает их слабыми и безвольными. А тех из черных калмыков, кто сумеет выследить и поразить стрелой уруса, Пегим-тайша обещал щедро наградить. Думал, что и тайша Абак призовет к тому же белых калмыков, но Абак решил с Москвой окончательно не ссориться. Ведь раньше они против енисейских киргизов и казахской орды совместно выступали.

Три недели длилась осада. За это время чаты не только своих коней переели, но и к казакским стали подступаться. А те не дают. Чаты понять не могут, почему? Ведь урусов голодуха тоже замучила.

Михалка Жданов и объяснил им:

– Да потому, ребята, что голодный волк сильнее сытой собаки.

Это раз. Если всем сытыми быть, то и коней не станет. Это два.

Задумались чаты: а ведь и правда.

— Правда, правда, — заверил их Михалка. — С голоду брюхо у вас не лопнет, только сморщится. Зато кони целы будут. Это три.

А Бурнашка Помелец добавил:

— Конь не выдаст, так и враг не съест! Теперь понятно?

Те в ответ согласно закивали и так же согласно ответили:

— Нет!

В остальном казаки с чатами общий язык нашли. Подходящий народ — простые, отзывчивые, терпеливые. Воевать не склонны, но коли придется, готовы насмерть стоять. Особенно против черных калмыков.

Зато в ставке Абака и Пегима согласия не было. У них не только языки и обличие разные, но и нравы, и отношение к другим народам. Черные калмыки свою родословную от Чингисхана ведут, вот и распирает их дух превосходства. Хотя их самих давно уже восточные монголы теснят, в сибирские земли уходить заставляя.

Разлад между белыми и черными калмыками помог Тарлаве и томским казакам «отсидеть» Чатское городище.

Вот радости было, когда они увидели, что воины Абака сворачивают шатры и, уложив их на возы, покидают испятнанные кострищами прибрежные пески и луговины у кедрового бора. Тут-то осторожный обычно Васька Поломошный под стрелу черного калмыка, зазевавшись, и подставился. Она пробила ему шею под правым ухом, да в ней и застряла.

От таких ран обычно скорая смерть случается. Да, видать, не пришло еще Васькино время. Нашелся, на его счастье, целитель по имени Зуфар. Вынул он из Васькиной шеи стрелу. Рану живой водой своего изготовления промыл, а после сшил конопляными нитями. Еще и сухой крапивой для верности присыпал.

В Томской город Васька Поломошный не скоро вернулся, да и то не на коне, а на речном дощанике. Сначала по Оби, потом по Томи плыл. Так Зуфар посоветовал. По его словам, на верхах Ваське пока лучше не ездить, а то шея еще больше скособоится может.

Увидев калечного мужа, Дарья Поломошная глазами вскрикнула, но больше ничем своих чувств постаралась не выдать. У него ведь на душе и без того мутно. Зачем еще словами растравлять?

Пусть видит, что для нее он в любом состоянии хорош — родной, любимый, единственный...

Зато мать, Варвара Пантелеевна, вволю наплакалась. Ей можно. Поплачет, глядишь, и легче стало. Вместе со слезами боль и горе отойдут, и вновь засияет для нее сын ясным солнышком.

А Федор Бабарыкин и Гаврила Хрипунов встретили Ваську двояко. Сперва похвалили, «ероем Чатского воеваньица» назвали, а после за то, что он без спросу в чаты ринулся, по-отечески пожурили. Мог бы де сперва до них добежать, приказ, как положено, получить. Для того воеводы и поставлены, чтобы решения на высшем уровне принимать. Им сверху видней, кто где быть должен. .. Ну да ладно: что случилось, то случилось. В Москву о заслугах Василия Поломошного уже отписано, а каково пожалование из нее будет, время покажет. От себя воеводы вручили ему зипун лазоревый настрафильный, того же цвета однорядку, рубаху полотняную да семь рублей денег. Сверх того пообещали восемнадцать десятин пашенки там, где он сам выберет.

Напоследок Бабарыкин эдак осторожно полюбопытствовал: не тяжело ли будет Василию с такой раной в конных десятниках оставаться? А то ведь можно и в пешех казаках пока походить. Глядишь, здоровье и поправится.

— Делай, как знаешь, воевода, — едва сдержал себя Васька. Помолчав, язвительно добавил: — Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу.

Бабарыкин его скрытой издевки не понял. Напротив, принял сказанное за чистую монету.

— А можно и другим путем пойти, — почувствовал он себя благодетелем, — Москва велит имать в подьячие и толмачи людей грамотных и язычных. Вот и поучился бы ты этому делу. Опыт есть. Опять же человек ты заслуженный, головастый. Как думаешь?

— Так и думаю: прежде чем чужую ложку в окно выбросить, выкинь свою, — усмехнулся Васька. — А за ласку и советы благодарствую. Пошел я.

— Куда?

— В пешех казаки. Куда же еще?

Когда дверь за ним закрылась, воеводы переглянулись.

— Ты что-нибудь понял? — спросил у Хрипунова Бабарыкин.

— А ты?

– Вроде как он нами недоволен. Говорит направо, а глядит налево. В пеших казаках ему быть зазорно. А куда его, хворого, еще девать? Вот же народ: дай ему власть, так он две возьмет.

– А ты не давай, – поймал его на слове Хрипунов. – Ты так сделай, чтобы Василия из конных десятников в пешие казаки по болезни перевели, а на его место не кого-нибудь, а Семена Поломошного поставили. Он ведь тоже на Чатском деле отличился. И служит давно. Тогда видно будет, так ли Поломошные едины, как себя держат? И Василию не станет причины ноздри на тебя раздувать.

– Дельно придумано, – заметно повеселел Бабарыкин. – Ох, и ловок же ты, Гаврила Юдич, затяжки распутывать. Будь по-твоему...

Однако Семка Поломошный идти в десятники наотрез отказался. Он сразу понял, что неспроста его хотят на место брата поставить, клин меж ними вбить. Да и зачем ему лишние хлопоты? Сибирь, чай, на рядовом казаке держится.

А тут как раз послы монгольского Алтын-хана из Москвы через Томской город к себе на Кемчик возвращались. Надо было их через земли мирных и немирных киргизов до Алтыновой ставки сопроводить. Вот Федор Бабарыкин и велел в число приставов Семена Поломошного включить. Вроде как поощрение за похвальную службу. А на самом деле как изгнание за отказ. С глаз долой, из сердца вон.

Зима в том году выдалась на редкость строгая. Все живое от нее в норах или дуплах попряталось. Птицы на лету замерзали. Собаки в нарты запрягаться не шли. Скулят. Хвосты поджимают. Будто перед концом света.

О болезнях и говорить нечего. Они обычно там вспыхивают, где холод, недоедание, скученность и неряшливость царят. Вот и разгулялись, спасу нет. Чуть не в каждом улусе, через который лыжно-санный путь посольского отряда лег, местные жители кого-то хоронили.

А идти пришлось через реки Яю, Кию, Урюп, Июс, Аскис, Частые Броды, Кантегир и еще несколько более мелких речушек. За это время казаки всякого насмотрелись. Еще больше они от немирных киргизских племен и заносчивых монгольских послов натерпелись. Уснули спокойно только в местечке на берегу реки

Улут-Хем, сдав послов с рук на руки людям Алтын-хана. Два дня беспробудно проспали, на третий засобирались в обратный путь.

Тут старший пристав Онтошка Руговидин и говорит:

– Назад всегда успеется, братцы. Хоженый путь скучен, как престарелая жена. А что если нам новые земли проведать? Те, что позади енисейских киргизов лежат? Слыхал я, там «каменные моторы» из рода койбалов живут. Завзятые звероловы и соболятники. Вот кого в ясапники залучить не мешало бы. От этого всем прямая выгода будет. Опять же тамошние реки Туба, Салба, Оя золотым камнем богаты. Так это или нет, самим бы и узнать. А? Чует мое сердце, мы в накладе не останемся.

– Извини, Онтоша, но я тебе слово воперек скажу, – попытался остудить его пыл Семка Поломошный. – Говоришь ты складно, да не ладно. И охота тебе на чужое добро рот заявить? У самих от усталости ноги заплетаются. Дай бог силы домой добраться. А тебе койбалов объясачивать вздумалось. О золотом камне я и не говорю. Много ты его зимой или даже весной намоешь?

– Вот, вот, – усмехнулся Руговидин. – Ты еще скажи, Семка, что нет у нас полномочия новые земли без дозволения воевод приискивать и ясак с них брать.

– Считаю, что уже сказал. Дальше что?

– Сам о справедливости печешься, а на деле выходит, что шагу без воевод ступить не смеешь. Нешто мы сюда для прогулки шли? Монголы бы и без нас в этом краю не заблудились.

– Онтошка верно говорит, – поддержали Руговидина другие казаки. – Зачем было нас зазря в такую даль гонять? Ведь обнищали совсем. Хлеб из рук доедаем. Если сами о себе не позаботимся, хоть ложись и помирай.

Семка Поломошный им в ответ:

– Где нищий не бывал, там по две милостыни дают. Сходите, проверьте. Может, и впрямь две.

– А ты, Семка, сам-то что решил?

– Я человек артельный. Как большинство скажет, так тому и быть. Вместе сюда шли, вместе и отсюда.

Большинство поддержало Руговидина. Потому и повернул отряд в Тубинские и Моторские земли.

И надо же было такому случиться: там казаков подстерегла повальная болезнь. Сразу троих, в том числе Семку Поломошного

и Онтошку Руговидина, жар, лихорадка, боль в горле и крестце свалили. Через три дня у глаз, носа, губ каждого из них появились прозрачные пузырьки.

— Уж не оспа ли это? — всполошились товарищи.

Позвали старого тубинца из шаманского рода таражаков, сносно говорящего по-русски, и спросили: не знает ли он, что это за болезнь?

— Знаю, — подтвердил тот и стал тыкать себя растопыренными пальцами в лоб, щеки, подбородок.

— Так и есть, оспа, — сокрушенно переглянулись казаки. — А скажи, старик, мог бы ты остановить эту заразу?

Старый тубинец с достоинством кивнул.

— Ну так останови! Будет тебе за это награда.

— Ладно, — ответил он. — Но пусть никто ночью в юрту не входит, не мешает мне злых духов отгонять.

На том и порешили.

К вечеру старый тубинец вернулся в юрту, где лежали больные, и стал в бубен бить, вскрикивать, разными голосами заклинания выборматывать. Тем временем его сыновья насторожили вокруг юрты охотничьи луки.

— К чему это? — любопытствовали казаки.

Оказывается, в представлении остяков, тубинцев и иных сибирских народов оспа — это не столько даже болезнь, сколько лютый зверь. По ночам он выходит на людей охотиться. Если не сумеет человека убить, то лицо ему острыми когтями испянтает. Значит, и поступать с ним надо как с хищным зверем. Он охотится на тебя, а ты охоться на него. Лук на его пути насторожи, растяжку поставь. Чуть он ее заденет, сорвется с тетивы стрела с ядовитым наконечником. Его сразит, а другие звери сами разбегутся.

Ну кто, скажите на милость, в такие сказки поверит? А и не верить нельзя. Обстановка не та.

К ночи заболевшие казаки в беспамятство впали. Вскрикивают, стонут, лица до крови расчесывают. Сил нет на их мучения смотреть. Тут старый тубинец знак сделал, чтобы все лишние люди юрту покинули. До того в шаманстве своем распалился, что сам стал на злого духа похож. Пришлось ему подчиниться.

Никто из казаков в ту ночь глаз не сомкнул. Кое-как утра до-

ждались. Вопли в юрту, как в звериное логово, а им навстречу — оживленные лица, возбужденные голоса, дружеские улыбки... Чудо да и только. Будто с того света сослужильцы вернулись и по-детски радуются.

— А где же старый Таражак? — спрашивают.

Да вот же он, свернувшись калачиком, у дальней стенки в беспамятстве лежит. Перевернули его на спину и ахнули. Лицо тубинца все кровотокающими ранками испятнано. Неподалеку чаша с непотухшими еще углями дымится, а рядом с ней в напольную кошму кривое шило в деревянной колодке воткнуто. Будто кто-то неведомый этим шилом оспины на лице старика недавно выжигал.

Бр-р-р! Страсти-то какие! Мороз по коже. Вот и не верь после этого в злых духов. А кто же, если не они, хорошего человека впотьмах изуродовал?

Стали казаки Семку Поломошного и других заболевших расспрашивать, что они ночью видели и слышали?

И вновь загадка: никто ничего!

Тут очнулся старый тубинец. Улыбается беззубо, непонятно кому кивает, руки к сердцу прикладывает. Лицо у него скуластое, будто из дерева выточенное. Глаза с раскосинкой. Ранки на лице частые, будто птицей наклеванные. Одни сочатся, другие уже подсохли.

Слово за слово, и до казаков стало доходить, что это не кто-нибудь, а сам старик над собой такую казнь учинил. Зачем, спрашивается?

А затем, как выяснилось, чтобы обмануть лютого зверя, от русских людей его внимание отвлечь, их боль на себя принять.

— Чем же, отец, мы такое пожертвование от тебя заслужили? — разволновался Семка Поломошный.

Старик и рассказал, как его еще в молодые годы вызволили из джунгарского плена русские казаки, одели, обули, на коня посадили и отправили в родные Тубинские земли. Много лет мечтал он отблагодарить тех людей за их доброту, а смог только теперь, да и то не их самих, а их соплеменников урусов.

— Вишь, как оно бывает, — завздыхали казаки. — Хорошо тому добро делать, кто его помнит. А то ведь и так случается: твоим же добром да тебе же и в рыло.

– А можно и по-другому посмотреть: на чем возу сидишь, того и песенку пой. Разве не так?

– Пой на здоровье, а лучше того нагнись да поклонись.

– Не время еще кланяться, – вмешался в разговор Онтошка Руговидин. – А вдруг у нас через день, через два рожи снова оспой обнесет?

– Не обнесет! – заверил его Семка Поломошный. – Такие, как Таражак, не ошибаются. Они ведь не одними глазами зрят, а еще чем-то, от нас глубоко сокрытым.

И впрямь, после той ночи заболевшие казаки быстро на поправку пошли. Расчесы на их лицах благополучно зажили. Новые пузырьки больше не появлялись. Даже круглое бронзово-красное лицо Онтошки Руговидина посвежело, от темных точек на мясистых щеках очистилось.

– Значит, это вовсе и не оспа была, – запел старший пристав другую песню. – Мало ли какие бредни старику могли в голову войти. Зря он себя исконопатил, я так скажу.

– Не пристало тебе, Онтоша, говорить как какому-нибудь пуштоплюю, – едва сдерживая себя, вступился за тубинца Семка Поломошный. – Если Таражак и теперь тебе никто, то мне он все равно как брат родной. Так и запомни.

– Все мы тут как братья, – не стал углублять их противоречия Руговидин. – Я ведь не в обиду про оспу сказал, а в рассуждение. Ошибиться всякий может. Даже такой провидец, как Таражак. Давай, Семен, про это забудем. Есть дела поважней.

– Какие, к примеру?

– Раз Таражак к русским людям благодарно настроен, грех этим не воспользоваться. Пусть он поможет нам тубинцев и моторов объяснить. Тут его мечта во второй раз и сбудется.

– Ну ты и курвин сын, – захлебнулся от возмущения Семка. – И думать про то не смей!

– А разве мы сюда не по ясак шли, правдолюбец? – фыркнул Руговидин. – И ты с нами.

– Я шел, чтобы от других не отделяться. Главная наша забота – добрые связи с тубинцами установить. Вот мы их и установили. А ты хочешь еще и ясак наперед с них взять. За что? За то, что Таражак тебя от оспы спас? Совсем совесть потерял...

– Ты о моей совести не заботься. И мне она противна, как ни-

щему гривна. Лучше в сторону отойди. Сему с огнем не улежаться.

– Посмотрим!

С этими словами Семка Поломошный схватил шило, которым старый тубинец себе лицо искровенил, и стал раскалывать его жало на огне, горевшем в земляной яме посреди юрты.

Казки настороженно наблюдали за ним, пытаясь угадать, что он будет делать дальше.

Никто из них и предположить не мог, что Семка вдруг ткнет себя шилом в одну, потом в другую щеку и, не дрогнув голосом, скажет:

– Если ты, Онтошка, здесь об ясаке еще хоть раз заикнешься, я тебе оспу хуже, чем у Таражака, сделаю.

И так это веско прозвучало, что все поняли: за грань Семкиного терпения лучше не заходить.

– А это мы поглядим!.. – сорвался было с места Руговидин, но сразу несколько решительных рук перехватили его.

– Охолонь, старшак! Он прав...

На этот раз большинство казаков оказались на стороне Семки Поломошного. И двинулся вскоре отряд восвояси с доброй вестью о том, что лежат позади енисейских киргизов дружественные Томскому воеводству земли и что готовы они хоть завтра стать под высокую руку Москвы.

За время пути ранки на щеках Семки поджили и стали почти не заметны. Но Анютка, его ненаглядная женушка, все равно их углядела.

– А это что такое? – тронула она ласковым пальцем одну, потом другую щербинку. – Совсем как божьи слезки. Откуда?

– Потом расскажу.

– Всегда у тебя потом да потом. А когда это потом сейчас будет?

– Когда ты мне сына Демуху покажешь, – отшутился Семка. – Я за вами так соскучился, что все остальные слова забыл...

Пока он вспоминает, мы к третьему брату, Гришке Поломошному, перейдем. У него жизнь тоже вскачь пошла. К тому же Бог тронцу любит.

Но сначала поразмыслим над такой загадкой: двое пошли – пять рублей нашли. Спрашивается: третий пойдет, сколько найдет?

С ответом лучше не спешить. Один скажет: пять. Другой: ни-

сколько. Ну а нам-то важно в Гришкин ответ заглянуть. Не зря говорится: наперед не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ведь и так может статься: пошел по шерсть, а воротился стриженным. Но в Гришкином случае правильной вспомнить другое: быть было худу, да Господь не велел.

Короче говоря, в то самое время, когда Семен Поломошный с божими слезками на щеках домой вернулся, а Васька скособоленную шею довольно неплохо в пеших казаках разносил, Гришка по служебным делам в Тобольске оказался. Туда он вместе с другими казаками пушную казну сопровождал. А назад, как только лед на реках вскроется, им предстояло хлебное и денежное жалование вместе с девятнадцатью сосланными в Томской город литовскими пахоликами доставить.

Прежде иметь дело с пахоликами Гришке не доводилось. Кто такие? Чего от них ждать? И число девятнадцать ему очень уж кучным показалось — ни туда, ни сюда.

В Тобольске выяснилось, что пахолики — это всего-навсего челядь польских, литовских и прочих ливонских панов. Во время боевых сражений паны панцирными рыцарями становятся, а их слуги — оруженосцами и телохранителями. Попав в плен, те и другие могут получить свободу, приняв православие и дав клятву на верность Москве. После этого их пути расходятся. Паны могут взлететь по служебной лестнице вверх, а слуги чаще всего так и остаются рядовыми послужильцами. Зато не перестают чваниться, как холопы на воеводском стуле.

Годом раньше в Томской город было прислано сразу три ссыльных новокрещена: выходец из германских земель Афонька Немчинов, имевший раньше другое, очень уж мудреное прозвание, а с ним сын калмыцкого мурзы Лучка Васильев, тоже на русский лад переименованный, и запорожский черкас Первущка Шершень. Немчинов и Васильев по всем статьям к месту припились — надежные, сообразительные, свойские, обиды на Русь, запленившую их, не держат. А Шершень от своих атаманских привычек так и не отрешился. На всех исподлобья смотрит, привык подчиненных в кулаке держать. Потому, видать, воеводы именно его старшиной в Тобольске за хлебными запасами и ссыльными пахоликами и отправили.

В первый же вечер Шершень и несколько его приспешников

с литовскими пахоликами горячего вина нахлебались и давай меж себя на нелюбви к русским порядкам брататься.

Дальше — больше. Шершень казаков по дощаникам так рассадил, чтобы на двух самых крепких и вместительных судах его прихлебаи численное преимущество заимели. Для чего это ему понадобилось, стало ясно, когда дощаники в Иртышское устье вошли. А это перекресток двух речных дорог — Иртышской и Обской. Вместе они образуют море, берега которого весной в половодье не всегда и разглядишь. Ну чистое Лукоморье!

Едва дощаники достигли его, Шершень громогласно объявил:

— Паны казаки! Здесь наши пути расходятся. Я и мои порадники, не желающие себя службой русскому царю Мишке Федорову марать, северными реками на Московскую Русь и дальше в Литву уходим. В чистом поле четыре воли, а там, глядишь, и пятую снайдем. Будем жить не тужить, никому не служить. Кто с нами, поворачивай налево. А кому назад, в томское стойло захотелось, гребите направо. В рай мы никого за волосья не тянем! Ха-ха-ха! Птице на ветке лучше, чем в золотой клетке. Это мое вам последнее слово.

— Врешь, изменник! — схватился за ручницу Гришка Поломошный. — Твой рай черти стерегут. Быть тебе у них на свадьбе жареным гусем. Там свое ха-ха и скажешь. Им же и подавишься.

Не успел Гришка выстрелить, грянул залп с дощаников Шершеня. Это был предупредительный залп. Он снес мачту с парусом над головой Гришки и просверлил носовую часть десятком пуль. Парус рухнул, накрыв собой нескольких казаков вместе с Гришкой Поломошным.

— Чего приумолкли, потешники? — снова захохотал Шершень. — Спела бы рыбка песенку, да голоса нет? Оно и видно. Плывите с Богом, убогие, да на нас не оглядывайтесь. Несподручно бабе с медведем бороться, того и гляди юбка раздерется.

— Ты, что ли, медведь, Шершень? — выпутавшись из парусины, снова схватился за ручницу Гришка Поломошный. — Да ты вероломец брехливый и больше никто! Не уйти тебе от нас, как собаке от собственного хвоста.

— Но-но! — осердился Шершень. — Это кто там в покойники просится? Назовись!

— Григорий Иванов Поломошный! — поднялся в полный рост

Гришка. — Мне своего имени стыдиться нечего.

Пока они переругивались, расстояние между дощаниками увеличилось. Это помешало Поломошному выцелить Шершня, а Шершню Поломошного.

— Дурак ты, Гришка! — выкрикнул напоследок Шершень. — Грозишься словить меня, а про то забыл, что за мухой с обухом не угнаться. Гапник на штанах оборвется. Остынь! Целей будешь!

У Гришки от обиды в глазах потемнело.

— А ну, братцы, садись на весла! — воззвал он к товарищам. — Догоним супостатов. Хлебные запасы вернем и честь свою заодно.

Но никто кроме него самого за весла не сел. Стали оправдываться, де нет среди нас начальных людей, которые вправе изменников ловить. Да и не убил пока Шершень никого, только попугал. И хлебные запасы не все угнал, а меньше половины. Поэтому лучше в Тобольск вернуться и о происшествии в Иртышском устье, как положено, доложить. Там лучше знают, что дальше делать.

Вернулись. Доложили. А следом вести о Шершне и его ватаге одна хуже другой приходиться стали. На Малой Оби он и его люди казаков с денежной казной из Березова побили. Пожива у них там вышла в пятьсот шестьдесят рублей с копейками. Затем на одной из обских проток остяцкого князя Текеша уразбоили, а на другой торговых людей, возвращавшихся в Тобольск из Обдорска*. У этих они отняли сто восемьдесят рублей денег и три горсти жемчуга. Несколько человек при этом утопили.

Безнаказанным такой разбой оставлять ну никак нельзя. Вот и отрядили тобольские воеводы чинить поиск беглецам, сколько Бог помощи подаст, сыну боярскому** Третьяку Юрлову.

Узнав об этом, Гришка Поломошный бросился искать этого самого Юрлова. Нашел его на пристани у скороходного струга.

Юрлов оказался человеком немолодым, но, сразу видно, задылым.

— К ледяной воде как относишься? — спросил он Гришку на знакомстве.

— Терпимо, — с готовностью ответил тот.

Тут Юрлов поднял с земли камешек и бросил сажень* на десять от берега.

— А ну-ка сплавай для наглядности, — предложил он.

Гришка не раздумывая вошел в воду и поплыл.

— Молодец, — одобрительно встретил его на берегу Юрлов. — Вот тебе гривна. В любой избе тебя за нее согреют и обсушат. А завтра чуть свет чтоб на струге был. Отплываем.

— Почему не сегодня? — клацая зубами от холода, спросил Гришка. — Ведь упустим душегубов! Шершень, считай, и так уже на два дня впереди.

— А это еще вилами по воде писано, — усмехнулся Юрлов. — Пока он на Малой Оби вольничает, мы по Большой Оби до Собского устья без помех добежим. По Соби путь через Югру** для него самый подходящий. Рано или поздно он туда явится. На тяжелых дощаниках да еще с хлебными запасами по горным рекам идти неподручно, так? Так! Значит, зерно ему в пути сбыть надо, суда поменять, ну и дух перевести. Очень уж он у него нынче разыгрался. Тут мы и день, и два, а то и поболее выиграть можем. Главное для нас дело — на Собы раньше Шершню успеть и там его засадой перенять. Теперь уразумел, что к чему, поломошная твоя голова?

— Кажись, уразумел.

— Тогда не стой, как мокрая курица, людей не смей. Велено топить — топись. Велено сушиться — суши. Такая у нас служба...

В своих расчетах Третьяк Юрлов не ошибся. Именно по Соби увел свою ватагу за Камень Первушка Шершень. Чтобы опередить ее, преследователям всего-то несколько часов и не хватило.

— Что будем делать? — убедившись в этом, пригорюнились измотавшиеся на веслах казаки. — Засаду устроить теперь не получится, а перебить их в прямом бою сил не хватит. Нас семь человек всего, а у них чуть не три десятка.

— Но они про то, сколько нас, пока знать не знают, — рассудительно заметил Гришка Поломошный.

* Ныне Салехард.
** Воинский чин.

* Сажень — русская мера длины, равная 2,1336 м.
** Северный Урал.

— Значит, этим и надо воспользоваться, — подхватил его мысль Третьяк Юрлов. — Пойдем следом, на глаза не попадаясь, а как случай представится, тут же и нападём. Лучше всего на переволоке с Соби на Усу. У страха глаза велики. Не разобравшись сразу, они могут нас за большой отряд принять.

— Это сколько же тогда придется за ними вприпрыжку охотиться? — слышались кисло-насмешливые голоса. — Ну совсем как зайцу за волком...

— Шутки кончились, — вдруг сделался властным и непреклонным Третьяк Юрлов. — Мы сюда не на посиделки посланы, а укорот кромешникам дать. Понеже это дело государственное. Не получится числом, будем брать хитростью. Иначе грош нам цена, служивые. Не с пустыми же руками в Тобольск возвращаться...

На этот раз все точь-в-точь по-юрловски вышло. Оставив свой струг на изрядном удалении от переволоки с Соби на Усу, казаки прокрались поближе к ватаге и стали наблюдать за действиями изменников. Те не спеша перенесли клад на берег Усы. Затем, оставив на Соби четырех сторожей, потащили на Усу по влажной тундре головной дощаник. Действовали без опаски, громко переговариваясь. Видимо, решили, что никто их не преследует.

Тут-то казаки и показали себя. Первым делом они заклапили и повязали сторожей у второго дощаника. На остальных беглецов устроили засаду посредине волока. Одним залпом сразили или поранили семь человек. Еще нескольких захватили в плен, когда те в беспорядочное бегство ударились.

У Гришки Поломошного словно крылья выросли. Оставив товарищу ружье, он выхватил саблю и с криком «Расступись!» бросился искать Первушку Шершня. Не обнаружив его среди попавших в засаду пахоликов, стал рубиться с кем придется. На приказ Третьяка Юрлова прекратить преследование Гришка внимания не обратил. Не до того ему было. Вот и оказался в неприятельском стане. Один как перст. Впереди дощаник с ненавистным Шершнем на борту, позади безлюдная луговина, рядом угрюмые, по-волчьи вспыхивающие глаза, чужая речь, острые сабли.

Не по себе стало Гришке от такого окружения, но не упал он духом. Сдерживая тройной натиск, стал назад отходить. Вдруг слышит голос Третьяка Юрлова: «Ложись!» Гришка словно того и ждал: наземь бросился. Пуля вжик. Один из нападавших па-

холиков рядом замертво упал, другой в сторону пархнулся. Ну а Гришка к ближайшим кочкам перебежками пустился. Там его вражеская пуля напоследок в ногу и ковырнула. Можно сказать, в рубашке родился — легкой раной отделался.

Вот смеху потом было. Послушать очевидцев, так, преследуя душегубов, Гришка не «Расступись!» кричал, а «Господи, помилуй!» Чуть голову не обронил, зато шапку в целости и сохранности с поля боя вынес...

Потеряв на Собской переволоке добрую половину своего воинства и один дощаник, Шершень снова в бега пустился, теперь уже по стремительной реке Усе, текущей на запад. Юрлов — за ним. Пленников и дощаник, захваченный с боя, он сдал под запись волостному старшине в Елецком городишке. С такой обузой за преступниками гоняться последнее дело.

«Ну, теперь-то душегубам от нас не уйти, — радовались казаки. — Теперь у них людей не намного больше нашего. Да и вид у каждого такой подозрительный, что хоть сразу в тюрьму сажай. С помощью местных властей мы их быстро переловим».

Но не тут-то было. Беглецы из разбойников вдруг в мирных странников превратились. Места вокруг пустынные, малолюдные. От жилья до жилья десятки верст. Можно бы и пограбить мимоезжих людишек, да Шершень строго-настрого запретил. Выберет он подходящее поселение, чинно на берег сойдет, душевно покалякает с его жителями, съестных припасов впрок закупит, перекрестится, да и плывет себе дальше. Так и добрался до богатой реки Печоры.

А на Печоре догони его попробуй. Течение само дощаник вперед мчит, надо только веслами время от времени пошевеливать, чтобы на мель не сесть или меж сплавных бревен не воткнуться. Движения по реке здесь куда как больше, и тайга гуще, и небо выше, и день от ночи не всегда отличить.

С Печоры Шершень на реку Ижму свернул. А по ней тем временем Пустоозерский воевода Павел Акинфов к себе в крепость с двадцатью стрельцами из Ухты возвращался.

— Кто такие? — спрашивает Акинфов Шершня. — Куда и за каким делом путь держите?

— Томские казаки, — отвечает тот. — С великим делом к государю нашему Михаилу Федоровичу поспешаем. Дозволь нам рядом

с тобой в Ижемской слободе на отдых стать, — и, заметив ожидающий блеск в глазах воеводы, добавил волшебные в таких случаях слова: — Мы в долгу не останемся.

— Милости прошу, — преобразился Акинфов. — Места всем хватит. В кои-то веки в нашем краю томских казаков встретить довелось. Раз так, велю разом баню истопить. Попаримся и поговорим с души на душу.

— Вот бы и винца хорошего к ней раздобыть. Для полного праздника.

— У меня все запасы вышли, но могу поспособствовать.

— Поспособствуй, Павел Устинович, — Шершень свойски отсчитал ему пятьдесят рублей. — Это на расходы. Один раз живем. Может, больше и не встретимся.

Когда Третьяк Юрлов с казаками в Ижемскую слободу нагрянул, дощаник Шершня еще у причала стоял. Тут бы и взять его под стражу. Так нет. Юрлов за содействием к Пустоозерскому воеводе поспешил. А тот полуведерную склянницу вина на стол перед ним выставил, дверь замкнул и давай дурака валять. Послушать его, так Шершень и не разбойник вовсе, а тайный царский советник. В Печорский край он с особым поручением прибыл. Тех, кто будет ему препятствовать, велено под крепкий замок сажать. Что Акинфов, по его словам, и сделал. Но как? Угощая Юрлова вином и дружески беседуя с ним о превратностях походной жизни.

Из-за преступного самодурства Пустоозерского воеводы казаки два драгоценных дня потеряли. Воспользовавшись этим, ватага Шершня спустилась по Ижме в реку Ухту, через очередную переволоку перебралась на реку Вымь, а уже по ней спустились в Вычегду. Ни Яренский, ни Сольвычегодский воеводы даже малой попытки задержать беглецов не сделали. На все у них один ответ: нет у нас ни служилых, ни земских людей, чтобы за чужими ворами гоняться.

Тут даже такой сверхтерпеливый вояка, как Третьяк Юрлов, из себя вышел: да пропади оно все пропадом! Мне, что ли, больше всех надо? И прекратил преследование.

А Гришка Поломошный и тобольский казак Тимошка Заноза не прекратили. Совесть не позволила, честь казацкая. Увязались они за душегубами на попутном судне. Главным для них стало неодолимое желание до живого или мертвого Первушки Шершня

добраться. Не зря же они за ним через всю Русию гнались. Сами измотались, но ведь и его вконец измотали. Вот-вот оступится.

Ждать долго не пришлось. Добравшись по Северной Двине до Емецкого острожка близ Холмогор, ватага Шершня дощаник свой ни с того ни с сего испросекла, да и двинулась вдоль речки Емцы на Мехренгу. Как выяснилось после, захотелось ей разбойную удаль свою потешить, местных крестьян в свое удовольствие пограбить. Тут удача от них и отвернулась. Беломорцы только ростом народ мелкий, а силенкой и вцепистостью их Бог не обидел. Как взялись они за топоры и вилы, так и смахнули с лица земли половину пришельцев. Остальных добила каргопольцы и жители Волоковской волости Двинского уезда. Ни один изменник в зарубежье тогда так и не сумел уйти, в том числе Первушка Шершень. Хоть и не от руки Гришки Поломошного и Тимошки Занозы это случилось, но и они к этому свою руку приложили.

Звал двинской воевода сибирских казаков к себе на службу, но они от его предложения с почтением отказались: в Сибири-де и своих дел хватает, да и корнями мы теперь там, и душой.

Однако, возвращаясь в Томской город, Гришка и на Лальский погост Сольвычегодского уезда не преминул завернуть. Как-никак, а здесь его детство и юность прошли. Отсюда он в Сибирь под родительским началом шагнул. Такое не забывается. Обидно, конечно, что Сольвычегодский воевода Дрон Аргаматов не помог отряду Третьяка Юрлова ватагу Шершня на Вычегде перехватить, но на нем свет клином не сошелся.

Была, разумеется, и другая, более приземленная причина, по которой Гришку на Лальский погост потянуло. За время пого-ни он остался гол как сокол. Денег нет, одежда изорвалась. Не милостыню же просить? А в Лальске и Сольвычегодске у него, как он знал, немало состоятельной родни осталось — купцы, промышленные и ремесленные люди. А вдруг удастся у кого-то из них на обратную дорогу одолжиться?

Благодетель и впрямь нашелся. Им стал торговый человек Дмитрий Авдиевич Поломошный. Лишь он имел в Лальске осадный двор, иными словами, домашний острожек, в котором в Смутное время прятался с семьей от шведов, литвы и бродячих черкас, а еще торговую лавку и наемную артель кузнецов. Были у него лавки, судоходные и прочие артели в Сольвычегодске, Ве-

ликом Устюге, Яренске. Но душа торгового человека так устроена, что хочется ей свои владения расширять и расширять.

Давно тянуло Дмитрия Авдиевича попытать счастья в Сибири, а тут – на тебе! – родственник объявился, да не пятая спица в колесе, а заслуженный сибирский казак. С таким сопроводителем в Томской город явиться – редкостная удача. Многие трудности сами собой решатся. Ведь за Гришкиной спиной его братья, мать, сестры и другие близкие им люди стоят, а эта ценность куда как дороже денег будет.

Рассудив так, собрал Дмитрий Авдиевич обозец с самыми ходовыми товарами – медные котлы, оловянные блюда, сковороды, мыло, зеркала, писчая бумага для челобитных, всякая одежда, обувь и цветастые бабьи безделушки, приодел Гришку, да и отправился с ним в дальний путь.

Можно себе представить, какое впечатление произвело появление сразу двух Поломошных в Томском городе. Тут тебе и радость, тут и слезы, суды-пересуды, купли-продажи, а еще была и небыль, которыми Гришка свои рассказы о погоне за ватагой Первушки Шершня расцвел. По ним выходило, что он сам – вот этой карающей рукой! – Шершня за все его неправды прилюдно искал. Казаки одобрительно кивали, их женки ахали, а высохшая от ожидания мать Гришки только слезы смахивала и головой качала:

– Есть и на черта гром, сынок.

Тут заметно подростший сын Гришки Поломошного Ивашка, взглядом, голосом и растопыркой подражая отцу, вдруг сказал:

– Одна слеза катилась, другая воротилась.

Все взгляды разом перекинулись на него.

Хоть Гришка и меньшой среди братьев Поломошных, а сын у него родился у первого. И право назвать первенца Иваном в честь незабвенного деда выпала тоже ему. Послушать Гришку, так Ивашка весь в деда пошел – особенно быстроумием и остроумием. Скажет, как припечатает.

Вот и на этот раз все приготовились услышать от него что-то заядлое. А он постоял, подумал, да и разрешил:

– Кто не понял, говорите дальше.

И впрямь сообразительный...

Это было время, когда в сибирских городах и острогах по великому царскому изволению открывались первые кружечные дворы,

сиречь* питейные заведения. Раньше местным управителям вменялось в обязанность унимать от пьянства служилых и посадских людей, всеми способами преследовать тайных распространителей сногшибательного зелья (их еще уговорщиками называли), строго блюсти закон и порядок. И вдруг то, что еще вчера было нельзя, сегодня стало можно.

Казаки из семейного гнезда Варвары Поломошной, и прежде всего удалец Гришка, братья Ждановы, Бурнашка Помелец, Федька Батрагин, обрадовались: ну наконец-то! Все чинно, по закону, а главное, по мере. Подумаешь, кружка перегонного вина. Так это всего-то восьмая часть ведра. Какой от нее вред?

– Иного и кружка с ног свалит, детушки, – разволновалась, услышав такое, Варвара Поломошная. – Но дело даже не в этом. Мера счет любит. Вот и скажите мне на милость: кто счет кружкам будет вести? Само собой, владелец кружечного двора. Первую налить он вам обязан, а вторую нет. Но он вам и вторую, и третью, и пятую, и десятую под настроение нальет. Чем больше нальет, тем больше у него выручка. Пойди докажи потом, кто сколько пил. А это уже прямое спаивание.

– С нас-то какой спрос, Варвара Пантелеевна? – прикинулся простачком Бурнашка Помелец. – С нами-то царь-батюшка не советовался, когда кружечные дворы вводил. Разве что с воеводой Федькой Бабарыкиным. Так про то лучше у него и спросить. Ты, чай, к нему поближе, матушка.

Тут казаки поневоле разулыбались, и только Бурнашка Помелец сумел свою улыбку спрятать.

– Спрошу, ехидный ты мой! – пообещала ему бабья воеводушка. – А потом с тебя.

– С меня-то за что?

– Если кружками будешь пить, а не корчиком, вот за что.

– Умные люди говорят: пить – умереть, не пить – умереть, так уж лучше пить да умереть.

– А я слышала, умные люди другое говорят. Где пито, там и бито. Сколько в горло вылил, столько из семейного кармана вынул. Кто мертвую пьет, сам долго не живет и других в могилу та-

* То есть, а именно.

щит... Хватит или еще напомнить?

— Хватит, Варвара Пантелеевна. Убедила. Впредь буду пить только корчиками.

— А кабы вовсе не пить, и того лучше, — вздохнула она. — Ну да ладно, Бурнашка. Навещу-ка я и впрямь воеводу. Лишним не будет...

Федор Бабарыкин встретил ее на редкость почтительно. Из Москвы пришел царский указ: сидеть ему на Томском воеводстве еще два года. Тут волей-неволей почтительным станешь, да еще с такой непредсказуемой женщиной, как Варвара Поломошная. Должности у нее никакой, а влияние на людей дай бог царскому наместнику.

Пока она питейное дело на чем свет стоит ругала, Бабарыкин ей охотно поддакивал и многозначительно улыбался. Потом ни с того ни с сего похвалил:

— Твоя правда, Варвара Пантелеевна. Много охотников у нас в Томском кружечный двор ставить, да не всякому доверишься. Взять хотя бы Проньку Похватаева. Он, конечно дело, человек расторопный, хватистый, но казаки его не жалуют. А без этого как же? Твой сват Корней Жданов совсем другое дело. Или, скажем, Дмитрий Авдеевич Поломошный из Лальска. Вон как он умело развернулся... Пора, пора и у нас кружечное дело в крепкие руки брать. А у кого в городе крепкие руки, спрашивается? Да у Поломошных. Стало быть, у тебя, Пантелеевна. Ты ведь у них всемправляешь. Тебе и решать.

— Да ты никак с ума спятил, воевода, — задохнулась от нелепости происходящего Варвара Поломошная. — Я тебе про Фому толкую, а ты мне про Ерему. Какие такие руки? Опомнись, голубчик. Одно я тебе сказать пришла: не ставь в Томском городе кружечный двор, не то войну получишь.

— Рад бы не ставить, но и государя нашего послушаться не могу. Служба такая. Зато могу на кружечный двор подходящего человека поставить. Чтобы меру и совесть знал. Из твоих людей, между прочим. Глядишь, без войны и обойдемся.

— Это хорошо, что ты нынче сговорчивый, Федор Васильевич. А я нет. И знаешь, почему? Кружечное место самого совестливого человека сгубить может. Лучше ему оставаться простым казаком, чем разбогатеть со грехом. Вот и получается, что никому из Поломошных такое место не подходит.

— Значит, будем воевать?

— Уж не взыщи, радеть ты наш. Будем!..

Кружечный двор Федор Бабарыкин все же построил, но долгое время он оставался полупустым, тихим, неприятным. Посещали его в основном заезжие торговцы, служилые, папашенные и ясачные люди. Хозяин заведения, поляк из Каменец-Подольска Павел Рыхлевский, получивший в Сибири чин сына боярского, играл им на скрипке и вспоминал дни своей лихой молодости.

Умерла Варвара Пантелеевна уже при воеводе Иване Куракине. Сведений о том, где она похоронена — в Томском городе или в Варюхино, не сохранилось, но прошел слух, что на ее могиле рядом с православным крестом греческого закона была поставлена разбитая на куски винная кружка. Ее не раз убирали, но она вновь появлялась как знак того, что война с распивочным делом, объявленная бабьей воеводушкой воеводам государевым, не прекращалась и после ее смерти. Так было и при князе Иване Шаховском, и при Осипе Хлопове, и при Петре Козловском.

СИБИРЬ ПОЛОМОШНАЯ

Осиротел без Варвары Пантелевны Томской город. Осиротели Поломошные, Ждановы, Лавровы и другие казацкие семейства. Но не в том скорбном смысле осиротели, как это бывает, когда малые дети без родительской заботы остаются, а в том, когда они сами воспитателями и вершителями других судеб становятся.

Время быстро летит. Давно ли молодые томские казаки и чудом занесенные на Томь девицы, собравшись за одним свадебным столом, материнскому слову Варвары Пантелеевны внимали? Не успели глазом моргнуть, двадцать лет, как один год, пронеслись. На смену прежним новые женихи и невесты подросли. Одни еще только-только хороводиться начали, а других хоть сейчас под венец веди. Семка, сын Молчана Лаврова и Устиньи Поломошной, на Жданку Батранину нацелился. Сын Семена Поломошного и Анюты Сопатой Димуха на дочь Бурнашки Помельца Улыбу. На сестру Улыбы Капелину сын Василия Поломошного Богдан налюбоваться не может. Рядом с ними еще несколько пар составились. Этих к дочерям Михалки Жданова тянет.

Вот Василия Поломошного и осенило:

— А не устроить ли нам, братцы, заодно с глиняной просто свадьбу — для последышей наших? Иные из них в самую что ни на есть подходящую для этого пору вошли. Вон хоть мой Богданка. Про Семку и Демуху я и не говорю. Они давно копытами у порога бьют. Ага... И мамане бы нашей это по сердцу пришлось.

— Дельно придумано, — поддержал брата Семен. — Две свадьбы в одной. Можно сказать, круговорот семейной жизни. Отцы вдаль смотрят, дети вверх...

— Потом дети вдаль глядеть будут, а мы вниз, под ноги, — не преминул вставить веселое словцо Михалка Жданов. — Эдак и до золотой свадьбы доковыляем.

— Нам бы сперва до серебряной добраться...

На этот раз решено было собраться у Молчана Лаврова, того самого казака-нетудыки, для которого Бурнашка Помелец в давние годы ходил Настюху из Лальска сватать, да сам на ней и женился, а Молчана тут же Устька Поломошная к рукам прибрала. Однако со

временем Лавров молчком да сопком из конных казаков в казачьи головы выбился, чин сына боярского получил и такие хоромы себе отгрохал, что даже Корнея Жданова оторопь взяла: ну и ну!

А чего удивляться-то? На счету Лаврова столько дел, сколько другому на три жизни хватило бы. Взять Кузнецкий острог. Он его вместе с людьми сына боярского Евстафия Харламова и татарского головы Осипа Кокорева не в летнюю пору, как другие, а в февральские морозы 126 года* в устье реки Кондомы срубил. Затем на Чулым перебрался. Здесь в Ачинской ясачной волости вместе с отрядом все того же Осипа Кокорева он первое в тех краях русское зимовье косым острожком со всеми нужными строениями поставил. Ну а там и до Мелесского острога очередь дошла.

Тамошние ясачные люди мелесы томскому воеводе Ивану Шаховскому челом ударили: защити де нас от киргизских набегчиков и черных калмыков, князь, прегради путь защитной крепостью. Тот это дело не кому-нибудь, а вот именно Молчану Лаврову поручил. Уж Молчан-то самое подходящее место для острога на пути из Томского города в Енисейск выберет. Так и вырос на реке Чулым четырехугольный острожный палисад с боевой башней, приказной избой, Успенской церковью, амбарами и жилыми клетями для служилых людей.

Три крепости всего за три года возвести — такое не каждому опытному военачальнику по силам.

Опять же Лавров семьянин каких поискать. Три сына у него и дочь. По этой части с ним только Михалка Жданов может сравняться, да и то лишь по количеству детей. У Михалки четыре дочери — одна другой краше. Но он этим не очень-то доволен. Однажды, когда еще Варвара Поломошная жива была, под хмельную руку проговорился:

— Ну чем я хуже Молчана, скажите? У него одни парни на свет нарождаются, а я-то пошто в девках погряз? Слава богу, не калечный. Все при мне... Или по службе взять. Это ведь у меня под началом Молчан казацкого ума-разума набирался. Теперь он вон куда выбился, а я и досе в конных десятниках топчусь. Где справедливость, спрашивается?

* Имеется в виду 7126 год от сотворения мира, или 1618 год от Рождества Христова.

— А правда, где? — сочувственно глянула на него Варвара Пантелеевна. — Раз на то пошло, давай разберемся. Ты вон какой из себя приметный да речистый уродился — за версту видать, за две слышать. А Молчан каким был? Лицом простехонек, телом небогат, за день и пяти слов не скажет. Ни кола у него, ни двора. Как такому в люди выйти? Только своим упорством и сноровкой! Вот он и вышел.

— А я разве не своим? — растерялся от такого поворота Михалка.

— Тебе, зятек, все с первого раза давалось, а ему со второго и даже с третьего. Вот ты вожжи и расслабил. А Молчан еще крепче их перехватил. В этом вся между вами разница и есть. Так что мой тебе совет: не более чужим здоровьем, тогда и свое крепче будет.

— Как это?

— Не впадай в зависть, голубчик, тем более к шурину своему или другим близким людям. Рядом будь. На них обопрись. А они на тебя. Пусть другие вашему единству позавидуют. Все и поправится.

— Твоя правда, мамынька, — Михалка вдруг смял лицо ладонью и заплакал: — Стыдно-то как... при всем честном народе... Я, чай, уже не маленький, так меня срамотить.

— Другой раз не будешь нарываться, Мишенька, — наставительно успокоила его Варвара Пантелеевна и сама от избытка чувств носом захлюпала. — При народе-то оно памятной будет. Про Молчана не думай. Ему никто про наш разговор ничего не скажет. Так я говорю, люди добрые? — и обвела собравшихся взглядом.

— Та-а-а-ак.

— Вот видишь... А еще прими мое материнское спасибо, соколик.

— За что это? — не понял Михалка.

— Перво-наперво за то, что стыдиться умеешь. Ну и за терпение тоже. Сам сказал, что в девках погряз. Они и вправду больших забот требуют. Зато потом каждая дочь тебе по зятю приведет — по такому, как ты, а то и получше. Представляешь? Сразу четыре мужика на подхвате. А у Молчана всего один и три невестки в придачу. Тут ты ему нос и утрешь.

— Ох и хитрая ты, Варвара Пантелеевна, — разулыбался Михалка. — Не пойму, когда ты всерьез говоришь, а когда шутишь.

— Вот и хорошо, что не понимаешь. Крепче запомнится...

После того вмешательства Варвары Поломошной в мужской

застольный разговор многое в жизни Михалки Жданова переменялось. Наконец-то и он до пятидесятника дослужился. Куда как умеренней в хмельном питии сделался. Перестал царя-батюшку развозжаем или пустоплясом называть. Но главное — Молчан Лавров для него примером в жизни стал. Посидят они, бывало, вдвоем, помолчат, о смысле жизни подумают, глядишь, и откроется им, как правильной в том или другом случае поступить.

Взять хотя бы две свадьбы в одной. На первый взгляд все просто: сошлись да и отпраздновали их одним разом. Глиняная свадьба для этого вполне подходит. Ведь это и не свадьба вовсе, а очередной отрезок семейного пути, прочность которого для путей значимости принято к глине приравнивать, а другие к ткани (ситцевая свадьба), дереву, металлу или драгоценностям.

Однако начинается все с самой обыкновенной свадьбы, название которой так пока и не придумано. Назовем ее запевной или изначальной. Как кому понравится. Это и есть первый шаг на семейном пути. А сокращать его грешно. Ведь это цепь памятных событий: сватанье, смотрины, рукобитие, первый пропой, похмелки, сговор, заручение, плач, банька предвенечная, девичник, принесение даров, венчание, отводы, ну и напоследок три княжеских стола: свадебный, большой и пирожный.

Вот Молчан Лавров с Михалкой Ждановым, намолчавшись вволю, и рассудили: сперва молодым по полному чину общую свадьбу отгулять следует, а уж потом на глиняной свадьбе без вина, как любила Варвара Пантелеевна, за пирожным столом соборща посидеть.

Ну что тут скажешь? Просто и мудро.

Хоромы Молчана Лаврова оказались настолько просторными, что смогли всех вместить, как прежде в избе Корнея Жданова.

Обязанности главного дружки взял на себя Григорий Поломошный. Стоя в дверях, он «по Божьему велению, по царскому уложению, по мирскому приговору» приветствовал гостей «званных и незванных, уса́тых и бородатых, холостых и неженатых, дочерей отецких, жен молодецких, своих и посторонних, во цветно во платье наряженных, лебедушек белых во всем умелых...» и тут же весьма удачно изображал каждого из них. Потом кланялся: «Бью челом к новобрачному князю, к молодой княгине хлеба кушати. Благословляйте!» А самых почетных гостей сопрово-

ждал до отведенной им лавки, чтобы усадить «за столы бранные, за речи желанные, за яствица сахарные, за питейца медвяные».

У нас ведь как? Если пир, то на весь мир, а то и пошире.

Но для свадебного хоровода места в хоромной избе Молчана Лаврова, ясное дело, не хватило. Пришлось вывести его сначала во двор, а потом и на посад. Пока одни на качелях качаются, другие пляшут, третьи с притопом да с прихлопом вокруг них гурьбой ходят, четвертые проголосные или игровые песни заводят, частушки или потешки на местные темы поют. Вот как Весёлка, дочь Михалки Жданова. Голос у нее звонкий, нрав резвый, воображение буйное, слова занозистые:

Как на речке на Ушайке
Ехал миленький на палке.
Ноженькой постукивал,
Палочку понукивал:
«Ты вперед, мой конь, скачи,
Да мне жонку сыщи.
От ворот и до ворот
Заведем мы огород.
Там, где было пусто,
Вырастет капуста.
В той капусте ясным днем
Мы сынка себе найдем
И впридачу дочку
На соседней кочке».

А на глиняной свадьбе все больше речи говорились – веселые и грустные, пыльные и сдержанные, хвалительные и поздравительные, ну, словом, всякие. На что Молчан Лавров неразговорчив, но и тот сподобился случай из своей походной жизни под пирожки паровые с грибами, белокочанной капустой и огородной зеленью поведать.

– Родом-то я из Великих Лук, – начал он, – вырос на сказках. В Сибирь меня та из них привела, где про Беловодье говорится. Вот ладно. Роняли мы как-то острожный лес на Кондоме-реке.

Тут меня стволом карачая* и придавило. Чую: напротив сердца острый сук. Еще немного, и не жить мне. Из последних сил руками в ствол упираюсь. И вдруг будто кто-то ладошку под острие подсунил. И шепчет: «В землю вожмись!» Я и вжался, да так, что в глазах черти скачут, а из-под плеч сырая земля, как квашня, ползла. Голос опять: «Теперь вынься!» Я и вынулся. Сам не знаю как. Карачай сразу на мое место свалился, а я живой. Вот ладно. «Что это за голос был? – сам себе думаю. – Чья ладошка?» И понять не могу, право слово.

– Ну хоть какого звука он был, этот голос? – принялись допрашивать Лаврова старобрачные женки. – Мужеского али женского?

– Это я точно могу сказать. Женского.

– Вот, – оживились те, – а вдруг это Беловодская царица? Молчан ведь сам признался, что на беловодских сказках вырос.

– Мало ли каких сказок на свете не напридумано. У сибирских татар и остяков куда ни глянь, везде духи. Этот – дух тайги. Этот – дух реки. Этот – дух земли. Этот – дух горы. А какой у них у всех голос? Конечно дело, женский. Тут и гадать нечего. Это голос духа тайги был!

– Ну вот опять дважды один пять, – насмешливо вздохнул Василий Поломошный. – Какой где ни пойдешь разговор, благоверные наши обязательно на женскую дорогу свернут. Ага. Для них все на свете бабым корытом крыто.

– А нет, что ли? – гордо повела высокой грудью жена Бурнашки Помельца Наталья. – Не зря сказано: муж без жены, как гусь без воды. Народ врать не будет.

– Ты еще скажи: муж того возом не навозит, что жена горшком наносит, – сокрушенно вздохнул Бурнашка. – Это надо же. Венчаемся в Божьем саду, а куда все на бренной земле девается, никто не знает...

Пока они словами в разные стороны залетали, Молчан Лавров тушеными клецками с зеленым луком и укропом угостился, кваса из черного хлеба похлебал, запил его морковным киселем, да и напомнил о себе:

– Когда я мал бывал, сказки любил слушать, а как вырос, сам

* Лиственница.

попробовал сказать, да не слушают.

— А разве ты еще не все досказал, Молчанушка? — удивилась его верная Устинья. — Тогда извиняй. Будем слушать дальше.

— Вот ладно, — огладил кустистую бороду Лавров. — Возвращаюсь я после того случая в Томской город. Встречает меня Варвара Пантелеевна, а у самой правая пясть белой тряпицей обвязана. «Что за беда стряслась?» — спрашиваю. Она мне: «Свечой обожглась». Ну обожглась и обожглась. Мало ли что по неосторожности случается. А потом оказалось, что в тот самый час, когда я под дерево угодил, ей видение было. Вот она ладошку на огонь свечи и сунула. Чтобы мне пособить. А потом шептать взялась. Отчего и почему, сама не знает, но только в нее вдруг такая сила вошла, что я за много верст от нее смог из-под карачая вынуться. Говорят, чудес не бывает. Еще как бывает, скажу я вам.

— Я-то почему об этом только сейчас узнаю? — обиделась Устинья.

— Варвара Пантелеевна не велела говорить, — повинился Лавров. — А как ее не стало, никто меня об этом и не спрашивал.

— Она такая, — начали утирать враз повлажневшие глаза женщины. — О других пеклась, о себе забывала. Вот и сей час мы здесь вроде как сиротами сидим, а на самом-то деле у нее под крыльями. Нет, что ли?

— Человек два раза живет: с мамынькой и без нее... Ох, прости же ты нас, Варвара Пантелеевна, если что не так было... Прости ты нас...

— Ну вот, запричитали, — укоризненно молвил крепко постаревший, но еще бодрый из себя Корней Жданов. — Радоваться надо. Ведь до чего дошло: сыновей от отцов сразу и не отличишь, а девок от матерей. Стало быть, ваше время настало. Новое! Жизнь не остановишь. Не-е-ет. Дел много, а будет еще больше. Спаси бог, что память о Варваре Пантелеевне храните. Как бы она порадовалась, на вас глядячи, как порадовалась... Ну да ничего, свадеб еще впереди много. Сибирь большая. В ней места всем хватит. Лишь бы не забывалось, кто мы такие и откуда взялись. Всем напослед по сто лет здравствовать желаю, а хозяину дома двести да еще, сколь получится, всем вместе!

Прав оказался Корней Жданов: и впрямь новое время для

жителей Томского города настало. Уже в следующем, 7138 году* управление Сибирью распалось на два «стола» — Тобольский и Томский. К Томскому отошла вторая Сибирь — Сургут, Нарым, Кетск с воеводским правлением, а также Енисейск, Красноярск и Кузнецк с зависящими от них острогами, пашенными слободами и зимовьями. А томским воеводам Петру Пронскому в товарищах с Алексеем Собакиным дано было право самостоятельно принимать у себя китайских, монгольских и прочих азиатских послов.

Само собой, Томской город с его новыми полномочиями и прилежащий к нему с севера жилацкий посад не могли уже, как прежде, уместиться на мысе и материковой части Воскресенской горы. Пришло время шагнуть крепости вниз, в междуречье Томи и Ушаевой речки. Здесь спешно был поставлен подгородный острог с четырьмя дозорными башнями и четырьмя проездными воротами. По размерам он не уступал верхнему посаду и значительно дополнял его торговыми лавками, постоялыми дворами, амбарами для хранения зерна, пушнины и привозных товаров.

Вспомнив то время, когда он начинал служить в Томском городе казаком-древододелом, Семен Поломошный напросился на ставление нижнего острога. Отвечающий за артельные дела Алексей Собакин такому желанию премного удивился:

— И какая тебе от этого выгода, казаче? С твоим-то опытом. Объяснись.

— А для какой выгоды мы все на свете живем? — укоризненно глянул на него Семен. — Для самой жизни немного надо: крыша над головой, крепкая семья, честная работа, справедливость Божия и нерушимость государская. Доживем когда-нибудь и до всего до этого. А поколе мне лично хватает и того, что есть.

— Иной красно говорит, а слушать нечего, — потеплел взглядом второй воевода, — а ты в точку сказал, Семен. Ну так и становись уставщиком над плотниками. Недолго метил, да хорошо попал. Это я в том смысле говорю, что ретивому коню тот же корм, а работы вдвое...

7138, он же 1629 год оказался еще и тем примечателен, что

* 1629 год.

Томскому городу двадцать пять лет со дня его основания минуло. Но в те поры такие события не принято было отмечать. Да и некому. Воеводы, дьяки, казаки и стрельцы всех чинов и сословий в то время на одном месте больше двух-четырех лет редко задерживались. Ну а там, где не осталось первых, приходят вторые и третьи. И уже о них рождаются народные были-небыли. Одну из них по горячим следам пошества в Сибирь вымыслил не кто-нибудь, а наш старый знакомый Бурнашка Помелец.

«Жили да были на Руси братовья Поломошные, — на сказовый лад повернул он вполне житейскую историю. — Люди как люди, не хуже других прочих. С малых лет о Сибири закаменной были они премного наслышаны, а как в самостоятельные лета вошли, захотелось им изнутри узнать, что это за страна такая. Охота пуще неволи.

В одно прекрасное время отправились Поломошные Сибирь проведать, да остались в ней завтракать и обедать. Жить то есть поживать, новые земли для Москвы обживать.

Год живут. Другой. Тут одного из них, Ваську, в Москву с пушной ясачной казной послали. А на троне о ту пору царь Василий Шуйский сидел. Вот он и спрашивает у Васьки, что на Сибири хорошо делается, а что плохо. Тот похвальных слов о ней не пожалел, однако напоследок добавил, что служилые люди без православных женок в Сибири сильно бедствуют, а потому надо бы государю наказ о тамошнем разведении семей дать.

Шуйский от таких слов не на шутку раскипятился: «Думай, что говоришь, вахлак! Царь я али не царь, чтобы казаков с жонками, как петухов с курицами, сводить? Али у меня других забот нет?»

«Царю до всего есть дело, — уперся Васька, — хоть бы и до петухов с курами». Потом снова на женок перешел. «Ныне они, — речет, — для Сибири наипервейшее дело. Не зря говорится: где черт не сладит, бабу пошлет. Она одним своим присутствием больше делает, чем черт кочергой, а казак саблей».

Тут Шуйский и вовсе из себя вышел. Показалось ему, что Васька его не то с чертом, не то с казаком на одну доску ставит. Вот и велел он для порядка выпороть наглеца и назад в Сибирь отправить. Пусть сидит там и не высовывается, если жить хочет.

А для Васьки это и не наказание вовсе, а причуда жизни. Подумаешь, выпороли. Другая забота его точит: коли цари о семейном

укреплении Сибирской украины не желают печься, пора самим за него браться. Вот и захватил с собой, с Московской Руси едучи, десятка с два невест ладных да смышленных, к домашней работе с детства приученных. Пусть-ка и они Сибирь проведуют. Всякая невеста для своего жениха родится, а жених для невесты. Найдут они или нет друг дружку, от счастливого случая зависит.

Вот Васька и дал им этот случай. К его попутчицам тот час очередь из холостых казаков выстроилась. Не успели глазом моргнуть, свадьба набежала, да такая большая, каких на Сибири прежде не видывали — двадцать пар за одним столом. С тех пор Поломошные от свадьбы к свадьбе живут, старых друзей не утрачивают, новых наживают, Сибирь укрепляют. Позади у них шесть очередных свадеб, а впереди большая — серебряная».

Так закончил свою был-небыль Бурнашка Помелец. В ней две части. Та, что повествует о Поломошных, из жизни взята. Та, в которой действует бывший московский царь Василий Шуйский, рождена горячим воображением. И надо же такому случиться: в следующем, 1630 году именно эту часть предания, сложенного Помельцом, жизнь на свой лад переписала. Новый московский царь Михаил Романов особым наказом повелел: «для восполнения в Сибири недостатка русских женщин православного вероисповедания препроводить в нее 150 девок, набранных в Тотьме, Устюге Великом и Соли Вычегодской».

Стало быть, история «томских невест» дошла наконец до приказа Казанского и Мещерского дворца, а его сибирский дьяк Борис Лыкин ухитрился доложить о ней царю-батюшке. Вот колесо и закрутилось. Шутка ли: еще 150 завтрашних матерей в Сибири укоренились. А то ведь без корня и полынь не растет...

После того как Томск стал вторым стольным городом Сибири, вдруг обнаружилась нехватка людей, способных вести посольские дела. Ну куда это годится, братцы, когда горячее вино, посланное в дар предводителю енисейских киргизов, казаки в пути ключевой водой (понятно, для чего) разбавляют, а на переговорах с черными калмыками начинают вольничать, а то и непристойно лаяться, будто у себя на подворье? У них, видишь ли, натура такая. Привыкли нахрапом там брать, где выдержка надобна, умение расположить к себе переговорщиков, знание местных обычаев, хитромудрие и, что особенно важно, чистота помыслов. Не вся-

кий подьячий либо сын боярский и даже не всякий казачий атаман такими способностями обладает.

Тут-то новые воеводы на братьев Поломошных внимание и обратили. За высокое жалование и должности они не держатся, папку перед началом не ломают. К Томскому городу за двадцать с лишним лет душой прикипели. В какие только края их судьба ни забрасывала, как ни ломала, а их назад, как магнитным камнем, тянет. Опять же это о них в низах были-небыли слагаются, а в верхах сам царь Михаил Романов, от тех былей и небылей оттолкнувшись, о женском вопросе для Сибири задумался. Ну и, наконец, сибирские языки и наречия Поломошные неплохо освоили. В случае чего и без толмача обойтись смогут. Посольскому человеку это край как надо.

Да и время, прямо сказать, было непростое. В очередной раз тайша белых калмыков Абак и его зять, князь чатских татар Тарлава, между собой замиряясь, шерть* на верность Москве нарушили. Мало того, что сами ясак ей перестали платить, так еще и с ясачных людей Томского «стола» принялись его вымогать. Не со всех, понятное дело, а с тех, чьи волости дальше других от Томского города отступили. Что ни день, новые бесчинства творят. Там посеы пашенных крестьян вытопчут, там охотничьи станы и рыбные ловли захватят или на казачьи заставы нападут.

На языке кочевых племен такие разбойничьи набеги принято называть барантой. Отправляясь в очередной набег, барантовщики вооружаются нагайками, а не саблями, обухами, а не луками, печными клюками (ожогами), а не копьями, подчеркивая этим, что главное для них — скот отогнать, животы** пограбить, пленных захватить, но без кровоубийства, чтобы потом мстить за них к ним самим не вернулась. Абак хитер: грабя подданных Московского государства, он с ним вроде и не воюет. Что до баранты, то ее на самовольство подчиненных всегда списать можно. Пойди разберись потом, что это на самом деле было.

В отличие от Абака и Тарлавы внук покойного правителя Сибири хана Кучума Аблай в Томские земли приходит непременно

с войной. Более тридцати лет держит он в кулаке иртышских и барабинских татар. Ныне, соединяясь с орчаками князя Коксежа и телеутами тайши Абака, намерился он пограбить Шегарскую волость, а потом подпалить сеном и берестами Кузнецкий острог, а его служилых и ясачных людей перебить всех без жалости.

Вот и отправил Петр Пронский посольский отрядец под началом Семена и Василия Поломошных к Абаку — остеречь от разбойного сговора с Аблаем и Коксежем, а заодно попытаться вернуть его под высокую царскую руку Москвы.

По пути в Большой улус телеутов заспорили братья: как лучше разговор с тайшою вести — мягко или жестко; через толмача Танайку Тимошина или самим? Решили, что так и так правильно будет. Жестко пусть говорит Семен, мягко Василий. Деловые речи пусть Танайка перетолмачивает, а с личными и сами управятся.

Посольские прения выпало начинать Василию Поломошному. После положенных в таких случаях витиеватых приветствий он скорбно возрился на крепко пожившего бронзоволицего Абака и намеренно дрогнул голосом:

— О, многочтимый тайша! Услышь, как плачет основанный у Томского города по твоему челобитию беспоплаинный Калмацкий торг, — тут он тяжело вздохнул и объясняющее продолжил: — Да и как ему не плакать, если нынче с коровами и коньми, с кожами и пушшиной, с шубами и прочим базаром на него приезжают всего один-два торговых телеута? А сколько раньше бывало? Ты только вспомни.

Танайка Тимошин, и голосом, и видом подражая Василию, слово в слово его перетолмачил.

Абак поневоле зашевелил губами.

— Ага, — подтвердил Василий, а за ним и Танайка. — И по пятьдесят бывало, и поболее. Особо благодарствуем за коров. Ведь на их молочишке столько наших детишек за двадцать лет выросло.

— Зачем плакать? — исполнился дружелюбия осторожный Абак. — Это нынче у вас на торгу всего один-два телеута, а стоит захотеть, завтра караван будет.

— И что для этого надо?

— Мои люди спрашивают, — вопросом на вопрос ответил Абак, — почему скот и пушнину им только на замки, капканы и прочие домашние изделия дозволено менять? Почему нельзя

* Присяга.

** Имущество.

менять на порох и ружья?

— Время уж больно беспокойное, премудрый. Увы, ружья стреляют не только в зверя, но и в нашу сторону. Ага, — ответил Василий. — Как бы ты поступил на месте наших воевод? Позволил продавать оружие?

— Быть может, ты назовешь имена моих людей, которые стреляли в сторону Москвы? — бесстрастно осведомился Абак.

— Нет. И ты не хуже меня это знаешь. Они свое имя на пулях не оставляют. Тем более на ожогах и нагайках, с которыми на баранту к ясачным и служилым людям приходят. Как же нам в таком случае быть?

В посольской юрте повисла звенящая тишина.

— Правильнее всего, — дружелюбно подсказал Семен Поломошный, — вспомнить шерть, которую ты дважды нашему государю дал, тайша. Первый раз при воеводах Волынском и Новосильцеве. Мы тогда с Василием только-только служить начинали. Второй раз при Бабарыкине и Хрипунове. Во второй раз ты сначала вину царскому величеству за нарушенное слово принес, а потом вновь ему шертовал. Пронский и Собакин новой вины с тебя не требуют, на твоё достоинство полагаются. И мы тоже. С тем и прибыли.

— Слово «достоинство» звучит тепло, — одними губами улыбнулся Абак, — хоть шубу не заменит, зато душу согреет.

— Правда чиста, как молоко матери, — не дожидаясь, пока Танайка Тимошин перетолмачит сказанное тайшой, задиристо выпалил Василий Поломошный. — С ней не поспоришь.

В глазах Абака появился живой интерес.

— Я вижу, мудрые изречения моего народа тебе известны, урус. Тогда ты должен знать и такое: посеяв колючки, травы не накосишь.

— Прости, светлейший, если напоминание о шерти тебе показалось колючками, — приложил руку к груди Василий, — но правдивость сказанного извиняет его горечь.

— И все же, я думаю, от осторожной речи губа не заболит.

— А я еще такое в ваших краях слышал, — снова вмешался Семен, — кусачая лошадь зубов не показывает. Разве мы на нее похожи?

Тут круглое лицо Абака словно надвое распалось. Верхняя половина потемнела от гнева, нижняя расхохоталась, да так по-детски, что искры смеха с нее начали перепрыгивать все выше и выше.

А когда они заполнили все лицо, тайша стал похож на полуседого мудреца с добрыми печальными глазами.

— Да будет так, — примирительно молвил он. — Если правая рука затевает драку, пусть левая разнимет. А язык пусть честно обо всем скажет. Им и занозу при согласии вынешь...

Два дня длились переговоры Поломошных с Абаком. Тайша не стал изображать из себя лису, которую за хвост не ухватишь. Он сразу признался, что главная заноза в отношениях Москвы с Большим улусом телеутов в том заключается, что томские воеводы при всяком удобном случае норовят под себя ясачных людей Абака взять. А ведь в шерти московскому государю прямо сказано, что, принимая русское подданство, князья телеутов сохраняют за собой не только полную самостоятельность во внутренних делах, но и пастбища, уголья, данников.

В подтверждение своих слов Абак привел немало примеров нарушения этого соглашения и несколько случаев, когда томские воеводы не пришли ему на помощь при нападении на его улусы черных калмыков и джунгар-ойратов.

Внимательно выслушав тайшу, Поломошные во многом согласились с ним, но при этом заметили, что обидевшие его воеводы Гаврила Хрипунов и Иван Секерин, Иван Шаховской и Максим Радилов, Осип Хлопов и Иван Норманский давно сменились. Зато абаковы люди и ныне приходят в Томские земли ясачных, пашенных и служилых людей грабить и побивать. Больше всего страдают от них мирные эуштинцы, ясачные шорцы и прочие кузнецкие люди. А ведь в шерти Москве и о том сказано, что Абак и его люди обязуются русские города и уезды не воевать, с изменниками не ссылаться, в заговорах и злых умыслах не участвовать, а служить и прямить Москве своими головами. Поэтому и ясак с них брать не велено.

Тут тайше выдержка изменила. Он вдруг повинулся, что это его соперник Мачик Койшебурин с барантой в Томские и Кузнецкие земли приходит, а вина за его разбой целиком на Абака ложится. И с Эуштой у него, как нарочно, отношения после смерти князя Тояна испортились. Дружба уступила место вражде, вот и не стало у них мира. Такие раны не скоро затягиваются.

В конце концов Абак и Поломошные пришли к невеселому выводу, что разногласия между Москвой и Большим улусом Абака

не на пустом месте выросли и разом их не решить. Но ищущий найдет, а верящий дождется. Главное сейчас – не поддерживать воинственных устремлений хана Аблая и его подручников Коксежа и Тарлаву. Пусть костер, который они задумали разжечь, поскорее угаснет.

С тем и вернулись Поломошные в Томской город. А с ними караван телеутов с дорогими товарами на Колмацкий торг прибыл. С Воскресенской горы за рекою Томью его хорошо видать. Широкий луг, утопанный прежде скотом и людьми, расцветился вдруг, как восточный базар, желтыми, белыми, синими, красными навесами, пестрыми одеждами и головными уборами. Задымили костры. Ржанье коней, мычанье коров, блеянье коз и овец слились с людскими голосами.

– Что у нас нынче за праздник, служилые? – начали расспрашивать караульных высыпавшие на посад под дозорные башни бабы.

– Да вроде Колмацкий торг зашевелился, – отвечали им сверху те. – Кажись, опять с Абаком замирились.

– Слава богу! Скорее бы уж ему воевать надоело...

С тех пор братьям Поломошным во многих посольских походах довелось участвовать, но теперь самостоятельно. Да и зачем, спрашивается, одного дельного и опытного человека товарищем* к другому ставить? Пусть лучше каждый из них за двоих потрудится.

Вот, скажем, Семен Поломошный в другой раз в Большой улус приобских телеутов спорные вопросы вокруг рыбных ловиц в междуречье Ини, Лаилхана и Берди распутывать прибыл, другие попутные дела решать. А там сыновья разгромленного русским войском у Чингисского городка** князя чатских татар Тарлавы скрываются. Неудивительно, что они к деду своему по матери Абаку прибежали.

Абак у Семена и спрашивает:

– Что посоветуешь в таком случае делать, Большая Голова?

Семен не раздумывая отвечает:

– Пусть Итегмень и Коймас шерть на верность московскому государю дадут, многочтимый. Я и мои люди по всем правилам ее примем. Вот и останутся они в чатах лучшими людьми.

– Ну что ж, – вздохнул Абак. – Всяк на свой лад шубу кроит. Джигиту цена – сто коней, цена его чести во много раз больше. За твое хорошее я томским воеводам рыбные ловища на правом берегу Оби-Умара без спора уступаю.

Сказано – сделано. Присягу на верность Москве они тут же составили, а Семен ее красиво нарисовал. Заканчивалась она обязательством княжичей «в государевы города и в уезды самим не ходить и людей не посылать», а также (для пущей важности) «от Алтына царя и Казахской орды оберегать».

Ну а дальше все как по маслу пошло. В аил-эргее, что значит «юрта-дворец», собралась телеутская знать. Большинство разодело богаче и краше своего предводителя. Особенно его соперник Мачик Койшебурин и сын-наследник Абака Кока. Семен с чувством зачитал шерть – сразу на алтайском языке. Сыновья Тарлавы голос и руку к ней с почтением приложили. Затем каждый из присутствующих чашу золотого вина выпил – иначе говоря, хмельную алтайскую араку, подкрашенную бронзовым порошком, которыми воины щиты и кольчуги начищают.

Думал Семен, что за самоуправство с шертью Итегменя и Коймаса наказание от воевод получит, а получил благодарность и более высокое, чем ожидал, пожалование. А вскоре появились в Томске и сами наследники Тарлавы. Война с чатами окончилась миром.

Посланному через год на средний и южный Алтай к телеутам Василию Поломошному пришлось иметь дело уже с Кокой Абаковым. После смерти отца он стал предводителем белых калмыков. Умный, деятельный, но слишком засидевшийся в сыновьях-наследниках, он встретил Василия почти враждебно. Но расстались они людьми, расположенными друг к другу. Видимо, сумел Василий найти подходы к нему, а вместе с ним и к внуку Абака Табунке Кокину.

В том же 7144 году* монголы-ойраты, прозванные в народе чер-

* Заместителем.

** Ныне село Чингисское Ордынского района Новосибирской области.

* 1635 год

ными калмыками, образовали Джунгарское ханство. Во времена завоевательных походов Чингисхана джунгары составляли левое крыло его войска. Это были воины всех похвал – богатырски сложенные, смелые, хладнокровные, верные своему долгу. Такими хотели видеть себя и их потомки. Но время во многом изменило их быт, дух, представления о мире, разделило на мирные и воинственные племена.

С мирными у Москвы давно установились добрососедские отношения. «А как они будут складываться с Джунгарским ханством?» – озаботилась Москва. И велела очередным томским воеводам Николаю Егупову-Черкасскому и Федору Шишкину провести посольскую разведку. Хорошо бы такую, которая показала мощь, миролюбие и независимость Русского государства.

Тут, ясное дело, речь снова о Поломошных пойдет. На этот раз посольство в далекие восточные земли возглавили сын Молчана Лаврова Семен, дослужившийся к тому времени до чина сына боярского, и Семен Поломошный, приставленный к племяннику «порутчиком», а проще говоря, советником. Им удалось привести в русское подданство ойратского тайшу Исентея и князя орчаков Кохтобея, которые дали клятву «великому государю служить и прямить, и добра во всем хотеть, и удушных людей с торгами в Томской город посылать».

Вернулись два Семена в родной город с богатыми подарками царю и томским воеводам. Их сопровождали знатные ойраты Ерок и Черок. А к Алтын-хану монгольскому тем временем отправилось посольство, в котором набирался опыта старший сын Василия Поломошного Богдан.

Не счесть большие и малые походы, в которых участвовали братья Поломошные и их вымахавшие до небес сыновья. Для многих послужильцев такая жизнь – кара господня. Шутка ли – тысячи верст туда-сюда отшагать, на веслах пройти или в седле оттрястись. Тут даже Москва-матушка тещей покажется. Она, чай, не на соседней улице находится, а за полсвета от родного Притомья. А Поломошным чем дальше путь, тем он притягательней. Их в оглобли ставить не надо, они в них сами, едва завидев вожака, бегут.

Вот и с Ивашками Поломошными, точнее сказать, с детьми братьев Поломошных так вышло. Тот, что постарше да побойчей,

первым сыном Григорию Поломошному доводится. Тот, что помладше, – вторым сыном Василию Поломошному. Чтобы не путать одного с другим, Васильева последыша прозвали Иванькой. Очень уж он большой, добродушный, необидчивый. Сапоги на нем лаптями смотрятся, шапка – птичьим гнездом, а казачье одеяние – хламыдой*. Зато душа у него поистине христианская. Всем душам душа. Одним словом, Иванька.

Едва среди томских атаманов, казаков, торговых и промышленных людей пошли разговоры о том, что хорошо бы на реке Лене и ее притоках охотничьи землицы проведать, Ивашка с Иванькой тут как тут:

– Нас не забудьте, атаманы!

Могли бы и не напоминать о себе. Таких, даже если очень захотеть, вовек не забудешь. Ивашка за двоих смышлен и речист. Иванька за двоих силен и покладист. А пользы в пути от них не меньше, чем от пятерых выходит. Вот и на этот раз они одними из первых оказались.

Велика и могуча река Обь. Сурова и прекрасна. В сибирских сказках ее ласково матушкой величают. Зарождается она в золотых и пестрых горах, течет все больше по холмистым таежным долинам, богатым ценным зверем, птицей и рыбой, и уходит под таинственные льды студеного моря-океана. Сам ее облик – сказка.

Широко разливается Обь в половодье, но не кипит, не пенится, как зажатый во многих местах скальными стенами ее брат батушка-Енисей. Это вторая река-сказка Сибири. Переправившись через нее, томские казаки устремились к их любимой сестре Лене.

Шли долго, трудно, отчаянно, одолевая таежные хребты, сплавляясь по стремительным рекам, попадая в ожесточенные войнишки между соседними родами приенисейских тунгусов**. Чаше всего войнишки эти рождала кровная месть, похищение женщин, споры из-за оленьих пастбищ и охотничьих угодий. А порой и недоразумения.

Именно так случилось с томскими казаками. Узнав, что каждая из рек, по которым они продвигались, принадлежит тому или

* Плащ, накидка.

** Эвенки.

иному роду тунгусов (эвенков), Ивашка Поломошный по своему обыкновению пошутил:

— А не прикупить ли нам, ребята, у здешних мужиков пару-тройку рыбных рек и соболиных углов? Глядишь, назад прибыльными хозяевами вернемся.

— Держи карман шире, Ивашка. Може, и влезет в него тая дуля, — охотно включились в веселые суды-пересуды казаки. — А если не влезет, как быть тогда?

— Очень даже просто, — не растерялся Ивашка. — На помощь я брата Иваньку кликну. То, что в карман не влезет, он ковром завернет. Да так завернет, что ни одна речная капля не прольется, ни один таежный лист с ветки не упадет.

— Тогда покупай, — одобрительно закивали казаки. — Или укради. Это даже еще лучше. Тут рек больше, чем хозяев... Слыхали, какая теперь у царских заворуев молитва? «Господи, прости, в чужую клеть пусти: пособи нагрести да вынести».

— Но, но! — вмешался в разговор бдительный атаман Дмитрий Копылов. — Говорите, да не заговаривайтесь, служилые. Чтоб про царя худых слов больше не было. И ты, Ивашка, людей зря на глупости не сбивай. Беду накличешь...

И ведь впрямь накликал. Через день нагоняет казаков тьма тунгусов из рода Куркагир. С ними они перед этим мирно встретились и мирно разошлись. Многие из тунгусов в панцирях и шлемах, с мечами или с луками в руках. Впереди нёрамни (предводитель) и сенинг (шаман). Кричат, потрясая оружием:

— Вы зачем наши реки украли, орусы? Или у вас своих рек нет? Или вы войны хотите?

Оказывается, тот шуточный разговор казаков возле стойбища Куркагир кто-то из тунгусов слышал и знатным людям своего рода не шуточно пересказал.

Стал казачий атаман с шаманом и нёрамни разбираться, как можно реку украсть, если она на том же самом месте осталась? Те в ответ: река-то осталась, а рыба исчезла. Вода чужая. Воздух над ней мертвый — птицы не летают. Куда делись? Никто не знает. Верните рыб, орусы! Верните воду! Верните воздух и наших птиц, не то пожалеете! Вот как шаман им головы заморочил.

Хоть назад возвращаясь, чтобы доказать, что река жива и здорова. А если казаки этого сделать не захотят, остается одно:

поединок сонингов (богатырей-предводителей), не мешкая, устроить. Он определит, на самом деле река украдена или это куркагирцам только показалось.

Делать нечего, пришлось согласиться на поединок.

Тунгусы радостно загалдели и выпустили вперед могучего воина. Лоб, щеки, окружье рта и руки его были расшиты темными сухожильными нитями. Из-за этого казалось, что узкие глаза, крупный нос и плотно сомкнутые губы его начертаны угольными линиями. Жесткие волосы, сложенные незаплетенными косицами, стянуты на темени тугим пучком. Кафтан пошит из шкуры белого оленя и зашнурован на груди меховыми тесемками. На широком поясе — нож. Голенища необычайно длинных унтов поднимаются до паха. Фигура зловещая и вместе с тем по-звериному мягкая, пластичная.

Навстречу тунгусу, ни слова не говоря, шагнул улыбчивый Иванька Поломошный. Кому же еще?..

Борьба, надо думать, была жаркая, переменчивая, но победа все-таки за Поломошным осталась. Обнял Иванька тунгуса после нее и говорит:

— Не обижайся, дяденька. Мы вашу реку и правда не брали. Ступай спокойно домой. Будет вам и рыба, и вода, и воздух. Куда они денутся? Одним словом, со знакомством тебя! Вон ты какой здоровущий. До сих пор отдышаться не могу.

Тот в ответ сдержанно улыбнулся, снял с пояса нож и протянул Поломошному. Иванька в ответ своей повывавшей виды шапкой отдался. Ничего лучшего у него в тот час под рукой не нашлось...

Так вот, переходя с реки на реку, и добрался томский отряд до берегов Лены. К тому времени енисейские казаки срубили там зимовье в устье реки Илим и Ленский острог. В стороне от них, на Алдане-реке, томичи поставили свой острожек — Бутальский. Перезимовали. Обжились. Начали в пользу Томского города с тамошних тунгусов и йэкэ (якутов) ясак собирать.

Тут второй томский атаман Иван Москвитин, бывший до того в товарищах у Дмитрия Копылова, захотел от него отделиться и дальше своим отрядом до теплого моря-океана, которое тунгусы называют Ламой, идти.

Дело решили по общему согласию. Сначала Копылов короткую речь сказал, потом Москвитин. Ну а после каждый казак свой

выбор сделал, шагнув к тому или другому атаману.

Москвитин в меньшинстве остался, зато не в обиде. Двадцать томских послужильцев к нему примкнули. Удалец к удалцу. Среди них, ясное дело, Ивашка с Иванькой Поломошные.

— Веди, — говорят, — нас, Иван Юрьевич, туда, где мы сроду не сеяли. Будем собирать то, что сроду не расточали. Не то нас ясачные будни вконец затаскают.

— Ясачные будни, конечно, не подарок, — усмехнулся Москвитин, — но ведь и от праздников оскомины бывает.

— Праздник — проказник, да не тем дан, кто зовется Иван, — развеселился Ивашка Поломошный. — Сам знаешь, у нас праздники не рублем меряются, а душой.

— С нее и начнем... с души, то есть... с ваших душ, казаки, — легко перешел к делу Москвитин. — Попросим их издавить струги и лодьи такой крепости, чтоб в пути не рассыпались. Ведь реки Мая и Улья, по которым нам предстоит идти, куда круче и стремительней, нежели те, по которым до Алдана мы добирались. Запасы на дорогу велю уложить в надежные короба. Одежду подшить. Словом, готовьтесь к хождению на ту сторону света.

Казаки посерьезнели. Поняли, что поход предстоит крайне опасный. Но от этого сил у них только прибавилось.

Пока шли приготовления, Москвитин сговорил в свой отряд десять красноярских казаков и два проводника-тунгуса. Получилось былинное число — тридцать три. В ту пору такие числа большое значение имели.

И вот настал день, когда стрежовое течение сурового нелюдимого Алдана легко подхватило плавучий отряд Ивана Москвитина и понесло его к новым испытаниям. Хорошо плыть по течению, не изнурая себя весельной работой, отдаваясь то волнующим мечтам, то артельной песне, то свободе и многозвучному безмолвию вокруг. Но уже вскоре казакам пришлось свернуть с Алдана на реку Маю и по ней против течения то бечевой, то на шестах и веслах много недель подряд не плыть, а вскарабкиваться на вершину нескончаемой горной стены Джугджур, напоминающей Каменный пояс — тот самый, на котором нашел свой последний приют дед Ивашки и Иваньки Поломошный Иван. На прямом волоке к Улье, исток которой лежит уже по ту сторону хребта, братья дорожный крест, сами не зная зачем, поставили. Поставили и всё тут. Ста-

ло быть, так сердце подсказало. Мало ли еще Ивашек пройдет по этому пути? Привет им и низкий поклон от Поломошных!

Кое-как соорудив из разбитых на Мае и Нюдме судов вместительную байдару, казаки понеслись вниз по Улье-реке, обходя гряды водопадов, ударяясь о камни, калечась, падая от усталости, но при этом радуясь, как дети. На семьдесят седьмой день (опять былинное число!) перед ними вдруг разом открылся бескрайний, лазурно-голубой, подернутый легкой дымкой и крыжиками морских птиц окоём.

— Ох же и красота! — заохали служилые. — Ох же и простор! Ох же и мы, раз сюда добрались!

— Охота была, вот и добрались, — рассудительно заметил Иванька Поломошный и смахнул счастливую слезу.

Кто знает, может быть, это «ох» и подсказало русскому человеку, как то море-океан называть. Ну, конечно, Охотским.

А вот и третье былинное для Томского города число: в 7147 году от сотворения мира, в 1639 году от Рождества Христова ему тридцать пять лет со дня основания исполнилось. Всего тридцать пять! А куда за это время казаки дошагали? До Тихого океана! Первыми из русских землепроходцев на Сахалине, Шантарских и других островах побывали, сведения о них под запись дьякам по возвращении изложили. И легли те сведения в общую копилку малых и больших открытий Руси великой. И родили новые походы и новые открытия.

ЦАРСКАЯ ЛОЖКА

Много и других памятных историй можно рассказать о казаках Поломошных. К тому времени они Сибирь вдоль и поперек исходили. Вот уж и впрямь землепроходцы. Так до конца жизни Бог их по земле и водил, жизни учил, Московское государство укреплять помогал. А Григория Поломошного, с сыном которого Ивашкой и племянником Иванькой мы только что на берегу Охотского моря расстались, так и вовсе на стезю церковного служения вывел.

Правду сказать, рвением по этой части Григорий с малых лет не отличался. Когда все в доме молились, и он молился, когда все крестились, и он крестился, когда семейно в церковь шли, и он вместе со всеми не без трепета в нее вышагивал.

Мать Гришки, в ту пору просто Варюха, ему сызмальства внушала:

— Все в мире творится не нашим умом, а Божиим судом, сынок. Всяк про себя, а Господь про всех про нас думает. Аще он с нами, никто же на ны (против нас).

Поначалу Гришка молча ее наставления выслушивал, а потом заартачился:

— Ничего себе Божий суд! Одним — всё, другим — ничего! Да это, ежели откровенно сказать, прямое попущение мироедам. Не зря люди говорят: что толку тому Богу молиться, который не милует?

— Ох же и путаник ты, Гришка, — вмешался в те пересуды отец. — Пора бы тебе понять, что мироедов не Бог пестует, а дьявол. Грех сладок, человек на него падок. А Господь на каждого из нас по силе крест налагает. В этом и есть его суд и милость. Не праздник он православным дарует, а испытание души. Осуждая всевышнего, бойся в сети дьявола попасть.

— Кого Бог любит, того и наказывает, — подтвердила мать. — Ни хитру, ни гораду, ни убогу, ни богату суда Божия не избежать...

С тем Гришка за Камень и подался. Здесь его ждало великое дело — укреплять, расширять, обживать Сибирь. Но, Боже праведный, с какими искривлениями человеческого бытия он столкнулся, с каким упадком веры! И все потому, что далеко не безгрешным людям выпало строить и духовно окормлять Сибирь. Очень уж много

среди них ссыльных, душегубов, беглых, праздных, воровских, гулящих и прочих проходимцев, набранных на скорую руку, оказалось. Даже похвальные от природы люди, попав под их влияние, кресты переставали носить, покаяния и молитвы творить, постные дни соблюдать. Да что постные дни, даже блуд, лихвы и жестокосердие к греховным деяниям они уже далеко не всегда относят.

А воеводы и дьяки, которым положено вместе с иереями божескую власть укреплять, сами ее то и дело попирают. До того иные из них самовластны стали, что могут священника с богомолia вместе с притчем* на городские отработки взять, от церковных дел за непослушание отстранить, а то и в тюрьму упрятать. Будто перед ними дворовые людишки, которых дозволено по своему хотению унижать и сечь.

Широка Сибирь, но и ста приходов в ней, если строго посчитать, не наберется. Белые (приходские) и черные (монастырские) попы здесь не держатся, особенно в глубинках. Очень уж несладко им там приходится. От повинности, по которой их в Сибирь наряжают, одни бегают, а другие долго на этом свете не живут. Оттого ныне церкви подолгу без пения и стоят.

Вот и взяла Григория обида за Сибирь, за сиротствующие церкви, за себя и за родню свою многочисленную. Жить — Богу служить. А мы что делаем?

Тут сам Господь Григория и вразумил:

— Свято место пусто не бывает. Придется тебе, сыне мой, и на духовной ниве потрудиться. Выручай! Сам видишь: ставить в батюшки некого. Но сперва ответь: в чем разница между долгом и повинностью?

— В том, что повинность отбывают, а долг исполняют, — без запинки выпалил Григорий.

— Истинно речешь... Буквенную грамоту ты, как я знаю, в детские поры под началом церковного дьячка постиг. Это похвально. Опыт жизни имеешь. Опять же голос у тебя весомый, басовитый. С таким и за молитвенную грамоту не худо взяться. Свет в храме от свечи, а в душе от молитвы. Мой тебе совет, Григорий: не слушай, где куры кудахчут, слушай, где люди молитвы творят. Там

* Церковнослужители одного прихода.

твое наипервейшее место теперь будет. А напоследок ответь-ка, о ком это сказано: трижды венчан, а жена одна?

— Суди, Господь, волю свою, — замылся Григорий, — но только ответ никак мне на ум не идет.

— Давай тогда вместе помыслим. Жена у тебя есть. И венчан ты с ней не на обычной, а на артельной свадьбе. Осталось церковное венчание к ней добавить. Теперь понял, куда я клоню?

— Теперь понял, — облегченно глянул на Него Григорий. — Над кем стряслось, над тем и сбылось...

Так вот и стал конный казак церковным батюшкой. Благословил его на духовное служение Сибири сам Господь, а рукоположил во священники, минуя дьяконство, иеромонах Троицкой соборной церкви владыка Киприан.

В тот день, когда это случилось, прискакал в Томской город голец из Мелесского острога с плохой вестью: немирные киргизы, соединясь с черными калмыками, напали на крепость, две стены и часть ее построек выжгли, в том числе алтарь и притвор Успенской церкви. Край как нужна немедленная подмога.

На помощь осажденным тогдашний томский воевода князь Иван Ромодановский тот час отряд казаков отправил, а с ним новоявленного воина Христова Григория. На счету Поломошного немало схваток с немирными сибирцами. Смел, расторопен, удачлив. Вот пусть и послужит его ратная доблесть примером для служилой паствы.

Однако в первой же схватке с киргизами Григорий повел себя более чем странно. Вместо того чтобы разить прорвавшихся в острог степняков, он стал бить их плашмя саблей по головам, по плечам, сшибать с коней заостренным посередине щитом-торчем, гнать прочь, словно заполонившее чужой огород бестолковое стадо. Так ни одного набегчика насмерть и не засек.

— Ну и ловок же ты, дядюшка, с нехристями в поддавки играть, — устыдил его после сын Молчана Лаврова Петр, руководивший казаками, прибывшими на помощь мелессцам. — В другой раз вместо сабли метлой запасись. Ловчее махать будет.

— Саблей-то я уже намахался, милый ты мой племянничек, — набрался терпения Григорий. — Теперь у меня другая забота — людей единить. Иноязыких. Иноверных. Всяких. Ибо кто нам сего дня на Сибири супротивник, завтра может союзником и даже

подданным Москвы стать, а нехристь — христианином. Зачем же мне, служителю церкви, их на саблю брать? Пусть видят, что нынешним днем дело не кончается. Что Божий крест не к драке зовет, а к примирению или даже к согласию, — тут Григорий, облаченный в холщовую рясу, порванную в нескольких местах, тронул наперстный крест на груди и со вздохом добавил: — С другой стороны, если бы я участия в драке с киргизами не принял, что бы казаки обо мне подумали? Вот и пришлось воевать как Бог на душу положил.

— Не сердчай, батюшка, что я об тебе не так подумал, — словно небо от туч, очистилось от хмурости лицо Петра Лаврова. — Кривую стрелу Бог прямит. Теперь вижу, что не до поддавков тебе было... Вон как оно в жизни бывает. Родитель мой Мелесский острог ставил, а мне его поднимать из гари придется. И с киргизами отношения улаживать. Вот бы в совете с тобой, а?

— В совете так в совете, — улыбнулся Григорий, — не чужие, чай...

Первым делом он принял Успенскую церковь починивать. В напарники взял такого же дюжего, как сам, пономаря Савку Жито. Вдвоем они оба прируба — венец к венцу — без посторонней помощи уложили, да так умело, что завзятые плотники им бы позавидовали.

Столь же быстро и слаженно казаки и посадники залатали острожные стены, амбары и жилые постройки. Все ждали, когда наконец начнутся в Успенской церкви богослужения. И вот дождались. Пономарь Савка Жито заиграл колокольными перезвонами, созывая к храму православный люд.

— Христос посреди нас! — взволнованно встречал народ отец Григорий.

— И есть, и будет! — сердечно ответствовали ему прихожане.

И такое волнение вызывали эти простые слова, что многие обнялись и расцеловались, словно после долгой разлуки.

— Не так живи, как хочется, а так живи, как Бог велит, — начал свою первую проповедь отец Григорий, а закончил ее уверенным: — Что народ увидит, то и Бог услышит!

Он свято верил, что так оно и будет.

Вскоре выяснилось, из-за чего киргизы чуть дотла Мелесский острог не выжгли. Ложным слухам поддались, вот из-за чего. Дошло до них, будто новый московский царь Алексей Михайло-

вич подписал указ, который велит ближних и дальних кызыльцев, а с ними качинцев и аринцев насильно окрестить в русскую православную веру греческого закона. Такие слухи рождаются либо по крайней доверчивости, либо по злому умыслу. Вбросить их легко, оспорить трудно. А надо! Вот и поручил Петр Лавров эту ответственную миссию отцу Григорию. Ведь он, прозорливец, все наперед предугадал. Стало быть, ему с киргизами отношения и предстоит налаживать. Но и о прямом своем деле при этом не забывать — духовным пастырем для прихожан своей церкви оставаться.

Пришлось Григорию совмещать прямую церковную службу в Успенской церкви с переговорными встречами с предводителями киргизских аймаков. Добирался он до них то рекой, то конем, то пешке. Главным его оружием в этих рискованных походах были Святое Писание, требный крест да епитрахиль. Попутно встречался с мирянами окрестных займок и починков. Крестил, венчал, исповедовал, отпевал, служил вечерни, заутрени и обедни. Наставлял сибирян на путь Божией истины.

Затем отец Григорий стал батюшкой Покровской церкви Маковского острога, поставленного там, где начинается волок с реки Кети на Енисей. Из-за этого волока между казаками и тамошними остяками порой вспыхивали тяжбы. Одну из них и пришлось улаживать Григорию Поломошному.

Еще позже служил он в Спасской церкви Баргузинского острога. Там его земной путь обрывается и начинается небесный...

Простимся с ним и вернемся к старшим братьям.

С тех самых пор, как Семен Поломошный в разговоре с братом Василием обронил крамольную мысль о готовности томских казаков у себя Дон завести, прошло без малого сорок лет. За это время воеводы и приказные дьяки не раз поменялись, но злоупотреблений от этого меньше не стало. Оно и понятно. Даже самый некорыстный человек, посланный в Сибирь своим высоким чином кормиться, со временем начинает больше не о службе думать, а о собственной выгоде.

Не раз возмущенный воровскими ухватками царских наместников вскипал томский люд, но всякий раз власти удавалось расколоть смутьянов — одних запугать, других приручить щедрыми посулами и мелкими подачками, третьих заставить

отойти в сторону и ни во что не вмешиваться.

Однако, долго терпя, и камень треснет. Лета 7156 от сотворения мира, или в 1648 году от Рождества Христова, так и случилось. Сразу во многих углах Московского государства народное терпение лопнуло. В самом царь-граде, по свидетельству летописцев, великая шатость сделалась. Стрельцы и черные люди многих именитых бояр и дворян, думных дьяков и состоятельных гостей*, в том числе главу Сибирского приказа князя Алексея Трубецкого, чуть не до смерти побили, а дома их разграбили.

Такая же шатость перед тем и в Томском городе случилась. Но поскольку Сибирь, слава богу, до бояр, всемогущих царедворцев и денежных воротил ни тогда, ни после не доросла, пришлось служилым и посадским низам крушить главного в городе заводу — воеводу Осипа Щербатого и его приспешников.

Одним из первых в круговерть этих бурных и до предела обостренных событий попал, конечно же, Семен Поломошный. За прямой и неуживчивый нрав начало его не любило, зато казаки называли меж собой справедливым. Потому и доверили вкуче с сыном боярским Федькой Пушиным везти в Москву короб с челобитными, отписками и допросными речами, из которых следовало, что томский войсковой круг вкуче с жилецкими, пашенными и ясачными людьми завел-таки у себя Дон.

И покатился один бунт навстречу другому. О том, что царь-град тоже встал на дыбы, Семен Поломошный и его товарищи узнали уже в первопрестольной. Обычно праздничная, многолюдная, шумная, она вдруг обезлюдела, попряталась, приумолкла, стражами порядка наполнилась. Попробуй мимо них в Сибирский приказ пробиться.

Но Семен Поломошный человек бывалый. Нашел лазейку. Хотя и один, без товарищей, сумел попасть за Кремлевские стены. А там мимо писцов, подьячих и прочих служащих Сибирского приказа и в палату самого Григория Протопопова, думного дьяка, прорынуть.

Увидев на пороге незваного посетителя, тот вздрогнул и недовольно задвигался:

* Иноземные или иногородние купцы, имевшие в Москве свои дворы.

— Кто такой? Почему здесь?

— Томского города десятник Семен Поломошный с посланием! — смело доложил тот и шевельнул берестяным коробом.

— Подойди, — поколебавшись, разрешил худой, чуть не до черных по-птичьи круглых глаз заросший сивой бородой дьяк. — Имя твое мне слышать вроде доводилось. И лик знаком. Похоже, ты у нас в приказе уже бывал?

— Приходилось, — подтвердил Семен Поломошный. — Меня воевода Клубков-Мосальский присылал, — и напомнил: — Это когда Кузнецкий острог от белых калмыков Коки Абакова и джунгар спасать надо было.

— Ну как же, помню, — заметно потеплел суровый дьяк. — По слову царя Томской город тогда служилых людей перед прежними годами с прибавкою получил. И кинул в помощь Кузнецкому острогу. Благое дело не забывается... Ну а что за послание ты ныне доставил?

— Если коротко сказать, государево слово и дело*.

— И на кого же оно объявлено, интересно знать?

Жиденькие брови дьяка поползли вверх.

— На первого воеводу князя Осипа Щербатого, — с готовностью доложил Семен Поломошный.

Эта готовность дьяку определенно не понравилась.

— Продолжай, — велел он.

— Продолжаю... Ныне Щербатый и его сторонники под крепкие караулы на своих дворах посажены, а все дела взял на себя войсковой круг с выборным мирским советником Ильей Бунаковым.

— Однако, — возмущенно засопел дьяк. — Экое бесчинство: второго воеводу на место первого поставить! Вы что там, с ума посходили?

— Ум на ум не приходится, — не остался в долгу Семен Поломошный.

— И чем же вам князь Осип не угодил?

— Всего не перечесать. В изгонях, и насильствах, и в корыстолюбии, и в разорении преуспел. Много на нем и других беззаконий. В челобитных листах об том лучше моего сказано.

— А вот мы сей час и поглядим, что за люди воеводу Щербатого судить взялись и много ль их числом наберется!

С этими словами дьяк извлек из берестянки скрученные в трубку листы и стал разглаживать их перед собой на дубовом столе.

— Сколько там подписей, я не считал, — сообщил ему под руку Семен Поломошный, — но с три сотни или около того точно будет. На обороте их ищи, державец.

Дьяк торопливо перевернул самый пространный лист и, чуть слышно, шевеля губами, прочел:

— «...К сей челобитной Троицкий черный поп Киприанище руку приложил...» Это что же выходит? Владыка Киприан тоже с князем Осипом не ужился?

— И не только он, — подтвердил Семен Поломошный. — Батюшка Пантелеймон из Воскресенской церкви тоже. А еще Меркурий из Богоявленской и Борис из Благовещенской. Я уж не говорю о детях боярских Федоре Пущине, Михайле Яроцком, Василии Ергольском, Юрии Едловском, пятидесятнике Ивашке Володимирце и прочих. Все сразу заблуждаться не могут.

— Ладно, не шебурши, десятник. И без тебя тошно, — отмахнулся дьяк. — Или ты впрямь не понимаешь, что только царь может снимать и назначать воевод? Только он и никто больше!

— А если Щербатый государя своим беззаконием пятнает, тогда как? Мы же, всех чинов люди, Алексею Михайловичу в помощь поднялись. Во его имя.

— Сперва не мешало бы спросить, нуждается ли он в такой помощи, — язвительно заметил дьяк. — И откуда ты только взялся на мою голову? Уму непостижимо! Скинули царского воеводу, а он об этом как о похвальном деле говорит! И где? В царском приказе! Еще и на поддержку рассчитывает. Будто не видит, что вокруг делается. Остынь. Ступай. Жди. Через неделю наведаешься. А коли раньше дело решится, кликнем... Где, кстати, тебя искать?

— На Обозном дворе. Там со мной еще десять казаков обретаются.

— Чьим коштом в Москву добирались?

— В приходской церковной кассе сколь могли на дорогу взяли.

— Ну, так и дальше ее заботами живите, — усмехнулся дьяк. — Бог в помощь...

«Не к добру эти его ухмылки, — возвращаясь на Обозный двор

* Обвинение в измене царю.

Сибирского приказа, думал Семен Поломошный. — С такими помощниками, как Григорий Протопопов, царь нас, скорее всего, опале предаст».

Но вышло по-другому. Московское восстание уже назавтра пошло на убыль. А потом и вовсе чудо чудное, диво дивное произошло. Сам царь Алексей Михайлович пожелал с Семеном Поломошным и его товарищами встретиться. Видать, понял, что лаской в таких делах куда больше добьется, чем слепым гневом. Вот и зазвал томских ходатаев к себе во дворец на чай да на пряники, о житье-бытье стал расспрашивать, за горячность по отношению к воеводе Осипу Щербатому по-отечески журить...

Стоп. Про чай да про пряники я, пожалуй, лишку хватил. Не было привычки у царствующих особ с простым людом чай распивать. Зато все остальное — чистая правда. Кто не верит, пусть проверит. Из надежных источников, между прочим, следует, что не только из Томского города, но еще из семидесяти русских земель явлены были в том году челобитные о заворуйстве местных начальников, но лишь бумаги, доставленные в Москву Семеном Поломошным, как и он сам, удостоились личного внимания государя Алексея Михайловича. Что это, стечение обстоятельств? Воля судьбы? Личная удачливость? Или все вместе взятое?

Не будем гадать, отправимся вслед за событиями, пока они духоподъемны, как чистое солнечное небо после грозы, которая незадолго до этого раскалывала его надсадным громом и испепеляющими молниями.

Итак, вместо того чтобы обрушить на томских челобитчиков гнев за участие в бунте, царь призвал их к миру и согласию. Более того, заверил, что пришлет в Томской город новых, ясное дело, справедливых воевод, велит расследовать злоупотребления прежних. Виновных сурово накажет, правых щедро вознаградит. Ну а до тех пор Москва будет считаться с волей томского мирского круга.

Напоследок каждый из ходоков получил причитающееся ему государево жалованье, корм на обратный путь, а в подарок от государя лично сукна и шелковые полосатые ткани (дороги), прошитые золотой нитью. Что до Семена Поломошного, то в знак особого царского благорасположения ему была пожалована еще и липовая ложка с узорным череном и остроносой коковкой. Дно ее украшал тонкий слой чистого серебра.

— За что мне такое богатство? — искренно удивился он.

— Как за что? — положил ему на плечо сухую цепкую руку Григорий Протопопов. — Артельщику всегда первая ложка.

Из грозного дьяка Сибирского приказа он вдруг превратился в простецкого задушевного царедворца.

— Как это у вас, у артельных, говорится: наша варюха черпает до суха. Ну а поскольку ты не просто Семен, но еще и Варюхой по бумагам писан, тебе эта шевырка в самый раз будет. Бери. Пользуйся. Щедроты государевы помни. А если кто обижать станет, шибани его по лбу. Супротив царской ложки никто не устоит. Так я говорю, братцы? — и первым расхохотался: — Ха-ха-ха-ха!

Запоздало сообразив, что дьяк шутит, казаки охотно присоединились к нему:

— Будет теперь наш Семен гулять со своей ложечкой да по чужим обедам... Ха-ха!

— А ну-ка, Варюха, примерь шевырку. Вдруг она тебе в рот не влезет?

— Скажешь тоже. Где это видано, чтобы серебро кому-нито в рот не влезло? Мне, к примеру. Ха-ха!

— Не об тебе речь, балабол. Речь о Варюхе. Он, чай, в мать пошел. Она нам тоже артельщицей была...

Так вот нежданно-негаданно в задалней Москве всплыло из прошлого еще одно имя Семена Поломошного — Варюха. С ним он в Томской город и вернулся. Там его взяли в осаду родные да близкие. Каждому охота послушать, что в первопрестольной делается, каков нравом и обликом царь Алексей Михайлович и какими подарками он Семена осчастливил. Слушая его, они восторгались, переспрашивали, задавали кучу вопросов, и только брат Василий сидел при этом молча, отрешенно, уставясь куда-то вдаль немигающими глазами.

— Что с тобой, братуха? — спросил его Семен, когда они остались одни, — Хоть бы слово сказал. Молчишь и молчишь.

— Сам не знаю, Сема. Смутно на душе.

— А у меня весело. И знаешь, почему? Когда я в Москву с челобитными отъезжал, сомнения брали — в ту ли сторону дело повернется? К царю или от него? Теперь вижу: в ту. В Томском городе порядок. Новая съезжая изба ульем гудит. Посольский и ясачный дворы тоже. Таможня... Опять же заставы и караулы по-новому

ставятся – умней и расчетливей. Дурных отработок на Осипа Щербатого и его прихлебаев не стало. Крестьяне довольны, что десятинная пашня им вдвое уменьшена. Ну а главное – государь к нам лицом повернулся. Слышал бы ты его речи, Вася! У меня аж сердце дрогнуло. Беседовали мы с ним ну как товарищ с товарищем. Ей-богу! Вспомни наши с тобой споры. Выходит, и боярский царь справедливым может быть.

– Может-то может. Вопрос: надолго ли? Порядка у нас в городе и впрямь прибавилось. А единства? Без него справедливости грош цена. Дай Бунакову волю, он по корысти скоро Осипа Щербатого переплюнет. Нет, что ли? Казаки дело делают, а он при них с боку припека. Зато на раздоры горазд.

– Чего ж ты челобитные в его пользу подписывал?

– Ум за разум зашел, вот почему. Что-то же выбирать надо. Я и выбрал.

– Жалеешь?

– Думаю... А насчет Алексея Михайловича так скажу: не спеши обольщаться. Не мной сказано, что только царь и нищий без товарищей живут. Царское слово легко дать, а забрать назад еще легче. Ага. Сдается мне, так оно и будет...

Предчувствия не обманули Василия Поломошного. В феврале следующего года в томской соборной Троицкой церкви был оглашен царский указ о том, что до прибытия новых воевод городом будут управлять, как и прежде, князь Осип Щербатый в товарищах с Ильей Бунаковым. Народ, не уместившийся в храме, толпился на паперти и в гостином дворе. Читанное в церкви тут же передавалось из уст в уста, вызывая у одних радость, у других недоумение, у третьих возмущение. Как же так? Обещано одно, а делается другое. Да это басня, а не царская грамота, ежели сказать не по пригожу!

Еще больше возмутило собравшихся требование Москвы освободить Осипа Щербатого и его сторонников, распечатать для них старую приказную избу и не учинять новых послушаний.

– Ах так?! – зашумело большинство. – Пошлем к царю-батюшке новые челобитные, а сраму не имеем!

С новой силой вспыхнул в Томском городе казацкий бунт. Шестнадцать месяцев длился он, пока не прибыли наконец на место службы обещанные царем воеводы Михаил Волынский и Бог-

дан Коковинский. Началось затяжное, полное крючкотворства, предпочтений и подтасовок следствие. В конце концов виновными были названы организаторы мирского круга. Двадцать из них биты кнутом в Москве, одиннадцать – в Томске. Среди них Семен Варюха Поломошный.

За царскую ложку он прятаться не стал. Все кнуты, как когда-то его брат Василий от воеводы Семена Ржевского, с улыбкой принял. А после с той же удалью пошутил:

– Век живи, век учись. Не приходом люди богатеют, а расходом. Никто не знает, где найдешь, где потеряешь...

Еще шестнадцать смутчиков были сосланы в Якутский острог. В том числе сын Василия Поломошного Богдан. Провожая его в дальнюю дорогу, сивый от возраста и переживаний родитель горько усмехнулся:

– Кого только в нашем роду не было – и купцы, и казаки, и ямщики, и пахотные люди, и охотники, и посольские пройди-светы, и даже церковные батюшки, а теперь вот и ссыльные крамольники к ним добавились. Хорошо хоть из Сибири в Сибирь их упрятывают. Дальше-то и посылать некуда.

После таких слов жена Богдана Поломошного Капелина горючими слезами залилась, а сыновья-взростки Васька с Ивашкой стали ее утешать:

– Не плачь, мамка. Везде люди живут. Или мы хуже других? Справимся!

– Вот это правильно, хлопцы, – похвалил боевитых внучат Василий Поломошный. – Дай вам бог оттерпеться и через людей в люди выйти. Глядишь, ссылка обычной жизнью и обернется. Верю, мои хорошие, что имя Поломошных никто из вас не уронит. Берегите его. Пусть оно вам крепкой опорой будет. А вы ему...

Забегая вперед, скажу, что старший сын Богдана Поломошного Васька, повзрослев, в Томской город вернулся и попутно с казацкой службой в оконничном ремесле преуспел. Дело это вроде обычное, а на самом-то деле, если с охотой и выдумкой за него взяться, очень даже прихотливое и прибыльное. Красивые окна и жизнь красивее делают.

А Ивашка с родителями в Якутске остался – через людей в люди выходить. Тут ему и встретился тот самый Семен Дежнев, что

морской пролив между Азией и Америкой открыл. О нем легенды в якутских землях ходят. Будто в разгар Томского и Московского восстаний под началом Дежнева и холмогорца Федота Попова девяносто промысловиков на семи кочах искать моржовые лежбища и захребетную реку Погычу из Нижнеколымского острога отправились. Да буря их по пути о льды разбила и по морю разметала. Уцелел лишь один коч — дежневский. И вынесло его по тому проливу мимо Большого Каменного Носа (Чукотского полуострова) к ледяному нагорью. И шел Дежнев с товарищами ровно десять недель до Погычи-реки, которая после Анадыря стала называться. И были они «холодны и голодны, наги и босы». «Обночевались» и давай «в снегу ямы копать». Кое-как выжили. А едва река вскрылась, пошли вверх по Анадырю, дошли до «анаульских людей» (юкагиров), и ясачное зимовье там поставили, а после залежи «заморской кости» (ископаемые клыки моржей) и рыбьего зуба на «корге» (отлогом берегу Анадырского лимана) нашли и весь выбрали.

И так бывает. Из морского крушения Дежнев не только целым и невредимым вышел, но еще и 289 пудов моржового и рыбьего зуба «сухим путем» на Колыму ухитрился доставить. Дальше его путь через Жиганский и Якутский остроги в Москву лег. Здесь он свой груз в государеву казну благополучно сдал, и вышла цена тому грузу аж в семнадцать тысяч триста рублей серебром. И велел царь Алексей Михайлович за те годы, что «Сенька был на Анадыре-реке для государева ясашного сбора и прииску новых земель... выдать из Сибирского приказу дорожного и хлебного жалованья треть деньгами, а за две доли сукнами... всего на 126 рублей 6 алтын 4 деньги». Наградил ну прямо по-царски. Хорошо хоть не за был ему чин атамана на старости лет дать. Дежневу в тот год ровно шестьдесят лет минуло. Всю жизнь он «запростецким пешим казаком» проходил, но люди его и тогда атаманом числили. Есть такая порода: глянешь на него, и видно — орёл! Дежнев из таких. Каким убыл в Москву, таким и в Якутск возвратился. Но и гол как сокол...

Можно себе представить, какое впечатление Семен Дежнев произвел на юного Ивашку Поломошного, жаждущего хоть чем-то походить на иссеченного земными и морскими бурями казака-атамана.

Время быстро летит. Подрост Ивашка, в казаки, как положено,

заверстался. Слышит, суды-пересуды о Семене Дежневе пошли. Будто бы он с давними долгами никак не может расквитаться. Взял его за горло местный мироед Ананий Юрьев: дескать, новую кабалу бери, чтобы с прежней рассчитаться, или под суд подведу. А новую кабалу никто заверять своей подписью не берется, ведь ежели Дежнев долг в означенный срок не вернет, посредник все до копейки за него внести должен.

Тут Ивашка Поломошный и предложил Юрьеву себя в заручники. В ответ Ананий его на смех поднял:

— Не путайся под ногами, босота! В случае чего такой долг тебе не осилить.

— А ежели я сам к тебе под него закабалуясь? — напелся Ивашка.

Юрьев враз посерьезнел. Взгляд его сделался деловым, оценивающим. Так осматривают на базаре лошадь — от копыт до зубов.

— Ладно, — наконец согласился он. — Но с таким уговором: ни родителю твоему, ни Дежневу ни слова! Иначе откажу. Еще и ба-а-льшие неприятности сделаю.

Так вот и стал Ивашка сперва неожиданным заручником Семена Дежнева, затем помощником. А после, пока тот умирать в Москву не отъехал, и вовсе близким человеком. У атамана сердечное чувство к нему проснулось — словно к родному внуку. А Ивашка деда Василия в нем увидел. Лицом и повадками ну точь-в-точь он. И шея у обоих вправо скособочена. У деда от раны, а у атамана от какой-то непонятной болезни, которая с ним в колымских землях от лютых морозов и надсадной дорожной работы сделалась. Иной раз шевельнуть головой мочи нет.

Мечтал Ивашка в поход с Семеном Дежневым отправиться, да сильно остарел атаман, глазами и слухом сдал. Зато памятью укрепился. И посыпались из него воспоминания, одно красочней и поучительней другого — о соболиных реках Индигирке, Моме и Большом Анюе, о том, как строился Нижнеколымский острог, о зубатых чухчах и эскимосах (зубы у них торчат через губы), о поселениях из бивней мамонтов, о том, как хорошо «бегать парусом по большому морю» и многом другом.

В благодарность Ивашка его своими историями засыпал. О том, как Поломошные Сибирь обживали. О реке Томи, на которой село Варюхино, названное в честь его прабабки Варвары Поломошной, стоит. А еще о том, как дед Василий верст на со-

рок выше по течению Томи гряды высоких скал с изображением устремленных в одну сторону зверей заприметил да и решил возле них свою займку поставить, пашенку завести, от городской суеты уединиться. Очень уж он от неурядиц по службе, людского разномыслия, житейских тягот устал. А здесь тишина, покой, вечность. Так вот и родилась на Томи еще одна деревня, названная, понятное дело, Поломошной*.

Со слов Ивашки Семен Дежнев эту деревню себе хорошо представил. Давайте представим и мы.

Томь берет начало в горах Кузнецкого Алатау и несколько сот верст течет по каменному руслу. Там, где оно кончается, правый берег образует протяженную стену из зеленоватого глинистого сланца высотой до пятнадцати саженьей. Проплывая однажды мимо этой стены, Василий заметил на глади одного из уступов очертания бегущих животных, скорее всего лосей. Они были высечены глубокими линиями, запечатлевшими неостановимое движение. В этом стремительном потоке промелькнула морда медведя и подобие человека, похожего на растопырившего ножонки жука.

«Что бы это значило? — только и успел подумать Василий. — Куда они бегут? И почему у лосей нет их главного оружия и украшения — могучих рогов?»

Его лодку снесло течением, но он вернулся, чтобы вновь ощутить, как развернулось вдруг время и пространство.

В следующий раз, отправляясь к таинственным скалам, он взял с собой Семена. Нечего ему в Варюхине прохлаждаться. Пусть полюбуется на загадки природы. Вдвоем их разгадывать куда как легче.

И правильно, между прочим, сделал. Быстро освоившись на новом месте, Семен стал осматривать уступ за уступом, пока в конце гряды на высоте птичьего полета не заметил еще одну россыпь плохо различимых снизу наскальных изображений.

— Вот что значит уметь смотреть выше себя! — восхитился Василий. — Я бы туда и не глянул. Ага. В звездочеты бы тебе, братуха, податься, а ты в казаках завял.

— Ничего, Вася, мне и в казаках неплохо.

По мнению Семена, на первой скале и впрямь изображены лоси. Но поскольку в древности женское начало природы считалось важнее мужского, лоси, как и лосихи, изображены без рогов. Зато им вставлено в грудь большое сердце. По нему их и распознавать следует.

Тут Семен хитро улыбнулся:

— А теперь вспомни, Вася, как в девичестве наших женушек звали? Сопаты! Зря, что ли? В тайге два хозяина — медведь и лось. Один косолапый, другой сопатый. Если у нас жены лосихи, то мы, спрашивается, кто? Правильно думаешь: Поломошные.

Вот и весь сказ.

Осталось добавить, что царскую ложку, которую Семен Поломошный из Москвы привез, последний раз видели у его пятилетнего внука Степки. Он из нее кур на заднем дворе кормил. Увидела это мать Степка, отобрала ложку, глянула — боже мой! — серебро на ней все поклевано.

Мужской ум в таких случаях говорит: почини! Женский ум говорит: спрячь! Нашлепала Степка в сердцах сынишку, а ложку спрятала. Ищи-свищи ветра в поле. Но любителям искать золотые-серебряные или исторические клады я все же подсказку дам: по линии Степки, а не ее мужа Василия — меньшого Поломошного по прозвищу Оконничник ту ложку ищите, не ошибетесь.

* Ныне село Поломошное Яшкинского района Кемеровской области.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ГОРОД НА РЕКЕ ЧИСТОВОДНОЙ	3
НА ОСТРИЕ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ	4
ПОСЛАННИК РУССКОГО ЦАРЯ	7
ЧЕЛОБИТИЕ	11
ЦАРСКАЯ ГРАМОТА	15
КЛЯТВА НА ВЕРНОСТЬ	18
ЖАЛОВАННОЕ СЛОВО	23
ТОМСКОЕ СТАВЛЕНИЕ	28
ДЕНЬ ГОРОДА	34
ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ	40
ВРЕМЯ САМОЗВАНЦЕВ	44
КОЛМАЦКИЙ ТОРГ	48
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАМИЛИИ	51
ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ	55
НИЖНИЙ ОСТРОГ	62
«И МЫ, ГОСУДАРЬ, ХОЛОПИ ТВОИ...»	66
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ	70
ПРОМАШКА ВАСИЛИЯ СТАРКОВА	76
ТОМСКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ	80
«ДО НАС БЫЛИ ЛЮДИ ДА НЕ СДЕЛАЛИ...»	87
ТОМСКОЙ ДЕТИНЕЦ	89

ВО ИМЯ ГОСУДАРЯ.....	93
«СТОЯТЬ ВСЕМ ЗАОДНО».....	100
«ГДЕ БЫТЬ ПРИСТОЙНО ГОРОДУ...»	105
ДЕРЖАВЦЫ.....	111
«...ТОМИЧИ РУКИ ПРИЛОЖИЛИ».....	120
СЕМИЛУЖЕНСКИЙ ВОЕВОДА.....	126
ТОМСК МНОГОЛИКИЙ.....	132

ЧАСТЬ II. ТОМСКИЕ СКАЗАНИЯ.....143

ЭХО РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ.....	144
СКАЗАНИЯ ТОМСКИХ ТАТАР.....	154
СХВАТКА В НЕБЕСАХ.....	155
БОГАТЫРЬ ЭУШТ.....	159
ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ОЗЕРЕ.....	163
МОГИЛА ХАНА ТАХТАМЫША	165
ЗОЛОТОЙ АРКАН.....	168
УШАЙ И ТОМА	171
СКАЗАНИЯ ТОМСКИХ КАЗАКОВ	175
ПО СЛЕДАМ БЕЛЫХ ЦАРЕЙ.....	176
В ГОСТЯХ У МАМУТОВ.....	184
ОСНОВАНИЕ ГОРОДКА СОСНОВЦА.....	187

ЗОЛОТЫЕ ЛАТЫ.....	189
ОТЧАЯ СИЛА И КРЕСТ СВЯТОЙ.....	194
ВОЗРОЖДЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ	200
ПОЗАРА.....	202

ЧАСТЬ III. КАК ПОЛОМОШНЫЕ СИБИРЬ ОБЖИВАЛИ.....207

ОТЦЫ И ДЕТИ	208
МАТЕРИНСКОЕ СЛОВО.....	231
НЕ СТОЯТ ГОРОДА	
БЕЗ БАБ.....	255
СИБИРЬ ПОЛОМОШНАЯ.....	282
ЦАРСКАЯ ЛОЖКА	304

УДК 957(571.16)

ББК 63.3(2РОС-4ТОМ)

3-53

ТОМСК

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

© Автор текста: Сергей Заплавный

© Иллюстрации:

© Дизайн и верстка: А.В. Тищенко

Корректор: Е.В. Литвинова